ПЕТРАШЕВЦЫ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

РЕДАКЦИЯ П. Е. ЩЕГОЛЕВА

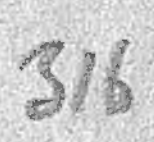
ТОМ ВТОРОЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО


Б42 01/18

ПЕТРАШЕВЦЫ



СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

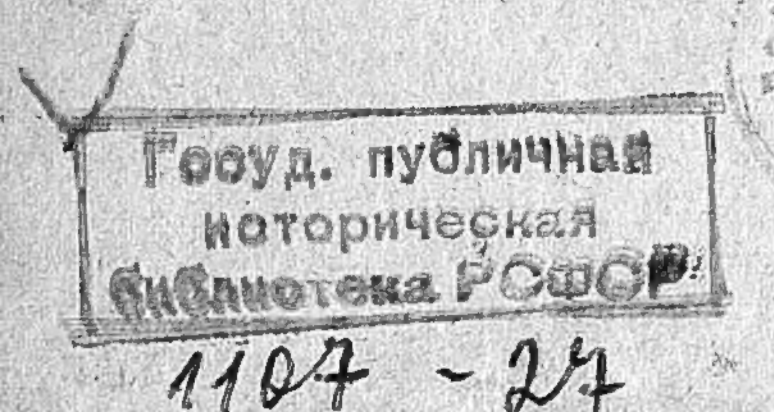
РЕДАКЦИЯ П. Е. ЩЕГОЛЕВА

ТОМ ВТОРОЙ

СТАТЬИ, ДОКЛАДЫ, ПОКАЗАНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1927 ☆ ЛЕНИНГРАД



Главлит № 64361. Гиз № 16203. Тираж 3.000 экз.

Типография Госиздата „Красный Пролетарий“. Москва, Пименовская улица, 16.

СОДЕРЖАНИЕ

Настоящий сборник материалов о петрашевцах задуман и выполнен еще в 1922 году. Мысль об издании этого сборника принадлежит Н. Л. Мещерякову. Задача сборника—приблизить читателя к источникам истории петрашевцев и их движения. Нельзя не признать, что в истории русского революционного движения период мощного влияния идей утопического социализма представляется наименее исследованным, а между тем французская социалистическая мысль первой половины XIX века, в особенности учение Фурье и его последователей дали мощный толчок русской общественной мысли и вызвали необычайное возбуждение, еще не оцененное—вернее не дооцененное—прежде всего в русской литературе и затем в верхах нарождавшейся русской интеллигенции. Ни один из крупных писателей, выступивших на литературное поприще в 30-х—40-х годах, не избег влияния сен-симонистских и фурьеристских идей. Миросозерцание Федора Достоевского уходит с корнями в почву, поднятую утопическими социалистами.

Работ, посвященных изучению фурьеристского движения в России, возглавленного М. В. Петрашевским, немного; научное значение можно признать, пожалуй, только за работами В. И. Семевского. К сожалению, он не довел до конца своих исследований о петрашевцах и, подавленный грудами сырого архивного материала, он поневоле должен был отвести много места частичной публикации и изложению материалов и в связи с этим ограничить исследовательские функции. В то же время вкрапленные в работах Семевского отдельные цитаты и отрывки не могут, конечно, дать представление об источниках. А вне работ Семевского с источниками официального происхождения можно было ознакомиться только по немногочисленным, не всегда правильным и точным извлечениям, напечатанным в свое время Герценом.

Эти соображения вызвали мысль о подборе материалов и источников, который дал бы интересующемуся читателю, слушателю вуза, начинающему исследователю возможность непосредственного ознакомления с источниками, самостоятельного их вчувствования. Составитель сборника полагал, что подбор материала должно было вести по трем направлениям. Предстояло собрать рассеянные в отдельных изданиях, а главным образом в книжках журналов воспоминания,

рассказы как самих участников движения, так и близко осведомленных современников, друзей и врагов. Это собрание вошло в первый том сборника, вышедший под заглавием «Петрашевцы в воспоминаниях современников. Сборник материалов. Госиздат 1926 г.» [1]). Одновременно с работой по выборке материалов шло составление библиографии по петрашевцам. Думается, все существенное из современных петрашевцам свидетельств использовано в извлечениях и отрывках, составивших названный том сборника.

Иначе дело стояло с подбором источников по материалам архивным. Архивный материал сосредоточен в двух огромных сводах дел о петрашевцах: один из них—производство III Отделения собств. е. и. в.; второй свод—военно-судный процесс или так наз. аудиториатское дело. Ни тот ни другой свод не изданы, и из исследователей с ними знаком был только Семевский. В настоящее время нечего и думать об издании этих сводов, даже не целиком, а хотя бы в значительных извлечениях: на это понадобились бы десятки и сотни печатных листов. Нам представлялось правильным, с одной стороны, подобрать такие архивные материалы, которые рисовали бы фактическую историю дела, т.-е. движение петрашевцев, как оно освещено было следственными комиссиями; с другой стороны, собрать то, что нам нужнее всего сейчас—идеологические высказывания петрашевцев, как сделанные ими во время следствия, так и обнаруженные в бумагах, взятых по обыску. Военно-судный процесс старого времени, дореформенный, заканчивался в генерал-аудиториатском управлении. Генерал-аудиториат рассматривал все производство как с фактической, так и с процессуальной стороны, делал свое заключение и представлял всеподданнейший доклад. Аудиторы, низшие чиновники и канцелярские крючки, бесстрастно—вне прикосновения с обвиняемыми—творили свое дело и давали обстоятельную выжимку из материала, подчас огромного; они набили руку в сводке содержания бесчисленных документов и делали это так

[1]) По недосмотру этот том вышел без редакторского предисловия, излагающего план издания, и поэтому тов. рецензенты оказались в несколько затруднительном положении. Один из них (в журнале «Историк-Марксист») дописался до упреков по адресу редактора сборника, что книга составлена в обычном для этого историка (т.-е. редактора издания) стиле и не содержит статей, иллюстрирующих экономическое положение России в период фурьеристского движения. Автор этой рецензии вряд ли отдает сам себе отчет в написанном им. Что такое стиль собрания материалов? Ведь не редактор же писал эти статьи. Редактор был бы благодарен тов. рецензенту за указание хоть одного отрывка из высказываний петрашевцев и их современников, иоторый заключал бы соображения экономического характера о причинах, вызвавших фурьеристское движение в России, и который не был бы включен в сборник. Тот же тов. рецензент осуждает книгу за тяжелый стиль 40-х годов, которым написаны статьи петрашевцев! Ну, что же поделать с таким рецензентом?

искусно, что при изучении военно-судных процессов в большинстве случаев можно ограничиться чтением только доклада и не обращаться к остальным частям аудиториатского производства. Такими же достоинствами обладает и доклад, составленный генерал-аудиториатом по делу петрашевцев. Так как он известен лишь в неполных и неподлинных извлечениях, то нам представлялось полезным напечатать этот доклад полностью и не давать никаких других архивных документов, касающихся фактически истории дела. Аудиториатский доклад составил третий том сборника.

Конечно, говорить о движении петрашевцев можно лишь условно: в сущности никакого движения не было, петрашевцы от слов не успели перейти к делу, к активным выступлениям. У страха глаза велики, и нужно удивляться колоссальному—даже для николаевского времени—несоответствию между словами-«делами» петрашевцев и тем наказанием, которое они понесли. Изучение движения петрашевцев сводится в конце концов к изучению их миросозерцания, их идеологии. А источником для изучения идеологической стороны движения петрашевцев служат, во-первых, немногочисленные произведения, написанные до ареста, или напечатанные, или оказавшиеся в бумагах при обыске, и, во-вторых, сделанные ими в следственной комиссии признания, в которых они излагали свою веру, свои убеждения. Собранию идеологических высказываний посвящен настоящий, второй, том сборника.

Первым идеологом движения был М. В. Петрашевский, и его произведениям отведено первое место. Прежде всего пришлось сделать подбор статей из второго выпуска «Словаря иностранных слов», изданного Кирилловым и проредактированного Петрашевским. Статьи Словаря не подписаны, и устанавливать их принадлежность Петрашевскому нетрудно по некоторым особенностям стиля и содержания. В. И. Семевский занимался вопросом об авторстве Петрашевского в Словаре, и все отмеченные Семевским статьи, как статьи Петрашевского, нами воспроизведены. Только Петрашевскому могли принадлежать словарные статьи, пропагандирующие новый тип общественного деятеля (новатор, оратор, ораторская речь), излагающие подробности социалистического строя по Фурье (нормальное состояние, организация производства), вносящие понятие о диалектике общественного развития (мода, неология, новаторство). Только Петрашевский мог дать такую критику современному ему строю (негры, облигация, опиум) и рассыпать иронию в прославлении русских порядков (оппозиция, нация, ораторство). К его словарным статьям мы присоединили литографированную статью о способах увеличения ценности дворянских или населенных имений. Находясь в заключении, Петрашевский много пи-

сал; он подавал (сидя в крепости и потом в Сибири) многочисленные заявления и ходатайства, которые дышали горчей силой убеждения, но не могли не представляться крайне парадоксальными русским властям. Мы оставляем без воспроизведения эти юридические измышления Петрашевского, чрезвычайно утомительные для нашего времени, и ограничиваемся опубликованием трех признаний Петрашевского, содержащих страстную и вдохновенную защиту идеи фурьеризма и изложение основных начал системы Фурье. Можно почувствовать особую остроту тюремной пропаганды фурьеризма, если вспомнить, к кому обращался и кого думал Петрашевский совратить в фурьеризм: ни много ни мало— ближайших сановников Николая и самого Николая! «Если мне удалось,—писал своим следователям Петрашевский,— разъяснить (идею социализма), то льщу себя надеждою, что скажете тем, кто будет впредь нападать на социализм, что поступать так значит нападать на все то, что есть живого и живучего в обществе, разрывать связи общественные, лишать всякого права на доброе дело, вводить мертвящий эгоизм в общество и водворять в нем тишину могилок и безмолвие кладбищ».

Следственная комиссия предложила сделать изложение системы Фурье прославленному среди петрашевцев знатоку Фурье Н. Я. Данилевскому. Мы воспроизводим этот очерк Н. Я. Данилевского полностью, так же как и сделанное И. Л. Ястржембским по вызову комиссии «Изложение социально-экономических систем». Рассуждения Ф. Г. Толля о происхождении религии и Н. С. Кашкина об идеалистическом и позитивном методе в социологии дополняют и заключают памятники идеологической истории петрашевцев. Маленькие образцы применения идеологии к обиходу представляют речи А. В. Ханыкова и Д. Д. Ахшарумова на обеде в память Фурье.

Особую группу составляют включенные нами в сборник автобиографические признания, настоящие исповеди сердца, сделанные перед следственной комиссией Петрашевским, Ахшарумовым и Баласогло. Исповедь последнего прекрасно рисует тот быт, среди которого петрашевцы развивали свои фурьеристские идеи.

За исключением словарных статей Петрашевского и его литографированной записки, остальные материалы, воспроизведенные полностью с подлинников, появляются в печати впервые. Ближайшее участие в составлении настоящего сборника принимала В. Р. Лейкина, научная сотрудница Музея революции в Ленинграде. Ей принадлежит и напечатанная в третьем томе библиография.

П. Щеголев.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ

М. В. ПЕТРАШЕВСКИЙ
И. Л. ЯСТРЖЕМБСКИЙ
Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
А. В. ХАНЫКОВ
Д. Д. АХШАРУМОВ
Ф. Г. ТОЛЛЬ
Н. С. КАШКИН

М. В. ПЕТРАШЕВСКИЙ

СТАТЬИ ИЗ 2-ГО ВЫПУСКА «СЛОВАРЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ» [1])

Материализм. Материализмом называется, во-первых, такой взгляд на вещи, по которому все д у х о в н о е, сверхчувственное, считается вымыслом, по которому человек есть ни что иное, как усовершенствованное животное, не имеющее иной цели, кроме удовлетворения своих телесных потребностей, но отличающееся от прочих животных искусством умножать и утончать эти потребности, предвидеть их и удовлетворять им с расчетом и соображением. Само собою разумеется, что этот взгляд свойствен всякому неразвитому и грубому человеку. Внешний мир, видимая, чувствуемая природа поражает его прежде всего; он необходимо знакомится с нею, привыкает к физическим явлениям и научается даже объяснять их. Многие навек остаются с таким ограниченным взглядом, не подозревая, что кроме явлений, познаваемых телесными чувствами, есть явления духовные, которые не занимают пространства, которых нельзя ни измерить, ни ощупать, которые не поддаются ни зрению, ни слуху, ни обо-

1) «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кириловым». С.-Петербург MDCCCXLV (вып. 1-й, 1845 г., стр. 1—176); (вып. 2-й 1846 г., стр. 177—324), буквы от Мар до Орд.

Принадлежность выбранных статей Петрашевскому устанавливают: с одной стороны, общая многим из них фурьеристская идеология и обширная начитанность в социалистической литературе эпохи; с другой—внешние признаки «редакторской руки»—ссылки на будущие статьи (в самом словаре и в «Приложении», предназначенном для пополнения 1-го вып., редактированного В. Майковым), а также и некоторые привычки слога, характерные для рукописей Петрашевского (см. В. И. С е м е в с к и й. Буташевич-Петрашевский. М. 1922 г., стр. 68—69).

Возможно полно выбраны статьи, имеющие характер пропаганды, а также более своеобразные по содержанию. *Ред.*

нянию, ни вкусу. Таковы, например, явления нашего воображения, памяти, ума, воли и т. д. Если же кому и случится подумать об этих таинственных, невидимых явлениях, то, желая разгадать их, он не может не объяснить их себе подобно явлениям видимым, которые ему уже знакомы. Так, например, память представляется ему каким-то вместилищем, в котором расположены в последовательном порядке впечатления и понятия, накопленные им в жизни. По этой же причине люди воображают, что душа должна помещаться в одной какой-нибудь части тела. Но таких людей, неразвитых и грубых, ошибочно называют часто материалистами. Это название, по-настоящему, идет только к таким людям, которые размышляли равно и о материи и о духе и уверились, что в мире нет ничего, кроме материи. Напротив того, ребенок и дикарь думают так поневоле, потому только, что им еще никогда не приходило в голову, что существует мир духовный. Таких людей не следует называть материалистами; ибо еще бог знает, что из них выйдет—с дитятей, если он возрастет не только телом, но и душою, и с дикарем, если он образуется, т.-е. если он не только оденется во фрак и наденет желтые перчатки, а если он действительно перестанет быть скотом. А между тем многие ученые впадают в эту ошибку, называя материализмом младенческий взгляд на вещи. Так, например, Кузен, создатель эклектической философии (см. эклектика), утверждает, что философия во всяком обществе начинается материализмом, что материализм есть необходимо первая философская система, за которой следует идеализм, потом скептицизм, наконец — мистицизм (см. эти слова). Но сказать, что в такой-то стране господствует такая-то система, такой-то взгляд на вещи—значит сказать, что люди, держащиеся этой системы, этого взгляда, предпочли его другим взглядам, выбрали его из нескольких. А можно ли это сказать про таких людей, которые по естественному ходу развития не могут еще выбирать между различными взглядами один такой, который бы казался им разумнейшим; про тех, которые сходятся с материалистами единственно потому, что не имеют еще понятия о духе, как о существе, не подлежащем понятиям пространства?

Мистицизм. Это слово употребляется в трех значениях. Во-первых, так называется таинственность того, что выходит из ряда явлений, допускающих объяснение нашего ума. Так, например, мистицизм господствует в народных сказках о духах, мертвецах, волшебниках и т. п. Во-вторых, мисти-

цизмом называется также особенное расположение, настроение души к впечатлениям таинственного: можно не принимать его за действительность, отвергать его умом и в то же время иметь склонность упиваться этим обманом воображения, отдыхая в этом упоении от впечатлений мира действительного, понятного нашему уму, не кажущегося нам чудесным, мистическим. Наконец, в-третьих, мистицизмом называется целое учение, которого сущность заключается в убеждении в недостаточности обыкновенного пути познания (посредством анализа и синтеза) и в возможности другого, высшего познания, которое открывает нам мир тайны. Мистицизм в этом смысле есть величайшее заблуждение, существующее с незапамятной поры и более всего препятствующее успехам человеческого ума. Всего неосновательнее в нем то, что, отказываясь от обыкновенного пути разума, мистики хотят, чтобы мы считали в высшей степени разумным то, что создает их воображение, что не основано на опыте, что противоречит всем убеждениям разума. Нельзя не согласиться, что человеческое познание ограничено, как и все человеческое; но как бы ни был слаб наш разум,—все-таки мы не можем иметь убеждений, противоречащих его доводам. Мистики сами не могут внутренно отказаться от этой мысли; чтоб доказать необходимость высшего познания и недостаточность обыкновенной деятельности разума, они сами же должны употребить то средство, которое так презирают; они должны доказать нам, что мы заблуждаемся, а чтоб доказать, надо употребить в дело разум, ибо иначе доказательство не может возникнуть. Из этого ясно, что мистицизм есть система нелепая и сама себе противоречащая. Господство же ее как в понятиях одного человека, так и в понятиях целого общества, означает или неразвитие разума, или разрушение его. Все дети, так же как и все младенческие народы, в высшей степени склонны к мистицизму, потому что воображение берет у них верх над силою ума. Сюда же относятся и те люди, которые, по особенному темпераменту, всю жизнь остаются мечтателями. Точно так же, наоборот, к мистицизму часто приводятся люди, истощенные трудом мысли, люди, стремившиеся всю жизнь к познанию того, чего не допознать человеку, люди, убедившиеся в слабости ума, неудовлетворенные тем, что посредством его познали. Вот почему Кузен весьма справедливо называет мистицизм «отчаянием разума» (dernier coup de désespoir de la raison).

Мистицизм, как система, развился на Востоке. Греческие философы, даже положительнейший из них, Аристотель, не могли совершенно освободиться из-под его власти. Полнейшее же свое развитие получил он в Александрии, куда удалилась древняя ученость для того, чтобы противоборствовать христианству. Греческая философия перемешалась здесь с множеством восточных суеверий. Более всего александрийцы следовали Платону и Пифагору, отчего и явились две новые системы — неоплатонизм и неопифагореизм. Возникли и другие системы, из коих кабалла и гностика перешли в Европу и держались там в продолжение всех средних веков. Быстрое развитие разума в течение четырех последних столетий утомило человечество. Поэтому и в наше время, об-руку с анализом, начинает развиваться мистицизм.

Мода. Свойство природы человеческой, многообразие ее требований, постоянное их развитие, неподавимое никакими формами общежития, хотя бы оно было основано на безусловных началах квиетизма (см. квиетизм), побуждая человека к вечному прогрессу и движению, делает для него опостылыми издавна установленные формы быта общественного. Заставляет его не довольствоваться однажды придуманными способами удовлетворения его потребностей, но заботиться непрестанно об отыскании новых, более соответственных с его природою. Заставляет его смотреть с улыбкою презрения на все, освящаемое более стародавним преданием, чем живой, изменчивой потребностью минуты, глядеть на пережитое, как на несвоевременное, негодное, как на стеснительное для свободного развития его деятельности; побуждает его искать всего прекрасного в будущем и ждать всего хорошего в новом. Это стремление к новизне, многообразное выражение жизненного принципа природы человеческой, — обнаруживает свое преобразовательное влияние также и в так называемых мелочах общественной жизни (которые, как, например, одежда, приемы, интонация голоса, более способны к изменению) и создает моду и модничанье. Выражения же «в моде» или «не в моде» могут быть отнесены ко всему, и нет пределов царству моды. На все быть может мода: на ученость, как и на невежество, на умственный квиетизм, как и на полное развитие мысли. Но выражение «мода» преимущественно употребляется для обозначения особых форм покроя одежды и образа жизни, господствующих в известном обществе или кругу общества. Слово «мода», рассматриваемое с этимологической точки зрения, означает

вообще способ или образ или форму совершения чего-нибудь—и более относится к оболочке явлений, к формам их внешнего обнаружения, нежели к самой сущности их. И всякая, какая бы она ни была, мода, — принимая это слово в обширном его значении, не есть явление случайное и беспричинное в круговороте общественной жизни, но необходимое, обусловливаемое ничем неподавимыми требованиями природы человеческой на изящество и удобство способов их удовлетворения. Этим мы нимало не защищаем многие уродливые, антиизящные моды, вводимые часто новейшею промышленностью для сбыта своих произведений, или грубые вкусы дикарей (например, сдавливанье головы и т. п.). Абсолютного тождества между людьми нет и быть не может, и общие требования природы человеческой в каждом индивидууме являются различными,—поэтому уже видно, что стремление к однообразию, монотонности (см. это слово) неестественно, и что мод должно быть бесконечное множество по существу самой природы человеческой, и что они должны не только изменяться соответственно с изменением общих требований человечества, но даже соответственно с требованиями отдельных лиц. Так что, собственно говоря, при настоящем развитии общественной жизни в странах, действительно образованных, каждый человек, для полного и всестороннего развития своего, должен необходимо руководствоваться собственным сознанием в избрании способов удовлетворения своих нужд и изменять их постоянно, соответственно развитию своих требований. Господство моды всемирно, власть ее проявляется и у народов, обреченных вечному застою (китайцев и т. п.) и неподвижности, благодаря началам религиозным и политическим их общественного быта. Но истинной почвой, срединой для проявления господства моды, со всеми ее прихотливыми и разнообразными требованиями, могут быть те общества, где промышленность достигла значительного развития, где творческая мысль человека покорила уже своей власти силы природы и сделала их покорными орудиями своего произвола; где все: металл, камень, огонь, воздух—привыкло менять свои первобытные формы на искусственные, чтоб только сделаться более способными к удовлетворению причудливых желаний человека. Степень бессознательной привязанности какого-либо народа к прежним формам одежды или быта общественного, отчуждение его от новизны и боязнь нововведений могут служить удостоверением незначительности его развития нрав-

ственного и промышленного и совершенного подчинения его духа грубой и животной материи.

Однообразие и тождество всего и во всем прямо противно жизненному принципу природы. Мода, побуждая человека не довольствоваться одними старыми формами, но жить, так сказать, общею современною жизнью, поддерживает и развивает в нем благородное стремление к усовершенствованию, мирит с действительностью, заставляя его считать возможным осуществление абсолютно-прекрасного в настоящей жизни. Так, благодаря ей (моде) и причудливой воле человека, материи, служащие для удовлетворения нужд его чисто физических, получают изящные формы и являются единовременно средствами к удовлетворению его животных и эстетических требований, как, например, это бывает в одежде и т. п. Очевидно, что приискание таковых способов для удовлетворения своих потребностей, равно как и самые способы, нимало не заслуживает порицания, но полного поощрения, как ведущее к облагороженню, утончению чувствований и самых органов их восприятия.

Слово «мода» получило право гражданства в русском языке не ранее конца царствования Екатерины II, когда произошло значительное развитие промышленности и общественного быта. Производные слова от моды: модница, модничанье, модничать—вошли в общее употребление во второй половине царствования Александра I, когда стремление подражать формам иностранного быта (особенно французам) сделалось всеобщим и дошло до смешного, как, например, некогда модное картавленье на манер французский (prononcer grassayement) и т. п.

Модерантизм. Под сим именем разумеют философское учение (см. слово мораль) об умеренности, или о способах согласования в человеке противоположных требований его духа и тела. Оно вмещает в себе единовременно учение спиритуализма и сенсуализма, не впадая ни в одну из их предосудительных крайностей. Оно признает законность и святость удовлетворения всех нормальных (см. слово нормальный) требований природы человеческой и, вменяя в обязанность каждому человеку стремиться к полному, совершенному и гармоническому развитию его способностей, полагает только ту форму общественного быта совершенною и истинно соответственною природе, где не только нимало не стесняется развитие человека, но не полное и [не] всестороннее развитие человека делается, так сказать, невозможным.

Моногамия. Браком в естественных науках вообще называется соединение существ двух различных полов с целью произведения потомства. Форма брака—рассматриваемая в отношении к человеку, как установление гражданское и положительное, не повсеместно одна. И как установление формы его было более результатом столкновения случайностей, общественных, политических и экономических нужд известных народов и их религиозных предубеждений (как, например, у римлян, греков, евреев и т. п.), нежели делом полного сознания истинных потребностей природы человеческой, то мы находим во всех формах брака без различия, установленных положительно разными законодательствами, введение многих посторонних элементов, нимало не вытекающих из сущности самого брака и делающих этот священный союз любви (каким впервые бог провозгласил его) тривиальным орудием достижения разных побочных целей. Так что любовь—высокое правило, провозглашенное христианством для междучеловеческих отношений, а тем уже более для супружеских—является почти совершенно позабытым и изгнанным в настоящих брачных отношениях,—так что брак, рассматриваемый каким он является в жизни действительной, есть договор более соединения хозяйств, чем святого единения и осуществления слов бога: и сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей и будет два в плоть едину (книга Бытия, гл. 2, ст. 24). Так что мы ни одну из положительно существующих форм брака не можем почесть удовлетворяющей рациональным требованиям природы человеческой; ибо при установлении ни в одной из них не было истинное знание биологических законов природы человеческой (да и самые эти знания еще не достигли полного совершенства) принято за положительное основание для точного определения естественных форм супружеских отношений. Все они, как не основанные на общем воззрении на сущность природы человеческой, грешат односторонностью и требуют взаимного дополнения и исправления. Допущение более или менее развода в моногамии или моноандрии—бесспорно совершеннейшей из настоящих форм брака—может служить сему доказательством. Моногамия и моноандрия (единоженство и единомужество)—противуполагаются обыкновенно полигамии, полиандрии и бигамии (см. слово полигамия). Она господствует в землях христианских и основывается на внесенном в новый мир божественным учением

Христа сознании о равенстве прав человеческой личности и проистекшем оттуда признании одинаковости и тождественности прав мужчины и женщины, как необходимых (друг друга взаимно дополняющих) членов какого бы то ни было общежития, бытие которых равно необходимо для его целости и существования, и совершенное исключение из среды общества одного из них делает бытие его невозможным. При таком воззрении всякая другая форма брака, при настоящем положении общественной организации, хотя бы и более соответствующая природе, должна необходимо показаться несогласной с общепринятыми ныне понятиями (официально в Европе) о законных способах удовлетворения любви и стремлении человеческого духа к фамилизму (см. это слово).

Мораль. Принимая в смысле нравоучения,—есть совокупность правил, признаваемых за истинные в известном обществе (или между последователями ее учения) и служащих для руководства при определении практической годности человеческих деяний. Истинная мораль, или нравоучение—одна; ею может быть названа только та, которая выводит свои положения не из многих предположений априорических, повидимому необходимых для успокоения духа человеческого, но из опытного исследования природы человеческой и строгого анализа всех ее потребностей,—та, которая, не отвергая ни одного из ее, повидимому противоположных, но, тем не менее, нормальных (см. это слово) требований, ставит в священную обязанность всякому человеку всестороннее их развитие. Таково должно быть истинное человеческое нравоучение. Но от него весьма далеко отстоит большая часть нравоучений, имеющих силу в различных обществах. Так, положительных моралей или нравоучений бесчисленное множество—и все они изменяются соответственно местным религиозным, политическим и социальным убеждениям и вообще направлению духа времени и общественного развития. Отличительная черта всех положительных нравоучений—преимущественно основывающихся на религиозных учениях—есть односторонность, или исключительность и нетерпимость. Главнейшие нравственные учения были: рационализм, эвдемонизм, стоицизм, материализм, модерантизм и др. (см. эти слова).

Моралистом называется обыкновенно тот, кто, вы-

ставляя себя последователем какого-либо нравственного учения, старается сделать его господствующим в обществе. В худом смысле называют моралистом человека, проповедующего правила нравственности, но им не следующего.

Музеум, или музей. ...Если прямое назначение искусства—одушевлять человека и разумно украшать его жизнь—не может осуществиться, потому что жизнь и искусство нередко находятся в разладе между собою, то тем более учреждение музеев—устраняя всякое соприкосновение человека с поэтическими созданиями, которые хранятся взаперти и, будучи нагромождены одно подле другого, без всякого разумного основания, разве только по школам или в хронологическом порядке—имеет вредное влияние на общество; между тем как эти самые произведения, будучи помещены сообразно с идеею изображаемых ими предметов и в местах, наиболее способных к воспроизведению того впечатления, под влиянием которого некогда находился сам художник, нашли бы глубокое сочувствие в душе каждого и достигли бы высшего своего назначения...

Наивный. ...Обыкновенно слово «наивный» служит, как эпитет, для обозначения такого действия или выражения, которое, безыскусственно вытекая из сущности природы человека, его совершившего или произнесшего, вытекая из природы его, неиспорченной до конца общежитием, является противоречащим с общепринятыми обычаями и приличиями. Такое разногласие между установленными общежитейскими формами и формулами (будет ли оно происходить от силы, или от слабости развития лица, оказавшегося наивным), обнаруживающееся в поступках или в речениях, обыкновенно производит приятное впечатление на все лица, в которых ненормальность воспитания не совершенно заглушила естественные побуждения природы человеческой. Приятность ощущений, производимых в душе таковых людей такой чистой безыскусственностью, происходит: или от полного сладости пробуждения в их сердце тех давно забытых естественных и прекрасных побуждений природы, внушению которых они безбоязненно покорялись в счастливые времена их беззаботного детства, или от обнаружения другими тех помыслов, тех чувств, которые принудили они себя затаить в глубине своей души в угоду странным и смешным приличиям. Наивность, в первом случае, должна их радовать, как призрак, как напоминание о жизни их детства, как появившийся пред их глазами на мгновенье силуэтный очерк безмятеж-

ного счастья, несогласующегося с действительностью и искусственностью общественных отношений. Во втором случае наивность их будет веселить, как открытая другим тяжелая тайна, которую хранить и им не хочется, а высказать нет сил; ибо чародейственная сила общепринятых приличий и обычаев общественных осуждает уста их на вечное немование. Поэтому всякую простодушность или наивность в жизни практической (но не в поэзии или стихотворстве) можно назвать безмолвным протестом противу внешних форм быта общественного, невольной, бессознательной попыткой природы приобрести давно утраченную человеком его естественность. Наивность (простодушие и простодушность), в том смысле, как ее обыкновенно теперь понимают, может иметь место в жизни практической, доколе не придут формы быта общественного в полную гармонию с требованиями природы человеческой...

Натура. ...Чем полнее и многостороннее будет умственное развитие какого-либо человека, тем более точек соприкосновения с природою должна представлять жизнь его, тем бо́льших и разнообразнейших наслаждений будет для него она источником;—о таком человеке можно сказать с Баратынским:

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье;
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна;
Изведан, испытан им весь человек.

Причудливое мечтательное разъединение духа и материи не найдет места в его сознании, развитом в гармонии с целой природою, и все явления природы, без различия, будут представляться ему тесно между собою связанными и проникнутыми одной всеобщей и всемогущей жизненной силою. Для него божество не будет тем, чем оно представляется для ума обыкновенного и чисто эмпирического. Оно будет для него не злой и разрушительной (каким оно иногда представлялось древним), но благодатной и зиждительной силою, полною мудрости, благости и разумения, обнаруживающегося во всяком явлении природы; и весь мир жизненных проявлений природы будет для него священною книгою непосредственного открове-

ния божества. Сознание господства—в сфере явлений физических и нравственных—одного общего закона мировой (космической) необходимости послужит примирением его с действительностью и многими антилогическими явлениями жизни практической.

Натурализм. Обыкновенно противополагается супернатурализму (см. это слово). В смысле вероучения означает учение, считающее возможным для человека достижение, путем одного мышления, без всякой помощи предания, откровения или самоличного явления божества, и осуществление в действительной жизни вечного и будущего блаженства чрез полное, самостоятельное и самодеятельное развитие сил природы своей. Натурализм, в низших фазисах своего развития, откровения божества в положительных религиях считает ложными, созданиями не божественными, а чисто человеческими. В дальнейшем своем развитии это учение, вмещая в себе пантеизм и материализм (см. эти слова), считает божество ни чем иным, как общей и высшей формулой человеческого мышления, переходит в атеизм (см. это слово в Приб. к Словарю), и даже наконец преображается в антропотеизм (см. это слово в Приб. к Словарю), т.-е. в учение, признающее высшим существом только человека в природе. Натурализм, находясь на этой степени своего рационального развития, считает всеобщее признание божества в положительных религиях происшедшим от обоготворения человеком своей личности и общих законов своего мышления, все религии, которые представляет нам историческое развитие человечества, считает только постепенным приготовлением человечества к антропотеизму или полному самосознанию и сознанию жизненных законов природы.

Натуральное право. Натуральным или естественным правом называется та наука, которая из начал чистого разума или идеи о справедливости выводит все права и обязанности человека, как человека и как члена человеческого разумно-основанного общества. В этом смысле натуральное право противуполагается законодательству положительному, развившемуся под влиянием совершенно разнородных случайностей. У римлян содержанием праву натуральному (jus naturale) служило изложение тех требований природы человеческой, которые общи человеку с животными. Вообще основные начала натурального права, его определение—зависят от того

понятия, которое имел писатель о натуральном, нормальном или естественном состоянии человечества (см. слово натуральное или нормальное состояние), так что мы не можем указать ни на одно сочинение о натуральном праве, как на удовлетворяющее абсолютным требованиям разума. Одною из главных причин неразвития натурального права дóлжно считать странное мнение: будто бы безусловное принятие законов правды и справедливости (без применения к личностям) при определении внешних форм междучеловеческих отношений—неудобосогласимо с действительными интересами целого общества!?. точно так, как и то мнение, что справедливость и истина никогда не могут сделаться всеобщим достоянием человечества (духа человеческого); и что для счастия большинства людей невежество и заблуждения необходимы!!. Без содействия начал натурального права или философии права невозможны: ни разумная, ни систематическая кодификация законов; ни отыскание начал для разрешения многообразных коллизий, встречающихся между различными частями администрации, неизбежными вследствие самого ее исторического развития и проистекающего оттуда недостатка теоретической сознательности; ни органическое развитие законодательства, соответствующее истинным требованиям человеческим; ни издание постановлений, предупреждающих общественные нужды и прямо благоприятствующих развитию жизни общественной. Впрочем, для натурального права, в смысле науки, совершенство недостижимо до тех пор, пока будут в мире юридическом различаться обязанности юридические от нравственных; сила физического принуждения будет занимать место разумного убеждения, пока в основу его, равно как и всякого философского учения, не будет положено естествознание. Впрочем, и теперь некоторые положения натурального права можно считать абсолютно верными, как, например, следующее: «что человек имеет, подобно всякому другому существу, право (par le fait même) и обязанность на жизнь, которая для него, как и для всего в природе, состоит во всестороннем развитии, соответственно требованиям или законам его природы»; «что на человека самым фактом его рождения возлагается прямая обязанность гармонического развития духа и материи»; «что жизнь человека всегда и везде и для всех безусловно священна»; «что всякое благоустроенное общество должно стремиться к тому, чтоб не было никакого

противоречия или разногласия между интересами различных его членов, чтоб не Галлерово: bellum omnium contra omnes, т.-е. не вражда всех противу каждого, но общее и единодушное стремление всех содействовать к полному благосостоянию и благоденствию каждого было бы общим законом для всех гражданственных отношений, и чтоб самое общество было практическим осуществлением завета братской любви и общения, оставленного нам спасителем. Одним словом, чтоб каждый сознательно полюбил ближнего, как самого себя. Так тождественны истины положительной философии с истинным учением религии! «Что всякая война перед судом разума есть зло, указывающее на неестественность общенародных отношений, проистекающее от неодинаковости развития народов, зло, которое должно прекратиться совершенно, когда человечество вступит в эпоху полного своего развития»; «что всякое установление положительное, препятствующее свободному развитию человека (например, установление 10.000 церемоний в Китае), есть вопиющая несправедливость»; «что формы быта общественного постоянно меняются и должны изменяться соответственно развитию требований в человеке,—и что сравнительная степень совершенства быта общественного определяется количеством и разнообразием средств или способов, доставляемых им для удовлетворения различных требований человеческой природы»; «что всякое общество, не доставляющее положительно всех нужных средств для всестороннего развития его членов, есть форма быта общественного, преходящая, несовершенная и предуготовительная для другой, более совершенной—как, например, варварство приготовило феодализм, и он в свою очередь установил цивилизацию (см. эти слова).—Гроциуса и Пуффендорфа следует назвать отцами натурального права. Весьма важно для успехов развития права натурального было старание Канта и Фихте вывесть начала его непосредственно из начал практического разума и свободы воли. Еще важнее попытки новейших мыслителей установить его безусловно на началах разума, без всякого отношения к известным и определенным формам государственного, или общественного быта, и даже из начал его определить самые формы оного. Они признают вообще не-

обходимость общежития, общественности и общежительности (société, sociabilité и socialité), а государство, каким оно является в настоящее время у народов образованных, считают формой быта общественного сравнительно совершеннейшей с другими формами, предшествовавшими государству в историческом порядке развития человечества—как, например, варварством, патриархальностью,—но не считают его достигшим полного своего развития, ибо оно еще не доставляет человеку вполне всех способов удовлетворения разнообразных требований его природы, вследствие самой неполноты развития различных основных элементов государственной жизни, как, например, промышленности, образованности, общественности, публичности и солидарности всех интересов.

Натуральное состояние. Это выражение вообще употребляется для означения состояния какого-либо предмета, соответственного с законами его природы. В этих случаях оно заменяет слова природный и естественный. В смысле более тесном выражение: «натуральное состояние» употребляют для означения естественного и первобытного состояния человечества. Употребленное в этом смысле слово это представляет человека и человечество стоящими на заре их сознательной жизни, на первых ступенях их всестороннего развития, еще непривыкшими для искусственных потребностей, возбужденных и развитых в них цивилизацией (см. это слово), пренебрегать и даже жертвовать удовлетворением действительных требований своей природы. Сказание об этом первобытном состоянии сохранилось в преданиях почти всех народов и послужило канвой для изображения разными поэтами золотого века.—Эти поэтические изображения первобытных времен человечества увлекли многих мыслителей, несознавших возможность бесконечности развития человечества [1]), и заставили их принять это первоначальное, натуральное состояние человечества, соответствующее его младенческому возрасту,—за нормальное (см. это слово) во все периоды его развития, за общую формулу человеческих отношений, выше и лучше которой ничего не в состоянии придумать человечество. Нам, их потомкам, разубежденным действительностью и опытами в их заблуждениях, может показаться смешным то, что они, худо поместив их идеал благосостояния человеческого, хотели вместить

---

[1]) Англичанин Прейс первый высказал ясно эту мысль; Кондорсет и Кант обобщили ее. Ныне она принята всеми мыслителями.

в рамки прошедшего грядущее развитие человечества, влить живое и живущее своей органической жизнью в мертвые формы отжившего, приняли мертвое за тип совершенства для всего одаренного жизнью. Они забыли, что в природе ни для чего нет полных повторений, нет воскрешения, полного воспроизведения форм, однажды отбывших свою чреду. К распространению такового понятия о натуральном состоянии человечества всего более содействовал Ж. Ж. Руссо. Пораженный бесчисленными противоречиями, представляемыми действительностью (совершенно неудобосогласимыми при состоянии тогдашней организации общественной), он напал на ложное заключение: что соглашения этих противоречий должно ожидать не от развития человека, не от совершенного удовлетворения его нужд, но от приведения человека к бессознательности первобытной. Жизнь всего в природе обнаруживается и действительно состоит в беспрерывном преобразовании внешних форм, замене одних явлений другими. В этом смысле все, одинаково мыслящие с Руссо, правы, утверждая, что преобразование общественного быта, соответственно требованиям природы человека, безусловно нужно, и что оно действительно постепенно происходит вследствие самого развития общественного быта, и совершение этих преобразований в нем есть sine qua non для самого его существования. Но они неправы в том отношении, что утверждали, будто бы тип, идеал, первообраз общественного благоустройства и человеческого счастия должно искать в мире прошедшего,—а не в будущем, в сфере пережитых человечеством явлений, на страницах истории,—а не в разумном сознании человеческом, очищенном от влияния местных предубеждений всякого рода (!!).—Не преданием о прошедшем, но сказаньем о грядущем должно считать в этом смысле золотой век. Осуществление его практическое или содеяние общества живым орудием полного благоденствия и счастия всякого человека принадлежит будущему и составляет еще неокончательно разрешенную общественную задачу.—В различных новейших сочинениях, особенно социальных, как, например, у Charles Fourier в его «Traité de l'association domestique et agricole» или в «Théorie de l'unité universelle», изд. в Париже в 1841 г., для означения этого состояния употребляются слова эденизм, отаитизм (см. эти слова).

Нация. Это слово часто употребляется вместо слова народ в тех случаях, когда имеют в виду обратить внимание

читателя или слушателя на племенную родственность членов какого-либо народа — на происхождение их от одного общего родоначальника,—или указать на происхождение оттуда общности языка, обычаев и нравов, имеющих силу в каком-либо народе. Всякий народ или нация, рассматриваемая с гуманной точки зрения, является в тех же отношениях к целому человечеству, как вид в отношении к роду, и только постепенно развиваясь, т.-е. утрачивая свои индивидуальные, частные признаки или прирожденные свойства, он может стать на высоту человечественного, космополитического развития (s'élever au degré du perfectionnement humanitaire),—тогда только может настать для него время постижения общечеловеческих интересов, тогда только развитие его жизненных сил будет совершаться гармонически с требованиями целого человечества. Тогда только может какой-либо народ внести свою собственную лепту в сокровищницу человеческих знаний, дать самодеятельный толчок общечеловеческому развитию, когда будет им усвоена, вместится в нем совершенно вся предшествовавшая образованность, и будут поняты все интересы жившего до него человечества, и пережиты им все его страдания путем собственного тяжелого опыта. В этом смысле Россию и русских ждет высокая и великая будущность.

Национальность. Происхождение от одного общего родоначальника, одинаковость языка, климатических влияний, тождество исторических и политических событий и необходимо проистекающая отсюда одинаковость нравов и обычаев—кладут свой общий однообразный и характеристический отпечаток на все лица, принадлежащие к какому-либо одному народу; так что в выражении физиономии, манерах, акценте (как бы [они] ни были изменены воспитанием) всегда почти остаются некоторые особенности, по которым нетрудно бывает человеку опытному узнать, к какому народу принадлежит встреченное им лицо. Эти-то общие отличительные черты, по которым можно узнать, к какому народу принадлежит по своему происхождению известное лицо, и называются типическими или национальными признаками. Совокупность таковых типических признаков (как, например, образ жизни, нравы, социальные убеждения, религиозная настроенность духа, обычаи и т. п.), отличающих один народ от другого и дающих ему как бы самостоятельное значение среди человечества, и называется его национальностью. Чем на низшей степени своего нравственного, политического или

религиозного развития находится какой-либо народ, чем менее способов к всестороннему и разнообразному удовлетворению его потребностей представляет ему развитие у него промышленности, чем менее находится он в дружественном общении с прочими народами, чем предосудительнее и даже чем беззаконнее для него кажутся сношения с чужестранцами, усвоение себе их идей и форм их быта общественного; чем более положено преград положительных безусловно ко всяким таковым заимствованиям и сообщениям (как, например, в Китае),—тем более должны признавать мы таковой народ находящимся под влиянием материи, тем более будет дух его, так сказать, овеществлен и поставлен в зависимость от грубой и безорудной природы, тем далее отстоять он будет от идеала общечеловеческого развития, тем менее будут подходить по своему нравственному достоинству члены его к высокому типу истинного человека, принимаемому в космическом и космополитическом смысле,—тем резче будет выказываться его национальность (овеществление в нем общечеловеческого духа), тем резче будет он отличаться от других народов, тем будет он *национальнее* и *уединеннее среди общения общечеловеческого*, тем более отпечатков дикости и варварства будет носить в себе его национальность; и тем с большим фанатизмом (см. это слово) будет он ее держаться и даже будет бессознательно готов принесть в жертву благосостояние других народов для торжества своей национальности, погубить плоды тысячелетних трудов человечества, сравнять с землей памятники наук и искусств и на развалинах их гордо и самодовольно раскинуть свою кочевую палатку и рассадить капусту..., все это и даже еще более ужасное будет он готов совершить во славу своей национальности! Арабы в начале введения у них магометанства могут служить сему примером. Мы, русские, вправе теперь гордиться Петром, разом извлекшим нас из варварства, и нашей способностью заимствовать и себе совершенно усвоивать все хорошее иностранное, поверенное и испытанное на Западе тяжелым, а иногда даже и кровавым опытом.—Мы должны благодарить Петра и *мудрых его наследников*, что они приблизили нас к идеалу государственной, общественной и человеческой жизни, в котором все стараются более подчинить не случаю, не обстоятельствам, не старине, а *идее истинного и прекрасного*, и *что в нашей администрации уже нет места* (как это было до Петра) *господству привыч-*

ки, рутины и бессознательно принятых предрассудков, — и что наука, знание и достоинство ею руководят!!. ...и что главный и отличительный признак нашей национальности в настоящее время есть благородное стремление постепенно освободиться от влияния случая и подчинить все явления жизни общественной безусловным законам разума (доказательством этому может служить издание свода законов!..); что нам теперь священно и драгоценно в наследии предков одно только истинное и прекрасное, и мы уже не боготворим бессознательно все старое потому только, что оно старо.

Национальное собрание. Это слово употребляется преимущественно для обозначения народного собрания. Если не прямое, то по крайней мере посредственное участие целого народа, чрез его представителей, в положении решений на таковых собраниях всегда более или менее вмещается в самом понятии о национальном собрании. Таковые собрания бывают постоянными, или случайными. В странах, где жизнь общественная находится на высшей степени развития—так, например, в Северо-Американских штатах и т. п.— они суть явления не случайные, а постоянные, или периодические. Примеров таковых национальных или общенародных собраний — как чрезвычайных, так и постоянных — можно найти весьма много в древней и новой истории. Так, в России примером таковых собраний может служить земский собор, избравший на царство ныне царствующий дом Романовых. Слово национальное собрание обыкновенно употребляется для обозначения двух собраний, бывших во время первой или Великой французской революции; преимущественно же это наименование присвояется первому законодательному собранию (Constituante), самодеятельно заступившему место генеральных штатов (см. слово генеральные штаты и штаты), созванных 5 мая 1789 года Людовиком XVI. Национальное собрание, как и генеральные штаты, состояло из представителей трех тогда признаваемых во Франции сословий: духовенства, дворянства и среднего сословия (tiers état, bourgeoisie), которое и было посредственно представителем всего народа. Среднее сословие имело, сравнительно с количеством представителей прочих сословий, большее количество представителей, бывших в то же время представителями целого народа, почему и самое собрание получило название народного, или национального собрания (Assemblée nationale). Это

собрание замечательно тем, что в нем впервые законно и законодательно выразилась сознательная мысль народа французского, и его можно принять за начало рационального развития общественности у сего народа. Труды этого собрания, созванного Людовиком XVI с истинно благородными и народолюбивыми намерениями, отличаются человеколюбием, благонамеренностью и духом истинно философским,—почему отнюдь не до́лжно смешивать его с прочими собраниями подобного рода, бывшими во время французской революции.—Так что можно сказать утвердительно, что, если б Людовик XVI последовал вполне благоразумным решениям сего собрания, советам Неккера и других просвещенных своих министров, то историку вовсе бы не пришлось упоминать о многих ужасах этой революции, и самое политическое преобразование Франции, как желал этого сам Людовик, да и самое возрождение народа французского совершились бы тихо, мирно, без потрясений. — Важнейшими декретами этого собрания, имевшими великое и благодетельное влияние на последующее за сим нравственное развитие Франции, были следующие: 1) Объявление прав человека (déclaration des droits de l'homme). 2) Уничтожение рабства (l'abolition de la qualité de serf). 3) Уничтожение феодальных судов (l'abolition des juridictions seigneuriales). 4) Постановление уравнительности раскладки налогов и подчинение им всех сословий (l'égalité des impôts). 5) Уничтожение продажности мест (l'abolition de la vénalité des offices). 6) Уничтожение провинциальных и городских привилегий (la destruction de tous les priviléges de villes et de provinces). 7) Допущение евреев и протестантов к пользованию всеми правами гражданскими и политическими наравне с католиками. 8) Обращение церковных и монастырских имуществ в государственную собственность для уплаты государственного долга. 9) Преобразование многих церковных постановлений согласно общим требованиям века; сближение духовенства с прочими сословиями и подчинение его общим государственным постановлениям.

Все, что носило на себе печать духа средних веков, в государственных, в гражданских постановлениях—было если не совершенно уничтожено декретами Constituante, то по крайней мере так преобразовано, что с тех пор возрождение всего этого в первобытных формах времен феодализма стало совершенным анахронизмом для Франции.—Важнейшим трудом Constituante было составление и издание конститу-

ции, которая послужила образцом для всех последующих французских конституций, так что все они являются только различными преобразованиями этой.—Вот главные ее пункты, сохраненные в последующих конституциях без всяких изменений.

Глава II, отд. I, §§ 1 и 2. Королевство неразделимо и наследственно по салическому закону. Личность короля священна и неприкосновенна; король именуется королем французов.

Глава I, § 1. Законодательное собрание составляет одну палату и образуется из представителей или депутатов разных департаментов.

Отделение III. Верховная власть принадлежит всему народу в совокупности и не может быть передана ни одному, ни нескольким лицам.

Отделение II, § 1. Все правительственные должности, как, например, префекта и т. п., должны быть замещаемы по выбору.

Глава V, § 1. Судебная власть, для большей охраны справедливости решений, не должна находиться в зависимости ни от короля, ни от законодательного собрания.

Глава II, § 5. Всякий суд, уголовный и гражданский, должен производиться публично.

Глава V, § 9. Суждение о виновности обвиняемого принадлежит присяжным; без их приговора никакое дело не может быть решено судебным порядком; обвиненные имеют право избрать по своему произволению адвоката.

Глава V, § 10. Никто не может быть содержим арестантом без приговора суда, по одному подозрению, какого бы рода оно ни было.

Глава I, § 1. Все граждане имеют одинаковые права на занятие всех должностей без различия, соответственно их талантам и достоинствам.

Глава I, § 2. Всякий гражданин может пользоваться полною свободою, почему и имеет право избирать место жительства и странствовать без всякого помешательства со стороны местных властей. Также имеет полное право свободно выражать свои мнения, писать и печатать, не подвергаясь никакому суду или цензуре. Всякий гражданин имеет полное право следовать обрядам какой ему угодно веры и переходить из одной в другую по своему произволу.

Издавши эту конституцию, установивши новый порядок во Франции, это собрание, как исполнившее свое назначение, объявило себя уничтоженным.

Источниками для изучения истории сего собрания могут служить: Thiers. Histoire de la révolution française.—Cabet. Histoire populaire de la révolution française.—Histoire parlementaire de la France [1]).—Histoire de dix ans par Louis Blanc.—Это собрание заменено было вторым национальным законодательным собранием.

Негрофил. Так называют благородных поборников правды, принимающих живое, деятельное участие в судьбе несчастного племени негров (см. это слово), и доблестные усилия которых в новейшее время увенчались успехом. По важности современного политического вопроса о торговле неграми и уничтожении невольничества мы считаем не излишним изложить его с некоторою подробностью [2]).

Несмотря на разумность и святость уничтожения подобного рабства и угнетения, в то самое время, когда европейские дворы были заняты вопросом о неграх, а доблестные друзья человечества напрягали все силы ума и красноречия для его разрешения, нашлись люди... и, что всего удивительнее, люди ученые, занимавшие кафедры и известные в литературе, которые возвысили голос в пользу невольничества, основываясь на истории римлян и греков и тому подобных доводах... Другие видели в усилиях английского правительства корыстные расчеты!! Некоторые соболезновали о разорении владельцев колоний! Что теперь работа обходится колонистам дороже, чем прежде!—Были и такие, которые торжественно изрекли, что «негры неспособны к образованию, и что природа (?) создала их для неволи». На это можно бы сделать много замечаний физиологических и сослаться, как на живые факты, на колонии свободных негров (например, Либерию, близ Сиэрра-Леона), или отвечать словами великого Питта, что когда римляне в первый раз взяли в плен британцев, то тоже сказали, что британцы неспособны к образованию. А на первое замечание можно сказать, что если Англия и имела другие цели при своих филантропических стремлениях, то эти цели не были главные; наконец, какие бы ни были эти цели, тем не менее результат их оказался важен и в высшей степени полезен для значительной части чело-

---

1) «Histoire parlementaire de la révolution française, ou Journal des Assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1795». Paris 1833—1838, 40 томов. Сборник документов, составленный Бюше (Buchez). *Ред.*

2) Следует очерк истории рабовладельчества. *Ред.*

веческого рода. С другой стороны, если и можно сомневаться в чисто филантропических намерениях английского правительства, то нельзя сомневаться в намерениях многих частных лиц, как, например, Вильберфорса, Питта и других людей, которые всегда будут делать честь стране, которой они принадлежат.

Негры. ...Из них особенно заслуживает внимания племя буджуанов, или бушуанов, красивейшее и доблестнейшее из негрских племен, живущее на восток от мыса Доброй Надежды, до того неподклонное рабству, что европейцы почти не берут их в свои колонии. Красноречивое доказательство великой истины, что неуступчивость и враждебное отношение к притеснителям лучше всего заверяют неприкосновенность и свободу человека.

Некоторые натуралисты утверждали, что самый организм и физиономия негров свидетельствуют о неспособности их к образованию и цивилизации. С другой стороны, защитники негров, для опровержения сего несправедливого приговора, с младенческим простодушием приводят в пример различные похвальные черты негров, как, например, преданность господину, любовь к детям, привязанность к родине и т. п., забывая, что они исчисляют свойства, общие многим породам животных, между тем как можно привести другие, более основательные доказательства причины неразвития негров; а именно: 1) деспотизм, искони господствующий в мелких владениях, образуемых неграми в Африке, 2) отсутствие всяких сношений с странами более цивилизованными и, преимущественно, злостные поступки европейцев, которые, вместо того, чтобы очеловечить и развить эти младенческие племена, обманом, или хищнически увозят их в тяжкую неволю, в которой они утрачивают последние следы разумности и часто от угнетения становятся скотоподобными; между тем как в новейшее время доказано, что их неспособность происходит единственно от младенческого состояния их ума, который при благоприятных обстоятельствах может вполне развиться, что, следовательно, их до́лжно воспитать, точно так, как мы воспитываем наших детей, и что совершенно несправедливо, будто один только европеец может быть умен...

Некролог. ...В некрологе исчисляются деяния человека, достойные суда общественной критики. Нельзя доверять фактам, сообщаемым некрологом, но в нем можно найти

точное выражение образа мыслей и людей той эпохи, их воззрения на общественные заслуги и добродетели. Так, например, некролог Малюты Скуратова был бы драгоценным историческим памятником; из него мы бы узнали впечатление, которое произвела смерть временщика и злодея на его современников.

Неология. ...У нас официально в литературе, т.-е. в схоластических руководствах к познанию словесности (иных покуда еще не имеется), вопрос о праве и законности неологии и неологизма в словесности не решен положительно.—Неологию, как в литературе, так и везде, преследуют люди устарелые и преимущественно отсталые, не могущие ни следовать за современным развитием человечества, ни ему сочувствовать. Монотонность и даже пошлость явлений, среди которых бывает суждено большей части людей провести свою жизнь, нимало не возбуждающая к деятельности их ум, повергает его в апатию; от этого происходит то, что разность между общим ходом человеческого развития, жизнью таких людей и ее развитием будет все более и более увеличиваться, так что всякое новое явление, чем яснее и полнее будет оно выражать действительные требования природы, т.-е. [чем] больше взаимнодействия различных сил природы будет потребно для явления его в мир действительной жизни, чем будет оно необходимее, а не случайнее, тем случайнее, страннее, чудеснее будет оно им казаться. Для таких людей, у которых разумность младенчествует от устарения, всякое нововведение будет казаться нелепостью. К этим людям принадлежат литераторы-пуристы, посвятившие себя в рыцарей-защитников первобытной чистоты форм языка. Такие люди готовы преследовать все неосвященное столетним употреблением, не обращая нимало внимания на то, что нововведение будет прямым результатом необходимости выразить в новых и определенных формах вновь возникающие разумные потребности в народе. Ум этих людей не может возвыситься до сознания развития не только нравственного или умственного, но даже физиологического (растительного), — от этого их близорукому взору вся жизнь природы кажется вмещенной в тесный круг возвратных и беспрерывно повторяющихся явлений!!. Им от этого вовсе не кажется, чтоб развитие жизни в природе постоянно вносило в мир явлений действительных новые, сравнительно лучшие и совершеннейшие формы для своего обнаружения; что беспрерывность

нововведений, новизны, нововводительства была внешним выражением жизненного принципа в природе, и что жизнь сама в себе есть ни что иное, как ежемгновенная неология. Остановись это преобразование, эта замена одних форм обнаружения жизни другими, прекратись неология — тогда помертвение будет уделом всего сущего. Если для жизни природы безорудной sine qua non будет беспрерывное изменение ее форм или внешних знаков ее обнаружения, то этот общий закон преобразования форм будет иметь еще большее значение относительно разумной стороны человека, наиполнейшее свое обнаружение он должен и будет иметь в сфере человеческого мышления и творчества— в обширном значении этого слова... До тех пор нельзя ожидать сознательности в развитии народа и рациональности в его общественной жизни, пока язык его не приобретет способность выражать вполне все разнообразные требования рационально развитой природы человеческой. Такое старание о развитии языка, нам кажется, скорее должно быть занятием истинного литератора, желающего быть национальным, чем сомлевание от восторга при разборе заунывной бессмысленности какого-нибудь напева — вроде ай люли!!.

Разрешение вопроса о праве и законности неологии в языке или в языках приводится к разрешению следующих вопросов: достигло ли человечество полного своего развития? Совершился ли в нем вполне акт самосознания или сознания природы?.. Достигла ли в нем жизнь природы до своего высшего проявления?.. Содержат ли настоящие языки—органы или знаки проявления разумности (сознания) в человеке—все потребные формы для обозначения многообразных обнаружений сознания и сознательности в человеке?—На все эти вопросы мы должны сделать ответ отрицательный—убеждающий в абсолютной необходимости неологий и нововведений всякого рода для развития общественного (см. слова: новация, новатор, новаторство и реновация).

Слово неология употреблялось многими теологами, приверженцами католицизма, для означения антикатолического, или, так сказать, неправославного учения,—а самых преподавателей этого учения неологами (см. слова: неохристианизм, неокатолицизм).

Неохристианизм. В Западной Европе вообще под неохристианизмом понимают учение христианское, очищенное от

всяких предубеждений, вошедших в него от влияния разных народностей путем исторического развития, и развивающееся соответственно общему ходу развития человечества и разумности. Это понятие утверждается на том, что религию и религиозные убеждения отнюдь не должно рассматривать отдельно от жизни человека и человечества, и что она во всех своих проявлениях находится в тесной и полной зависимости от всех обстоятельств, имеющих, или могущих иметь влияние на самый быт человека. Одним словом, религия не есть явление случайное, но необходимое и неизбежное в разумной жизни человечества, не выдумка чьего-либо досужего воображения, но выражение действительного требования определения причинности явлений; она есть ни что иное, как миросозерцание, соответствующее различным степеням умственного развития различных народов. Этому общему закону органического развития подчиняется также и христианство, как нраво- и вероучение. Основная идея христианства — любовь, выразившаяся в этих многознаменательных словах Христа: возлюби ближнего, как самого себя, — подобно всякой другой идее, являющейся практической формулой для определения разнообразных отношений жизни общественной в известном обществе, должна была подчиниться общему закону органического развития; значение и практическое действие этой идеи должно сохранять до тех пор всю свою целостность, пока все возможные выводы из нее не будут проверены действительной практикой и пока все постороннее, примешанное к основному догмату, не будет от него отделено путем сознательного анализа и опыта. И только потом может начаться круг действий другой, новой и более разумной идеи. Проникновение общества идеей христианства или любви совершалось медленно и постепенно, пока, наконец, не достигло оно полноты и не проявилось, по мнению неологов, в неохристианизме (см. слово сен-симонизм).

Непотизм. ...В странах, где выбором общественным определяются все лица к отправлению их должностей, непотизм меньше имеет места, ибо он был бы гибельным для лиц, чрез меру подчинившихся влиянию родственности, ибо занятие должностей людьми неспособными и неимеющими гражданских добродетелей послужило бы не опорою для лиц, им проложивших к ним дорогу, но прямо повлекло за собою утрату общественного доверия и уважения. Раз-

витие непотизма в государственном управлении весьма вредно для общественного благосостояния, ибо лишает народ всякого доверия к правительству, и отклоняет людей, истинно способных и достойных, от посвящения своей деятельности пользам отечества, и развивает ужасное зло лихоимства, наушничества, и производит самое нерадение к пользам общественным и народным.

Стремление, замечаемое с половины прошедшего столетия у всех образованных народов, определить значение человека по его способностям (таланту), качеству и количеству его производительности (труду) и самым способам производительности (капиталу) значительно ослабило вредное влияние непотизма. Теперь, в настоящее время, когда признанье превосходства труда и таланта пред богатством и происхождением значительно увеличилось и выводится из общественных нравов,—преобладанье родственных связей перед действительными достоинствами значительно уменьшилось, но, тем не менее, оно имеет еще значительную силу в обществе. Всякая родственная связь, как основывающаяся на одинаковости происхождения, есть связь более физическая, чем нравственная или разумная, которая утверждается на одинаковости сознания общих интересов. — Эта сила родственных связей, покуда еще не вполне ослабленная разумностью, и есть главная из причин замечаемого у нас в обществе подчинения духа материи, а разумности случаю. До сих пор еще встречаются люди сентиментальные, толкующие про высокость сердечных ощущений и побуждений и превосходство их над решимостью, проистекающей из разума, лишенные действительных нравственных достоинств, которые защищают во имя любви — которой высокого, истинно-человеческого значения они вовсе не понимают—и святость так называемых родственных или семейственных (физических) связей, и все злоупотребления непотизма.

Нивеллеры. Наименование нивеллеров (уравнителей) присвоялось многим партиям и сектам (см. эти слова) в разных странах; так, например, в Англии под этим именем иногда разумелась партия левеллеров (levelers) (см. это слово в Приб. к Словарю). Преимущественно так называли из анабаптистов приверженцев и последователей Мюнцера, бывшего главным предводителем нивеллеров во время так называемой крестьянской войной. Учение нивеллеров, по сло-

вам Sleidan'a в его «Истории веры и государства», состояло в следующем: 1) Все лица к отправлению духовных или церковных должностей определяются общим народным избранием; избраны к отправлению этих должностей могут быть все без различия. 2) Слово божие должно быть проповедуемо и объясняемо, следуя прямому внушению своей совести и разума, нимало не заботясь о применении его к положительным гражданским или политическим учреждениям. 3) Так как учение Христа есть учение равенства, то рабство должно быть уничтожено в христианском мире. 4) Многоразличные подати, которыми отягчен был народ со времен феодализма, должны быть уничтожены, и единственно десятинный сбор с зерновых произведений может быть сохранен. 5) Все помещики или землевладельцы должны предоставить принадлежащие им воды и леса в общее пользование. 6) Все же земли, не принадлежащие кому-либо в особенную исключительную собственность и на право владения которых не имеется особенных законных и положительных доказательств, должны поступать в общее владение. Некоторые из их требований в течение времени были исполнены в Германии, но не без кровопролития; ибо нет примера восстановления утраченных прав без жертв кровавых и гонения!!. . . . .
. . . .[1]).
Учение нивеллеров значительно распространилось в Германии; главной причиной успехов, так [же] как и самой крестьянской войны, с которой его история тесно связана, были те ужасные угнетения, которым подвергался в то время в Германии низший класс народа от высших классов. Это учение нашло такое сочувствие в Германии, что последователи его успели завладеть несколькими городами в Германии, как, например, Мюнстером, где на некоторое время нашло себе почти совершенное осуществление учение нивеллеров. Соединенными силами имперских князей они были разбиты, изгнаны из городов, которыми им удалось завладеть. Этим окончилось политическое существование общин, организованных в духе учения Мюнцера. Умереннейшие из нивеллеров, более следовавшие религиозной стороне этого учения, чем политической—известны под именем анабаптистов (см. это слово в Приб. к Словарю).

Нормальное состояние. Это выражение буквально озна-

---

[1]) Точки в оригинале. *Ред.*

чает: правильное состояние, т.-е. состояние известного предмета, соответственное законам его природы. В этом смысле оно не может быть употреблено вместо выражения — естественное состояние[1]) или положение, ибо вообще в природе никогда предметы не бывают в неестественных или ненатуральных положениях или состояниях, хотя и могут некоторые из них являться взору наблюдателя неправильно или ненормально развивающимися, находясь под влиянием сильнейших действователей природы, нежели те, которыми определяются формы их органического развития. Нормальных или правильных состояний будет столько, сколько находится в природе различно организованных существ: поэтому и формула нормальности развития будет различна для различных существ.—Выражение: «нормальное развитие», или «нормальность развития», без большой ошибки может быть употреблено вместо «нормальное состояние», ибо в понятии о состоянии предмета всегда заключается понятие о постепенности его развития.

Выражение нормальное состояние во многих новейших философских сочинениях, особенно социальных, употребляется как техническое, для обозначения нормальности развития общества, человека и человечества.

Нормально развитым человеком обыкновенно называют того, в котором все силы его природы, все страсти, гармонически развитые, являясь вполне свободно-деятельными, пробуждая его к деятельности, непосредственно ведут его к исполнению его высокого назначения. Таковое нормальное развитие, всего менее зависящее от лица, им пользующегося, всегда предполагает определенную массу средств, доставленную обществом для удовлетворения нужд человека (minimum de l'existence), без которой акт его жизни или жизненного развития являлся невозможным, так что нормальность развития или нормальное состояние человека находится не только в связи, но и в полной зависимости от нормальности развития самого общества.

Нормально развитым или благоустроенным обществом, — обществом, находящимся в нормальном состоянии,—будет то, которое доставляет всякому из чле-

---

[1]) Для большей ясности советуем прочесть статью натуральное состояние, стр. 218 (перепечатана у нас, стр. 16).

нов своих средства для удовлетворения их нужд пропорционально потребностям и поставляет всякого человека в такое положение или отношение к целому обществу, что он, предаваясь вполне влечению естественных своих побуждений, нисколько не может нарушать гармонии общественных отношений, но будет деятелем, не только полезным самому себе, но и целому обществу, без самозаклания личности.

Человечество тогда только можно почесть достигшим нормального развития или состояния, когда дух единства и единения проникнет всех людей . . . .[1]) и будет едино стадо и един пастырь (Ев. Иоанна, гл. 10, ст. 16). Когда физические и нравственные силы отдельного человека достигнут апогея их возможного развития, и для человека вообще настанет пора самосознания, самозакония, общности и общительности; когда человек войдет в непосредственное общение с природою, и все люди в совокупности явятся полными властелинами живых и действующих сил ее (земли), и они будут покорными орудиями человеческого произвола; когда все, что считается трудом удручающим, отвратительным . . . . обратится в источник непосредственного наслаждения жизнью . . . .

. . . .[2]).

(см. статьи: овенизм, социализм, фурьеризм, эдем, и в Приб. к Словарю ст. коммунизм).

Новаторство. Это слово очень часто употребляется вместо слова: «нововводительство». Так как значение этого слова положительно не установилось, то мы займемся его определением.

Масса действующих сил в природе от вечности постоянно одна; разнообразие явлений, в ней замечаемое, есть ни что иное, как произведение многоразличной комбинации этих постоянно действующих сил природы. Эти положения новейшая наука признала истинными и положила в основу своего

---

[1]) Точки в оригинале. *Ред.*

[2]) Точки в оригинале. *Ред.*

миросозерцания. Из них прямым выводом будет утверждение, что в природе нет и не может быть ничего совершенно нового, то-есть такого, чего прежде не существовало под другими формами, и что все вообще изменения природы (состоя в перестановке действующих сил) имеют значение только относительно известных, определенных точек мироздания, мысленно принятых за неподвижные и за точки опоры для сбозрения мира и его явлений.

Поэтому «новаторством», «нововводительством», в применении к человеку, называется акт его, как существа самозаконного и самосознательного, приводящий [в движение], на основании более общих законов мироздания (нежели те, коими доселе направление их определялось), действующие силы (предметы) в природе, или в человеке, доступные его владычеству и управлению, и чрез это сочетание вносящий в сферу мировой жизни новый ряд или род явлений, необходимость происхождения которых нельзя [было] бы вывесть логически, непосредственно из общего хода предшествовавших и присущих явлений, в бытии которых он является первой, главной причиной и творческой силой. Почему, чем полнее, рациональнее будет акт новаторства, чем наибольшее количество действующих сил в природе обнимет он и приведет в движение, тем многообразнее может быть и будет сочетание действующих сил, тем чудеснее, поразительнее и разнообразнее должны быть результаты новаторства, тем наибольшее противодействие он должен встретить в прежде установившемся сочетании сил. Чем важнее будет новаторство в сфере быта общественного, тем большее количество интересов оно должно потрясти, тем наибольшую реакцию встретить в нравах общественных, так что сила противодействия новаторству будет находиться в прямом отношении к его полезности. Примером новаторства истинно социального может служить реформа Петра I. Мы пользуемся плодами возбужденного ею разумного движения в России именно потому, что творческая обновительная его деятельность коснулась всех частей организации общественной и во всем нравственно-живом и живущем возбудила стремление к прогрессу (см. это слово), наперекор многим, желавшим оставить в закоснении невежества разумение народа. Примером смелого новаторства в быте общественном могут служить системы Овена, Сен-Симона, Фурье, где аналитическая мысль, с большей или меньшей точностью пройдя по всем составам общественного организма, пыталась вы-

числить все, даже сколько биений потребно в секунду для правильности и нормальности его отправлений.

Новатор (Novateur). Это прозвание дают и можно давать без различия всякому нововводителю; так что «новатор», под пером иного узколобого публициста (см. это слово) или писателя, может явиться укоризною, которою он хочет отличить нововводителя от прочих людей, за странно иногда обнаруженную, высокую всегда по своему началу потребность—внести усовершенствование в избранную им сферу деятельности,—и предать ее, за высокие ее порывы, на поругание толпе, привыкшей следовать рутине принятых убеждений, страшащейся всякого, даже неизбежно-требуемого общим развитием человечества, отклонения от мелочных форм прежде-установленного порядка, как требующего большей энергии деятельности и мышления, и ведущего за собою многие такие явления, которым образца нельзя встретить в сфере замеченных накануне явлений. Впрочем, отрадным доказательством развития разумности в Европе может служить то, что прежде инквизиция (к счастью, de facto везде уничтоженная ныне в Европе), руководимая изуверством, готова была, во славу господню, как она мыслила, возвести всякого на свой костер и предать сожжению не только за действительное новаторство, но и за помысл о нем; ныне же только отсталая половина человечества глумится над смелым нововводителем и иногда имя его обращает в смешное прозвище. Точно так же слово «новатор» может быть синонимическим выражением для обозначения всего прекрасного, высокого, благородного в природе человеческой, доблестно приносимого в жертву на пользу человечества... Слово сие должно приятно раздаваться в ушах тех людей, для сердца которых дороги высшие интересы человечества и его интегральное развитие. Теперь, пред нелицеприятным судом истории, венец славы принадлежит уже не смелым или кровожадным проливателям крови ближних, но скромным новаторам в области науки и искусства, не мечу окровавленному, но мирной гражданской доблести и мудрости законодательной, не животной силе, но светлому и ясному разумению. Теперь разрушение перестало быть геройством, и описание станка Аркрайда, или паровой машины Фультона, или какого-нибудь другого нового усовершенствования практического, скорее возбудит удивление в сердце читателя, нежели описание знаменитой победы Наполеона, для которой этот гений крушения безжалостно

устилал трупами своих соотечественников поле сражения, говоря: mais c'est de la chair à canons...

Высока, тяжела миссия всякого новатора и новаторства! К ней можно приготовиться только глубоким и долгим учением, ждать в ней успеха—только при точном знании законов природы. Неуспех, страдания, гонения были доселе уделом всякого новатора, не льстившего невежеству, но который, руководясь истиною, стремился усвоить ее человечеству. Христос (для евреев, его не признавших...) был только новатором—умер на кресте—и стал божеством, спасителем (для верующего в него человечества...). Так таинственна воля господня!!!—и крест—орудие позорной казни—стал знаменем и заветом спасения, вечного блаженства и жизни!

Новация (Novation) происходит от латинского слова novus и употребляется в разговоре вместо слов «обновление», «возобновление», хотя собственно оно значит новление или акт новления. Иногда новацию (обновление) употребляют вместо реформа (изменение), но этим отнюдь нельзя заменить революцию (преобразование) [1]); ибо понятие, представляемое словом новация—новление и подновление,—заключает в себе представление об изменении или преобразовании, произведенном в данном предмете с целью привести его в прежнее нормальное положение (см. это слово) и чрез то увеличить его прочность и срок его целесообразного существования. Действительно, в идее реформы также заключается представление об известном преобразовании, менее касающемся основных, существенных начал какого-либо общественного учреждения, нежели второстепенных, т.-е. о преобразовании форм, а не сущности.

Облигация. Это слово взято с латинского (obligatio) и вообще означает «обязательство», то-есть отношение двух лиц или сторон, основанное на разумной решимости и обоюдном согласии, в силу которого или одна сторона или обе стороны приобретают право взаимно (обоюдно) требовать исполнения или совершения чего-либо,—и действие, логически вытекающее или долженствующее вытекать из такого отношения, называется «обязанностью». Все обязанности такового происхождения следует собственно называть обязанностями гражданскими, ибо они могут иметь место только в обществе. Во всяком обязательстве важнейший момент его

---

1) См. эти статьи.

составляет степень разумно-сознательной решимости лица, обязывающегося к исполнению избранной им обязанности, и важность только уже второстепенную имеет пред глазами разума его внешняя форма, как удостоверяющая в действительности его бытия. Посему необязательным, недействительным, саморасторгнутым, нравственно-беззаконным должно признать, а иногда и в действительности признается всякого рода обязательство, данное без полного сознания его значения. Из такового обязательства, даже и по соблюдении всех внешних форм, установленных положительным законодательством для его укрепления, не возникает никакой обязанности действительной, ибо злой умысел стороны обязывающей относительно обязавшейся очевиден. При разрешении вопроса о рациональной (см. это слово) или нравственной годности известного обязательства и действительности или недействительности из него проистекающей обязанности отнюдь не должно упускать из виду степень нравственного насилия или психического принуждения (см. это слово) к самому обязательству, заключающегося в сочетании обстоятельств быта общественного (нравов, общепринятых понятий и убеждений религиозных или политических), властительски установивших нормы для деятельности человеческой, прежде нежели для обязующегося наступила пора разумного сознания.—Фикция (см. это слово) юридическая, а иногда и философская—безусловности свободы произвола в человеке—делает также часто обязательными на будущее время и даже на всю жизнь [1]) мгновенные, случайные и безотчетные решения человека, непривыкшего к сознательности, и умножает ими и без того великое число часто весьма тягостных и едва удобоисполняемых обязанностей гражданских, за неисполнение которых закон часто грозит тяжкими казнями, нередко несправедливыми. Вот почему обязанности или обязательства личные не могут переходить по наследству: в них каждый может отвечать только сам за себя или собою за другого. Вот почему (в этом случае следует дивиться мудрости отечественного законодательства!) не довольствуются одними актами, удостоверяющими действительность происхождения какого-либо лица, для предоставления ему прав подданства, но от всякого требуют присяги в подданстве государству, для удостоверения в том, что он в

---

1) См. статьи: моногамия и полигамия.

действительности признает хорошею, возможно-лучшею ту форму общежития, среди которой предполагает провести свою жизнь...

Овенизм. Так называется, от имени ее творца, Роберта Овена (Robert Owen, род. в 1772 г.), систма взаимного содействия и общей собственности (Système de la coopération mutuelle et de la communauté des biens), возникшая в Англии в первых годах XIX столетия и возбудившая на западе всеобщее внимание. Основная идея овенизма следующая: «Истинное назначение человека на земле есть жизнь, сообразная с законами его природы, т.-е. полное удовлетворение ее требований, выражающихся в потребностях, наклонностях и вкусах. Содействовать человеку в таковом удовлетворении потребностей значит содействовать ему в достижении счастия,—высшей, конечной цели всей его деятельности. Отсюда непосредственно выводится разумная необходимость уничтожить во всех видах его проявления зло, как начало, противоборствующее счастию человека.—«Зло и вред,—учит Овен,—могут причинять человеку самые явления природы; но по мере того как мысль человека подчиняет себе силы природы, раскрывающиеся в феноменах (см. это слово) земного шара, вредные для человека обнаружения оных постепенно должны умаляться, так что зло физическое потеряет всякую реальность со времени установления верховного преобладания человека над всем составом планеты: к такому результату, очевидно, ведет развитие науки и промышленности. Зло может также иметь своим источником действия других людей; но и в этом виде своего проявления оно должно по необходимости уничтожиться с удалением причин, побуждающих к таким деяниям».—Далее Овен старается следующим образом доказать, что последнее возможно. «Источник деяний, которые имеют своим следствием зло, должно,—говорит он,—искать не в мнимой испорченности человеческой природы: человек не совершает зла только для зла, но всегда с целью усвоить себе чрез это какое-либо известное благо. Почему справедливее искать причину его в обстоятельствах, под влиянием которых совершается самое развитие известного человека: присущность их нимало от него не зависит, а между тем они безусловно определяют образ и самый характер его деятельности. Только чрез рассмотрение их можно вполне себе объяснить умственное и физическое развитие человека, его характер, его пороки и добродетели. Они даже могут совершенно лишить

его сознания нравственного достоинства его деяний. В общежитии редкому удается избегнуть такого положения, в котором находясь он мог бы, без неприязненных столкновений с другими членами своего общества — следовательно, без противодействия и вражды—удовлетворить требованию первейших и справедливейших потребностей своей природы. Иному же те самые обстоятельства своенравно дают освященные в глазах общества и освящаемые общественным мнением права на действия, явно клонящиеся ко вреду его ближних».

Признав полную зависимость деятельности человеческой от обстоятельств, овенизм отвергает свободу человеческого произвола и всякую ответственность человека за причиняемое им зло, а принуждение и наказание признает средствами несправедливыми и недостаточными к искоренению зла в союзе общественном. Почему он должен был искать радикального излечения всех недугов общества в изменении формы его организации; ибо настоящая, по выражению Овена и его последователей, «заставляет быть членов общества во враждебном отношении между собою, потому что определение этих взаимных отношений вовсе не основывается на действительном знании требований человеческой природы, и что она не представляет каждому одинаковой возможности к полному и всестороннему удовлетворению его потребностей».—Овенизм приписывает эти явления влиянию: «1) различных предрассудков, предубеждений, поставляющих людей в зависимость один от другого, не вытекающую нимало из естественных законов его природы, или разъединяющих и вооружающих их друг против друга, или же предписывающих человеку, как непременную обязанность, неудовлетворение известных безусловных требований его природы и чрез то поставляющих его в тягостную борьбу с самим собою; 2) неравенства людей по состояниям или положению их в обществе,— откуда проистекает разделение их на касты, разъединенные различием интересов, из которых каждая смотрит на все прочие, как на орудие своего благосостояния, и за общее благо принимает свое частное; 3) исключительной частной собственности, которая, развиваясь исторически под влиянием начал наследства и фамильного эгоизма, сосредоточила в руках немногих плоды человеческой промышленности и право на счастие сделала монополиею

(см. это слово) нескольких людей во вред прочим».—«Соединенное действие этих начал—выводит далее овенизм—породило в обществе дух исключительности или индивидуальности (эгоизма) (см. эту статью), соперничества, который побуждает каждого из его членов искать свое счастие независимо от других и нередко созидать свое благосостояние на погибели другого. Отсюда проистекает беспрестанное противоречие между интересами различных членов одного и того же общества, вся их разъединяющая враждебность, насилие и обман, пороки и преступления».—«Счастие же человечества безусловно требует совершенного уничтожения в обществе этих принципов вражды. Для чего, уничтожив причину ее, необходимо заменить принцип вражды, который был доселе принципом быта общественного,—новым, миротворным и гармонизирующим: именно принципом взаимного содействия. Под влиянием последнего все индивидуальные стремления согласуются и направляются к единой цели: к увеличению общего счастия; но осуществление его в действительности (это есть главное начало овенизма) требует предварительного установления общего и притом равного участия всех членов общества в пользовании плодами умственной и промышленной человеческой деятельности».

Согласно с этими общими началами, овенизм представляет новую форму общественного устройства, основание которой есть ассоциация (см. эту статью в Приб. к Словарю), или добровольное соединение людей в отдельные общины.

Условиями ассоциации, по учению Овена, должны быть следующие:

1) Участие в ассоциации основывается единственно на убеждении. Каждый может от него отказаться и получить обратно внесенный им капитал, увеличенный частью, пропорциональною содействию, оказанному им в умножении общественного богатства.

2) Свободное выражение мыслей и мнений ничем не стесняется. В религиозных верованиях каждый руководится частными убеждениями.

3) Все работы добровольны. Различные меры должны быть приняты, дабы они могли соделаться привлекательными. Работы же, для благосостояния общества необходимые, но отвратительные, тягостные, или могущие быть вредными для

здоровья человеческого, производятся машинами. Каждый соучастник может избрать занятия по своим склонностям.

4) Во всяком промышленном производстве и во всяком нематериальном занятии члены общества должны взаимно друг другу содействовать. Это содействие может быть или механическое, или умственное; но во всяком случае оно должно быть добровольное,—возникшее или из убеждения в полезности предпринимаемого труда, или же из сознания того, что он доставит какое-либо наслаждение, удовольствие. При этом никогда не должна быть упущена из вида польза общественная, требующая отстранения от участия в подобном содействии лиц, действительно неспособных к оному.

5) Общую собственность составляют: орудия производства; сырые материалы, назначенные к употреблению для воспроизведения новых, и все то, что, нося название капитала, не предназначено к непосредственному потреблению.

6) Предметы, уничтожающиеся чрез потребление, хранятся в общественном магазине, и тогда только, когда берутся из него, обращаются в собственность потребителей. Предметы же, не тотчас уничтожающиеся, делаются частною собственностью только на время пользования ими (usus fructus).

7) Общество своими делами заведывает или само, непосредственно,—в общих собраниях его членов,—или чрез сменяемых поверенных, действия коих подлежат надзору и обсуждению. В этом отношении права и обязанности всех взрослых членов общества одинаковы; мнения лиц обоего пола равноценны, и женщины допускаются к должностям, их полу соответственным.

8) Несогласия и раздоры прекращаются полюбовно. Исключение из общества есть крайняя мера, допускаемая и признаваемая необходимою только в начале его существования.

9) Воспитание детей овенизм установляет общественное, нимало не устраняющее влияния родителей. Оно обнимает теоретическое и практическое изучение всех наук, искусств и ремесл, полезных в обществе.—Сироты пользуются совершенно одинаковыми правами с прочими детьми.

10) Для избежания беспорядка в занятиях, без утраты притом возможности открытия и применения способов производства, требующих совокупного действия многих лиц, в minimum определяется число участников в общине 500, а в maximum 2.000.

По этому плану основана была Овеном в 1800 году промышленная колония в деревне Нью-Ланарк (New-Lanarck) в Шотландии, и англичане вскоре назвали ее «картиною удобства, счастия, опрятности и довольства».— Позже возникли колонии: Ньюгармони (New-Harmony) в Пенсильвании и Орбейстон (Orbiston) близ Глазгова.

Ода. Род лирической поэзии, отличающийся возвышенностью и силою чувства. Величие созерцаемого предмета приводит поэта в восторг: порыв восторга составляет характер оды. Так как порыв мгновенен, то истинно-поэтическая ода бывает кратка и сжата. Истинно-поэтические оды редки, потому что редко великое.

На пути всякого развития необходимы крайности: мысль, пока она не обошла своего предмета со всех сторон, попеременно увлекается то той, то другой стороной; в этих-то уклонениях и состоит процесс развития. В первый период жизни неделимого общества или целого человечества,—чувство, несдержанное мыслию и усиленное фантазиею, царствует вполне. Весь мир, еще неузнанный, непостигнутый, следовательно, полный чудес—поражает воображение и сильно возбуждает чувство. Порыв взволнованного чувства изливается из души свободно, горячею струею. И все, каждый неделимый предмет, каждое отдельное явление в тот период может быть источником такого сердечного излияния, предметом первобытной, естественной оды.

Далее—пробуждается мышление: отдельные предметы и частные явления обобщаются, возводятся в отвлеченные понятия. Воображение, освещенное мыслию, поражается реже, ибо бесконечное множество предметов и явлений, сливаясь в понятия, так сказать, входят в определенные сферы. Естественно, что в дальнейшем ходе по этому пути мысль временно должна была увлечься в синтетическую крайность, впасть в так называемые «общие места». А между тем первый шаг ее деятельности отозвался везде, следовательно, и на произведениях слова: свободные создания воображения частных личностей возводятся в общие понятия, образуются роды словесных произведений и их теории. Но и здесь—тот же закон уклонения: создание мысли—теория, переходя в крайность, превращается в догматику, в неподвижные правила. Эти правила, отвлеченные от частных, случайных явлений, налагаются, как цепи, и на то, что не терпит никаких цепей: воображение, сила чувства, вдохновение—подводятся под мерку, ставятся на определенные, заранее назначенные

места. В истории развития слова это—период классический, период риторики, правильных, но редко поэтических произведений: ибо поэты, помня первые восторженные образцы, из которых извлечены их правила, считают долгом подражать им безусловно, восторгаются преднамеренно, по обязанности. То—пора громких од, од формальных, потому что в них главное дело—форма, а внутреннее содержание состоит из общих мест. Так как развитие словесности идет наравне с общечеловеческим развитием, то этот второй средний период литературы вполне соответствует и современен второму среднему периоду умственного развития человека, когда мысль, дойдя до общих начал и чувствуя невозможность итти далее, останавливается и временно успокоивается на них, на этих темных метафизических началах.

Но мысль, по существу своему, не может оставаться в покое. Она наконец отказывается от невозможного, спускается на землю и принимается за строгий разбор того, что ей доступно, что у ней, так сказать, под руками. Это—период разумно-положительный, период анализа. Перед силой анализа рушатся прежде установленные начала; авторитет, общие места, догматика—исчезают. Вера остается за тем, что разобрал и одобрил разум; восторг возбуждается тем, чем сознательно поражен разум. Недоступного уже нет для мысли: для нее осталось одно чудо—«начало всех начал»; но она от исследования его отказалась однажды навсегда; все же прочее ей доступно, доступно ее разбору. Как бы ни было материально громадно явление, разум отыщет его исходный пункт, разложит на составные начала,—и громада распадется. События, деяния человеческие тогда только поразят мысль и пробудят восторг, если в них лежит глубоко-разумное начало... Переходя к словесности, нельзя не заметить, что при таком положении вещей любимым миром для воображения поэта должен стать внутренний мир человека: не факты должны вдохновлять его, а их источник. Само собою разумеется, что в этом мире нет места фразам без содержания, нет места восторгам без сознания, нет места исполинским подвигам без глубоко-разумного начала и, следовательно, нет места торжественным одам на победы, переходы и многоценные празднества!.. Вот причина, почему в наш век так глубоко упала ода и на ее месте водворились те роды поэзии, которые соответствуют потребностям современного гения — анализу внутреннего человека.

Мы, русские, только полвеком отделены от того периода нашей литературы, который по всей справедливости называется классическим, когда теория словесности была настоящим уложением, неизменным догматом, а словесность, в свою очередь, выражала современный дух общества. Оживленная Русь пытала свои силы, «геройствовала»..., и поэзия ее звучала военной трубой; Русь, быстро озаренная ярким светом с Запада, потянулась к этому свету всеми силами, сначала бессознательно—и словесность ее поставила выше всего готовые образцы, безусловно подчинилась им, и вдохновения свои заключила в строгие законы «приличия». Остатки старинного, широкого барского житья слились с европейской утонченностью, и из этой смеси, под влиянием тогдашнего блестящего царствования, образовалась эпоха великолепных пиров и праздников—и поэзия славила жирные обеды и тех, кто давал их, и наивно любовалась разноцветными огнями фейерверков и иллюминаций... Все эти черты тогдашней поэзии, выразившейся—как и следовало, в форме оды, имеют у нас могучего представителя. Гений Державина только временем и ненадолго вырывался из-под тяжелого гнета современных понятий и обстоятельств жизни; большинство же его произведений, несмотря на проблески огромного таланта, подавлено классической формой, напряженным парением. Оды его обыкновенно длинны и потому не выдержаны. В них только пробивается пламенная струя истинной поэзии и часто тонет в обильном разливе риторики. Примеры противного, т.-е. с начала до конца выдержанной оды, у Державина крайне редки. Таково, например, знаменитое, грозное стихотворение: «Властителям и судиям» [1]); оно кратко, и потому все одушевлено и все проникнуто высоко-поэтической, благородной мыслию...

Современную славу Державина составили преимущественно его оды: «Бог», «Фелица», «Водопад», «На взятие Варшавы». В особенности запечатлены могучим талантом оды: «На тщету земной славы», «Слава», «Предвестие», «На смерть князя Мещерского», «Вельможа» (местами), «На возвращение гр. Зубова из Персии», «На победы в Италии».

Но есть у Державина, например, оды: «На панихиду Людовика XVI», «На выступление корпуса гвардии в поход», «На возвращение полков гвар-

---

[1]) В издании сочинений Державина 1845 г., 8⁰, стр. 10.

дии», «На парение орла», «Шествие по Волхову Российской Амфитриды», «Гимн лиро-эпический» и проч. Читая эти оды, бесконечно длинные, невольно спросишь: неужели своенравный гений поэзии мог покориться такому тяжелому, почти физическому труду?.. Но, чтобы отказаться от подобного вопроса, довольно прочесть его «Послание к Храповицкому» [1]), эту искреннюю исповедь души, благородной и преисполненной справедливого негодования на существующий порядок общественный...

Новый век—и новые явления... У нас оду заменила элегия (см. эту статью)—отголосок сознательного воззрения на жизнь и современный мир. Пушкин и Лермонтов—представители этой возрожденной поэзии. В других литературах, например, во Франции, на месте оды развилась, согласно с обстоятельствами, политическая песня. Французы может быть ни к одному из своих писателей не чувствуют такой симпатии, как к Беранже. У них значение Беранже важно: это не простой народный весельчак; несмотря на легкую, шутливую форму, поэзия его имеет глубокий смысл, и он правду сказал:

« . . . . en mon livre
Dieu brille à travers ma gaieté,
Je crois qu'il nous regarde vivre,
Qu'il a béni ma pauvreté,
Sous les verroux, sa voix m'inspire
Un appel à son tribunal.
Des grands du monde elle m'enseigne à rire»... [2]).

Одалиска. ...Странное положение невольниц гарема, противуестественные отношения их к внешнему миру—образуют из них не менее странные существа: вся жизнь их приведена к одной исключительной цели, и цель эта—общая всему животному царству, а потому трудно несчастным женщинам не утратить человеческого характера. А если и не вдруг глохнут в них душевные потребности, то эти же самые потребности, вечно насилуемые и неудовлетворенные, развивают такие стороны страстей, которые вовсе не гармонируют с теми образами, в которые облекает иногда этих таинственных красавиц воображение азиатских и иных европейских поэтов,

---

[1]) В издании сочинений Державина 1845 г., 8°, стр. 128.

[2]) Перевод: «Бог сияет сквозь веселость моей книги; я верю, что он видит нашу жизнь, что он благословил мою нищету. Послушный ее голосу, из тюрьмы взываю я к его суду; она учит меня смеяться над великими сего мира». *Ред.*

еще не сознавших, что человечественность в женщине возможна только при ее эманципации или сравнении прав обоих полов согласно учению христианства и евангелия.

Опиум. ...Вопрос о торговле опиумом будет вечно пятном позора для Англии в летописях истории человечества.—Не чудесно ли, не поразительно ли, не отвратительно ли в тот век, когда суд здравого смысла и положительного народного права воспрещает всякое притязание одного народа или государства на независимость и самостоятельность другого,—видеть народ образованный и просвещенный, стоящий выше другого на лестнице умственного развития, требующий с оружием в руках от иноземного правительства право на безвозбранную отраву и измождение целого народа!.. Ужасно видеть проливаемую кровь собратий или сограждан для доставления другим возможности пользоваться монополически постыдной регалией (см. это слово) разврата!.. После этого недостает только, для полноты оскорбления всякого нравственного и человечественного чувства, введения в конституцию (в государственное уложение) поощрительной премии безнравственности, продажи с аукциона патентов (в pendant индульгенциям) на распутство и безнаказанное совершение преступлений, или отдачи городов или целых провинций на откуп для совершенного развращения!..

Оппозиция. Выражение «оппозиция» употребляется вообще для обозначения противоречия, противуположности, противудействия, но преимущественно оно употребляется в языке политическом и административном, как выражение техническое, для означения той противуположности, того отношения, в котором иногда находится мнение общественное, а часто и того благотворного и полезного воздействия, которое оно производит на решения и образ деятельности лиц, призванных к отправлению правительственных должностей в тех странах, где в развитии жизни общественной было наименее отклонения от общих законов нормального развития природы человеческой (см. статьи: *норма*, *нормальное состояние*), где формы представительного правления делают более или менее действительным участие целого народа как в законодательстве, так и в администрации, и личную безопасность гражданина не мифической.—В собственном смысле разумеют под оппозицией всех членов парламента, законодательного собрания или административного учреждения, не согласных в своих мнениях с мнением боль-

шинства. Также под оппозицией (в странах, где введены формы представительного правления) разумеется независимый образ мыслей членов парламента, тот, который заставляет их следить шаг за шагом за действиями правительства, противиться всему тому, что может быть им предпринято вредного. Оппозиция столь же древна, как и конституция, как признание власти закона, а не произвола, чуждого началам регулятивным в обществе для всех отношений, и ей, т.-е. оппозиции, упрочиваемой полной свободою выражения мыслей (par la liberté de la presse), принадлежит в странах, где господствуют формы правления представительного, на деле охрана законной свободы граждан от властительского произвола.—Оппозиция, хорошо организованная, составляет существенный элемент всякого благоустроенного правления; восставая противу всякого рода как правительственных, так и административных злоупотреблений, она содействует к прочности политического организма, поддерживая в нем элемент жизни и движения.—Парламентская борьба, происходящая от разногласия (несолидарности) интересов, служит к развитию таланта ораторского и к постижению общих государственных интересов, является надежнейшим средством к практическому научению правительственной мудрости и разоблачает пред судом сограждан все требования, все немощи и болезни организма общественного, предохраняет разум общественный (esprit publique) от апатического застоя и захирения,—и исправляя направление деятельности административной, она таким образом охраняет права разумности от вторжений грубого произвола, насилия, случайности, устраняет пагубный рутинизм и старообрядство из администрации.

Состав оппозиции всегда бывает разнороден: она делится на множество отдельных партий, руководящихся различными, а нередко диаметрально-противуположными началами. Для обозначения таких различий к слову оппозиция прибавляют эпитеты объяснительные, как, например, фактическая, роялистская и систематическая.

Фактическую оппозицию (opposition de faits) составляют те члены парламента, которые, признав официально общие или коренные начала государственных учреждений вполне справедливыми, разногласят с мнением большинства относительно разрешения вопросов второстепенных и, не обвиняя эти коренные начала в неверности, осуждают правительство только за неправильность практического их при-

менения. Такого рода была в английском парламенте оппозиция вигов; но со времени эманципации (см. это слово) католиков и допущения ирландцев к избранию в члены парламента, рядом с оппозицией противу неблагоразумных мер правительства, т.-е. с фактической (de faits), образовалась оппозиция радикальная (opposition de principes), признающая не те административные начала, которые считаются большинством палаты годными к устроению порядка общественного и к руководствованию правительственной деятельности, а иные... Некоторые из членов радикальной оппозиции (в Англии), далее других пошедшие на пути логического развития их начал, обнаруживают стремления, некогда приводившие в движение партию Мильтона[1] (см. статьи: океания, индепенденты, левеллеры, нивеллеры, коммунизм). Во Франции этот отдел оппозиции составляют многие добросовестные и благонамеренные люди, убежденные опытом в недостаточности учений республиканских от неполноты их развития, гибельности для общественного развития военного деспотизма времен империи и в несовершенстве, как формулы для организации общественной (см. статьи: организация, реорганизация общества, формула), конституционной монархии, и потому требующие полной реорганизации общества (см. статью радикальная оппозиция).

Употребление названия роялистская оппозиция принадлежит преимущественно Франции. Под этим наименованием разумеют там членов обеих палат, оставшихся приверженными Бурбонам, считающих Людовика-Филиппа узурпатором (см. это слово) и непризнающих законность его правления, ибо ему недостает санкции, законности (légitimité) (см. легитимистская оппозиция в Приб. к Словарю и статью санкция). Эта часть оппозиции имеет также множество оттенков. В журналистике представитель благороднейшего оттенка этой партии—Abbé de Genoude, издатель «Gazette de France»,—homme du droit commun (человеческого права), как он сам себя называет.

Еще случается встречать в сочинениях политических название случайная оппозиция (opposition de circonstance). Под этим наименованием разумеют тех членов палат министерской партии или большинства, которые обыкновенно подают свой голос в пользу его решений, но иногда, при

---

[1] Знаменитого поэта, творца «Потерянного Рая».

решении отдельных важных или неважных вопросов, подают свой голос в пользу мнения оппозиции.—Довольно яркий и замечательный пример таковой частной, временной или случайной оппозиции мы встречаем после июльской революции при прениях об уничтожении наследственности перства, где большая часть министерских приверженцев перешла на сторону оппозиции и решила уничтожить наследственность перства.

Иногда также говорят об оппозиции частной, индивидуальной, личной. Эта оппозиция, не взирая на ее скромное название, играет довольно важную роль среди парламентских прений. Эти оппозиции образуют всякого рода политические пройдохи и шарлатаны, например, Тьер, не придерживающиеся никаких определенных политических начал и считающие правительственную власть законным достоянием их парламентской ловкости. Независимый образ мыслей таковых людей продолжается до занятия ими значительного выгодного положения в административной машине, или до получения министерского портфеля (см. статью портфель), смотря по степени их талантливости и честолюбия.

Отличительную черту систематической оппозиции составляет безусловное сопротивление мерам министерства и осуждение их для его ниспровержения. Некоторые писатели, а в том числе и Бентам, не одобряют систематическую оппозицию (opposition quand même), утверждая, что она противоречит с самыми простыми и безъискусственными понятиями о доброй нравственности. «Неестественно,—говорит он,—чтоб кто-либо говорил противу собственного своего убеждения и бесчестно осуждал общеполезную меру из ненависти к своим врагам—ее предложителям, и, находя ее худой, поддерживал ее потому только, что она предложена друзьями или единомышленниками».—Другие же вопрос о справедливости систематической оппозиции разрешают следующим образом: всякая оппозиция, для того чтоб быть действительной, должна опираться на известные общие начала, иметь доктрину (см. статьи: доктрина, партия, принцип), которые принимая за путеводные, она должна в духе их уметь разрешать все многосложные вопросы, представляемые жизнью общественной и политической.—Такая оппозиция, будучи убеждена в истинности своих начал, заметив гибельное влияние на благосостояние общественное тех людей, в руках которых находится правительственная власть, должна всеми силами стараться об отнятии у них оной, если

силы ее к тому дают ей возможность, и в этом случае, противясь их мерам, даже полезным, она поступит благоразумно и справедливо. Если же она слаба, то священной обязанностью ее будет поддерживать все общеполезные меры, из какого бы источника они ни проистекали. Так, она должна безусловно принять всякую меру министерства, содействующую к прочнейшему установлению средств охраны личной безопасности и гражданской свободы, как, например, обобщение права избрания, улучшение форм судопроизводства, введение открытого судопроизводства — этого единственного благонадежного охранительного установления противу несправедливости судейских решений, полную замену им инквизиционного или безгласного (см. статью процесс инквизиционный), уничтожение финансовых мер, стесняющих свободу книгопечатания и развития духа публичности и ассоциации (см. эту статью).

Некоторым лицам самое наименование оппозиция кажется чем-то странным, диким, предосудительным, едва не синонимом слова—преступный, тогда как она есть явление, необходимое при всякой форме быта общественного, ибо она есть ни что иное сама в себе, как обнаружение в мире нравственном общего закона противудействия сил, под условием воздействия или взаимодействия которых совершается развитие всех форм бытия в природе. Мы не можем указать на земле ни на одно человеческое общество, в котором элементы жизни общественной не находились бы между собой в дисгармонии и которое бы не представляло собою картину хаотического состояния мироздания, в которой все было бы делом божественной любви и святого общения, а не борьбы и вражды всего противу всего и всех. Отсутствие солидарности (см. эту статью) интересов—причина такой ненормальности.—Анализируя постепенное развитие жизни общественной и общительности (sociabilité), мы находим постоянную замену одних интересов другими, появление новых требований рядом с небывалыми до сего способами их удовлетворения. Цель этой борьбы, этого движения — все та же: развитие, прогресс (см. эту статью), но характер и свойство употребляемых средств для достижения этой цели изменяются по мере улучшения быта общественного и исправления в духе безусловной, а не кастической справедливости установлений общественных. Прежде оппозиция—при неразвитии общественности (социальности)

и публичности (см. эти статьи)—проявлялась у многих народов, кроваво и не без некоторого величия, ибо для иных без потоков крови нет величия и величества (du sublime); впоследствии, при развитии у них свободы выражения мыслей и права общничества (le droit d'association) и установлений, обеспечивающих от насилия личной свободы человека, как гражданина, при развитии установлений вроде суда присяжных—жюри (см. Приб. к Словарю или статью жюри), публичности судопроизводства (см. эту статью),—оппозиция стала являться более правильной и мирной и послужила залогом преобладания разумности над силой животненной и грубой и торжества разумного самозакония.—И там, где и за что прежде противники нещадно умерщвляли друг друга, теперь они там и о том, т.-е. в странах просвещенных и образованных, хладнокровно и мирно рассуждают.—Если еще поныне в обществах, подобных Турции, Персии, особенно древней по своему деспотизму, для меньщинства, т.-е. для людей бесправых de jure или de facto (см. слово de facto) так трудно и невозможно мирными путями сохранение человеческих прав, то, напротив того, в странах образованных, где обнародованы собрания положительных законов (для воздания всем равной и безъискусственной справедливости), где поэтому, как, например, в Европе (и в нашем дорогом отечестве), относительно выражения всякого рода новых и человеческих идей—даже несогласных с мнением большинства, но, без сомнения, не разрушающих общих постановлений, признанных однажды навеки справедливыми,—соблюдается полная и мудрая терпимость (см. том XV Св. Зак. Угол. от ст. 195—205 и др.)... одним словом, в странах истинно-просвещенных и образованных новые интересы без мер насильственных снимают тяжелый покров идей обветшалых и предубеждений с разумения общественного и приобретают право гражданства в экономии быта общественного.—Здесь разумению и разумности присвояется право безусловной или свободной деятельности; ибо нет в европейских законодательствах (равно как и в нашем отечественном) закона, положительно воспрещающего какой-либо известный род мнений или воззрений как на природу, так и на жизнь и общество (см. Св. Угол. Зак. I книгу). Высокое преимущество новейших обществ состоит в том, что в них, чрез признание оппозиции законной для развития человечества, для торжества истины, разума не нужно того, что бывало некогда, например, в древнем Риме, где идеи хри-

стианства, этого высокого учения всеобщей любви, получили свое господство только чрез кровопролитие!.. Нашим законодательством (превосходящим своим благодушием, кротостью и простотою европейские законодательства) узаконяется оппозиция даже противу высших присутственных и правительственных мест, например, Сената (см. Св. Зак, изд. 1842 г.) (см. статьи: сенат и прокурор).

Всякая оппозиция, каково бы ее направление ни было, в наш век положительного рассудка, так как неблагонадежно действие на одно чувство ненависти или мщения и расчет на увлечение одною личностью других, должна, чтоб быть действительной, основываться на определенных, хорошо выработанных началах, и опираться или на общечеловеческие интересы, или интересы целого общества, или, по крайней мере, интересы сословия, ведать цель своих стремлений и знать верно наилучшие способы их осуществления,—одним словом, быть в духе времени; иначе она будет безуспешна и даже смешна безотчетностью своих порывов (см. статьи: рациональная оппозиция, политика и тактика оппозиционная; также: палата, парламент).

Оптимизм (см. статью пессимизм). Оптимизмом обыкновенно называют философское учение, утверждающее, что, не взирая на несовершенства, замечаемые в отдельных частях мироздания, оно в целости вполне совершенно, и что все, что в мире ни совершается, все совершается к лучшему, и что все другим быть не могло, как тем, чем оно есть. Многие приписывают это учение Плотину и стоикам (см. статью стоик). Собственно же слово «оптимизм» употребляется для означения учения Лейбница, выраженного им в «Теодицее»: «Опыт соглашения учения о предведении и мудрости божией с свободою человеческого произвола и с явлением в мире зла». Это учение в истории развития человечества имеет преимущественно значение, как весьма неудачная попытка защиты деизма противу сокрушительных нападений атеизма практического, внушаемого самой действительной жизнью и неудобосогласимостью с идеей о божественной благости и премудрости многих явлений, как бы нарочно брошенных током мировой жизни пред очи разумения человеческого для вечного пытания твердости и верности разного рода верований, предубеждений..., преемственно полученных им от предшествовавших поколений и беспрестанно влекущих мысль его в круговорот плодотворных сомнений... Так, например, атеизм (см. эту статью), т.-е.

учение, отвергающее бытие божества и действительность премудрости всемогущего промысла, опирается на факты, по его мнению прямо ему противоречащие, подобные смерти детей в утробе матери, смерти всякого человека вообще до времени полного органического и умственного его развития, и одним словом—гибель всякого существа, недостигшего нормальности развития, т.-е. не выполнившего своего назначения, как представляющая непроизводительную или менее, нежели следовало, производительную трату живых сил природы, не оправдываемую никакими видами практической пользы или наставления. Эти факты, равно как другие, сему подобные, постоянно остаются доселе камнем преткновения и соблазна для мыслителей, пытавшихся согласить зло с вечной благостью, творческое предведение с свободою человеческого произвола... (см. статьи: т е о л о г и я, т е о з о ф и я).

Оптимизм, как одна из внешних форм обнаружения учения деизма, заслуживает внимания еще тем, что показала нетвердость начал даже богопознания рационального (т.-е. рассудочного) и невозможность всякого богопочитания без безусловного признания положительных откровений!.. Так глубоко и всеобъемлюще значение веры!.. Без веры несть спасения!

Оракул. Так у древних называлось или божество, предрекавшее будущее, или то место, где находилось прорицалище.

При первом воззрении на мир человек во всем видит сверхъестественное: природа является божеством, или, лучше, всякий предмет представляется жилищем божества; всякое явление природы—непосредственным действием божества. Эти обоготворенные предметы, эти ф е т и ш и (см. статью ф е т и ш и з м) окружают человека отвсюду; он сталкивается с ними на каждом шагу...

Отсюда прямо вытекает вера в предвещания: все бесконечно-разнообразные народные приметы, от крика ворона до явления кометы (см. в Приб. к Словарю статью а у с п и ц и и), имеют источником это первобытное воззрение.

Но, вместе с успехами человека в деле естествознания, таинственная завеса, скрывавшая причины явлений, мало-помалу спадает с очей его, неразгаданное становится понятным, чудо признается простым, натуральным фактом, одним из проявлений жизни природы; в нем ищут уже не откровения божества, не предтечу труса, потопа и нашествия иноплеменных, а стараются узнать, удобоприменяем ли он к практической жизни человека и какое значение может иметь

в сфере его деятельности; а идея о божестве считается понятием условным... [1]).

Чем менее масса сведений человека о природе, тем в более тесной зависимости от нее он находится, тем более подчинен он влиянию могучих перемен, в ней происходящих, тем безусловнее его вера в «чудесное», не вытекающее из общего хода явлений природы, ибо все недоступное младенческому уму его он бессознательно относит за пределы видимой природы и живописует себе божество, сообразно с обстоятельствами, то мрачным, карающим, губящим, то радостным, милосердным, благим... В том и другом случае он старается приобрести благоволение божеств своих: жертвы, моления, песнопения, сооружение храмины, для его особенного, «тайного» присутствия—все клонится к тому, чтобы задобрить небесную аутократию и испросить ее посредничества в житейских превратностях..., вымолить рождение сына и даже нескончаемое потомство, прощение за убийство ближнего, месть врагу, усмирение разгневанной стихии (бури, землетрясения), снятие с народа тяжкой кары — голода, язвы и т. п...

Но всякое явление природы имеет узаконенную продолжительность, свое начало и свой конец; закон мировой необходимости очевиден. Поэтому во все времена человечеству оставалось только бороться с враждебными (т.-е. в известный момент проявляющимися таковыми) явлениями природы, приискивать разумные средства для противодействия им и предупреждения их. Поэтому всего важнее для человека знать предопределенный ход, процесс явления, ему угрожающего, одним словом, знать критический момент жизни (о котором можно заключать только по данным, взятым из прошедшего); короче, ему желательно узнать грядущую судьбу свою, «попытать будущее»...

При настоящем состоянии науки подобная задача нередко может быть решена удовлетворительным образом [2]). Притом

---

[1]) Его вводят только в крайних случаях, для разрешения непосредственно неразрешимых вопросов, что обще всем религиям...

[2]) Астрономические и метеорологические наблюдения с большей или меньшей точностью определяют изменения атмосферы, небесные явления, урожаи и т. п. Теория вероятностей с каждым днем более и более находит применений к самым разнородным явлениям жизни; наконец, самое наглядное изучение природы дает человеку возможность угадывать предстоящие перемены. Так, матросы на корабле, без всяких теоретических знаний, по навыку и разным приметам, предсказывают бурю, попутный ветер, безвет-

та же наука показывает нам и пределы, за которые не может проникнуть пытливое око нынешнего человека, исчисляет вопросы, которые мы должны завещать счастливому потомству, которому суждено дознать и решить многое, чего не успело для него сделать настоящее поколение...

Но что могли сделать в этом отношении люди первобытных обществ, когда наука была в младенчестве? Из каких данных черпать знания о необходимом последующем, или, как они говорили, узнавать волю божию?..

Не зная свойств и причин явлений, они толковали их по своему... Единичный факт, неподвергнутый разбору, становился роковой приметой: случалось ли, например, какое-нибудь несчастие в полнолуние, с тех пор полнолуние почиталось эпохою бедственною, фатальною... Дикий корень исцелял больного от недуга, и растение становилось предметом всеобщего почитания и чуть ли не средством от всевозможных болезней... Удачная битва и победа над врагами доставляла предводителю место в иерархии богов, святых, и имя его переходило из рода в род и мало-помалу делалось нарицательным, для означения идеала геройской доблести или военной хитрости.

Очевидно и в этот период жизни человечества люди, более других знакомые с природою и обладавшие различными полезными в общежитии сведениями, получали чрезвычайный вес среди своих собратьев и мало-помалу становились в глазах их отделенными от общечеловеческой судьбы, могущественными... К ним обращается простолюдин, темный человек, с вопросами, для него неудоборазрешимыми, в их руки переходила и власть общественная... и переходила на основании более или менее справедливом, ибо если может существовать на земле властительство справедливое, законное и благое, то, конечно, только тогда, когда оно представлено благодетелями человечества, которые превосходством ума, таланта и знаний стяжали себе всеобщее доверие и удивление.

Поэтому-то все великие люди древности — цари, полководцы, законодатели—были в то же время жрецами.—Влияние и власть великих людей основывается на той прямой пользе, которую они приносят обществу... но, по мере того

рие и т. п. Многолетняя практика врача дает ему возможность с уверенностью определить приблизительно долголетие жизни, близость смерти или выздоровление его пациента.

как власть переходит от гениального или, по крайней мере, талантливого и добродетельного человека к лицам ничтожным, неспособным и сомнительной добродетели... для поддержания власти и народного доверия, за недочетом истинных заслуг и полезных открытий, появляется надобность в таинственности, которою последние всеми силами стараются облечь свой сан и свою особу. Они внушают мысль, что не все люди равны пред богом, как то возвестило христианство, не все могут сообщаться с ним, а только «некоторые»...; учение великих их предшественников подвергается перетолкованию: простой, отнюдь не символический оборот речи получает смысл пророческий; теология обращена в какой-то набор неудобосогласимых сказаний, которые, помощью всевозможных комментариев, принимают за нравственные начала, которые в сущности можно почерпать только из действительной жизни, а не из мифа...

Ясно, что главную причину подобных уловок должно искать в невежестве первенствующего класса людей в обществе и сознании их нравственного малосилия, ибо истинно-великие деятели общественные никогда не стараются придать себе величия и силы искусственным способом: личные достоинства и подвиги и благосостояние сограждан—вот лучи их ореола; не нужно им ни мрачного храма, ни раззолоченного престола, ни черной книги, ни чудотворных ладунок... Их проповедь спешно разливается в народе, их воля несокрушима и в стане и на площади, их учение просто и доступно разумению каждого, как основанное на радикальном изучении природы человека, а не на насилии и злостном обскурантизме.

Но большинство остается на стороне посредственности... и поэтому неудивительно явление оракулов, прорицающих будущее устами священнослужителя или жреца-шарлатана, чудодействующего пред лицом невежественного народа...

Первые оракулы, о которых упоминается в истории, были в Египте; из них замечательнейший—Юпитера Аммона (см. статью Юпитер); отсюда они перешли в Грецию, где особенно были славны оракулы: Дельфийский (см. статью Апполон и пифия), Додонский (см. статью Юпитер), Эпидаврский (см. статью Эскулап) и мн. др.—От греков вера в прорицалища привилась и к римлянам, которые во времена императоров нередко обращались к Дельфийской пифии и др. прорицалищам; впрочем, у них и до того существовали гадания, как то доказывает существование авгуров,

сибиллиных книг и т. д. (см. эти статьи, а также в Приб. к Словарю статью ауспиции).

Влияние оракулов на народ долго было непоколебимо; но, как и все, основывающееся на одной бессознательной вере, должно было пасть с первым пробуждением самосознания. Начало этого самосознания осуществилось в лице Сократа: он первый бросил легкую иронию на нелепую веру в прорицалища, внутренний голос сознания назвал своим оракулом и погиб, как реформатор, жертвою своей проповеди.

Учение Христово, в первобытной чистоте своей, нанесло сильный удар всем возможным пифиям и прорицателям, изобличило их хищничество, коварство и деспотизм, и, в противуположность тому, являя пример бескорыстия, братолюбия, имея основным догматом милосердие, а целью—водворение свободы и уничтожение частной собственности, с каждым днем привлекало себе новых сподвижников... Как ни прекрасно начало сего учения, но оно еще не получило нормального развития...

Оранжисты. Прозвание, данное в презрительном смысле ирландскими католиками врагам их—туземным протестантам, во время религиозных споров и гонений в конце XVII столетия. Это одно из тех слов, которыми народная ненависть клеймит своих притеснителей...

Вся история Ирландии, от начала ее политического существования почти до наших времен, крайне неутешительна. Во время всеобщего движения народов она некоторое время оставалась неприкосновенною; первые посетили ее датчане; но скоро (во второй половине XII столетия) их сменили другие, более настойчивые завоеватели: с соседнего острова пришли англо-норманны—и это роковое вторжение было началом трехвекового периода кровавой борьбы, борьбы физических сил, движимых, с одной стороны, чудовищным стремлением поработить, с другой—отстоять единственное народное достояние—независимость. Наконец, незаконная сила восторжествовала: Англия достигла своей цели—покорила Ирландию. К несчастью, это случилось только тогда, когда Европа уже пережила первый фазис своего развития, когда в ней кипела свежая великая новость--реформация. Здесь нужно заметить известный физический закон: если на пути какого-либо движения явится преграда, то, чем долее будет держаться этот оплот, тем более прильет к нему сил и тем страшнее будет пролом. Чем долее тянулся гнетущий мрак средних веков, чем глубже подавляли мысль, тем порыв ее был стреми-

тельнее. При этом отчаянном порыве могли ли быть соблюдены границы?!—И если мы видим, с одной стороны, что последние усилия умирающего изуверства, столкнувшись с каверзами отвратительной политики, проявились в Варфоломеевской ночи [1]) и тому подобных возмутительных фактах, то, с другой стороны, энтузиазм исповедников новой веры нередко переходил в фанатизм: поборники новой идеи неистово мстили за минувшее гонение; к тому же, политические цели и здесь не замедлили привить свой нечистый элемент к делу религии, и с этой недостойной примесью жаркая борьба идей образовала что-то уродливое, неблагородное... И всего возмутительнее то, что вся беда падала на тех, кто менее был виноват!.. То же случилось и с Ирландией: она еще не успела отдохнуть от ужасов завоевания, как новообращенная Англия внесла в нее новые ужасы, едва ли не поразительнее прежних. Англия приняла протестантизм; ирландцы, измученные неравной борьбой, не успевшие достаточно развиться под гнетом притеснений, чуждые умственных движений Европы, смиренно оставались католиками. Римский двор основывал на них некоторые надежды; Англия поняла это; ей представилась возможность отторжения; она сосчитала и могущие произойти от того убытки, решилась сделать ирландцев своими единоверцами и... встретила сильное сопротивление.—Отчего?— Оттого, что она была смертельным врагом ирландцев, их деспотом, похитителем их свободы; оттого, что на ней лежала кровь ирландцев..., наконец, оттого, что вера, какова бы она ни была, все же служила родовым достоянием народу, одною из нравственных опор в борьбе его за независимость. В новом покушении Англии ирландцы видели новое хищение и обрекли себя снова на страдания. Благочестивые гонения, воздвигнутые Англиею на свою угнетенную соседку, были действительно страшнее прежних, ибо они имели вид благонамеренности, вид законности. Орудия этих угнетений состояли уже не в убийствах, которые, как известно, противны правилам христианской религии, а в грабеже: лишение земель, конфискация имений и прочие невинные меры были употреблены для благородной цели обращения ирландцев к новой вере. Конфискованные имения поступали в королевскую казну;

---

[1]) См. Cabet, «Prècis de l'histoire des français», p. 109—114, в I томе его сочинения: «Histoire populaire de la Révolution française».

на отнятые у ирландцев-католиков земли поселялись колонии английских и шотландских протестантов, образовавших таким образом новый элемент ирландского народонаселения, враждебный коренному туземному. Эти благородные подвиги английского правительства продолжались во времена Генриха VIII, Елисаветы и ее наследников, Кромвеля и первых Стюартов до Иакова II, который вдруг изменил политику и явился покровителем католиков. Он стал возвращать им утраченные права и отнятые имущества; но эта попытка, противная английской аристократии, стоила ему престола. Свергнутый, он убежал в Ирландию, и католики взяли его под свое покровительство, за что объявлены были бунтовщиками. Протестантские колонисты с своей стороны объявили себя приверженцами нового правительства и подданными его представителя — Вильгельма Оранского, вследствие чего католики и назвали их оранжистами; и слово это укоренилось в народе, обратилось в прозвище презрительное, ненавистное для ирландцев-католиков, ибо в дальнейшем ходе дел оранжисты служили достойным, презренным орудием английского правительства, целью которого сделалось другое утонченное гонение несчастных ирландцев: вопрос получил характер юридический; дело шло о стеснении прав, о подчинении ирландского парламента английскому. Здесь-то оранжисты принимают на себя роль отчасти вероломную, отчасти подлую; имея преимущественное право заседания в парламенте, они, жители Ирландии, поддерживали меры правительства, направленные против ирландцев, за то, что правительство предоставляло им выгоды на счет их католических одноземцев.

И странно покажется, если сказать, что ирландские католики терпели разные юридические оскорбления до 1829 года...; что почти до наших времен Англия не переставала разграничивать своих подданных по вероисповеданиям, терпела неравенство их прав и, несмотря на общее направление европейской цивилизации, давно задавшей себе общественные вопросы, из глубины человеческой природы вытекающие,— она, просвещенная держава, водимая духом аристократии, проникнутой холодным эгоизмом, так долго не могла дойти даже до полной веротерпимости, без которой, кажется, мудрено и думать о прогрессе, об усовершенствовании, в таком смысле, как понимают его теперь...

Ныне Ирландия отдохнула, окрепла; ...но родовая ненависть к Англии, необходимое следствие народных оскорбле-

ний, не погасла, и, без сомнения, отношения двух обществ—оскорбившего и оскорбленного—не останутся в своих настоящих пределах!!.

Оратор (от латинского os, oris—рот). Этимология этого слова указывает на самое его значение (см. статьи: фигура риторическая, фигура и т. п.). Первые ораторы были просто говоруны, болтуны, и только впоследствии, при развитии общества, когда влияние грубой животной силы, насилия, стало уменьшаться, права разумности стали уважаемы..., слово, как орудие, как средство для выражения мысли, т.-е. разумности, получило должное значение в обществе. В том только может быть развитым дар слова, чья жизнь полнее, богаче и разнообразнее, т.-е. в ком происходит более явлений. Слово есть ни что иное, как средство, как орудие для внешнего выражения или осязательного обнаружения таковых внутренних явлений природы человеческой. Знак может быть только для чего-нибудь; в природе, среди мировой жизни нет отрицания, но только есть постоянное утверждение и положительность. Знака для «ничего» не может быть ни в природе, ни в мысли человека. Слово, как знак, может означать только то, что вошло в сферу внутренней жизни человека, и поэтому, разумеется, чем больше понято, чем больше перечувствовано, чем больше узнано и познано, тем значительнее будет запас для словесного обнаружения. Тот только может говорить, у кого есть что выразить, есть что сказать. Молчание, если оно только не происходит из особенной, даже иногда весьма похвальной при настоящей организации общества осторожности или боязни, чтоб речь не была иногда превратно понята или перетолкована во вред говорящему людьми официально неблагонамеренными (см. слово шпион), в большей части случаев бывает прямым следствием и указанием неполноты умственного развития и недостатка отчетливо сознанных воззрений на те предметы, о которых идет речь в присутствии человека молчаливого или молчащего. Самолюбие человеческое, хитрое на выдумки для прикрытия своих недостатков, умело остроумно распорядиться и с молчаливостью: молчание, этот признак неразвитости (die Unmündlichkeit), поставило в число похвальных свойств человека и даже включило в число атрибутов добродетели, под именем скромности, и пустило его в ход, как могущественное средство к изучению самой мудрости (см. статью пифагореизм), и советовало его считать признаком ума и даже мудрости!.. В этом случае

здравый смысл первобытного человека может служить для подтверждения справедливости нашего мнения, смысл, который не бессловесности и животной молчаливости, но живому человеческому слову вручил жезл властительский в своих общинах, еще не слишком удалившихся от первобытности и естественности. Поэтому, при образовании первоначальных обществ (associations des êtres libres et égaux), от бессознательного признания разумного превосходства людей, обладающих даром слова, произошла и передача в руки их общественного управления. Доказательством этому могут служить Греция, Рим и многие республики... В этих странах оратор (говорун) является человеком государственным. Сфера его обязанностей, как гражданина, расширяется; тягость общественного или народного руководительства падает на него. Для успешного действия слова бывает уже потребно многое, чего вовсе не требовалось при первоначальном обнаружении в обществах действия живого человеческого слова. От оратора, т.-е. человека, претендующего на убеждающую силу речи, в это время требуется, сверх красного слова,—доблести, добродетели, знания или мудрости. Добродетель требуется от него, разумеется, не безусловная, не общечеловеческая, не космополитическая, не основывающаяся на знании действительных или нормальных требований (см. статьи: норма, нормальное состояние, нормальные требования) природы человеческой и полного сознания проистекающих оттуда истинных и священных обязанностей человека, как человека, но требуется от него добродетель только национальная, т.-е. такая, какая признается в том обществе, где ему пришлось родиться. Все же его мудрость и доблесть политические ограничиваются уменьем хорошо обделать дела своего народа, не обращая нисколько внимания на благо других народов. От него требуют прежде всего, чтобы он был эгоистом в духе национальности и всякого чужеземца считал варваром, врагом, которого можно и даже следует лишить всего для своей пользы... Так было в Греции, так было в Риме, так бывает в обществах неразвитых, так бывает и поныне там, где нет истинного христианства (см. ст. христиане первобытные). В это время установляется понятие как об ораторе, так и о качествах, которые он должен иметь. Наука развивает дар убеждения в лицах, призванных господствовать силою разумения чрез по-

средство слова. С развитием эстетического чувства, современного умножению материальных удобств жизни, самая личность оратора является немаловажным условием для успешности его слова. Только людям организации (см. статью организация) более совершенной и хорошо развитой выпадает на долю магическая власть слова, только их голос может потрясать все фибры сердца, волновать по произволу все страсти человека, заставлять его в одно мгновение переживать многие годы, чувствовать именно то, что им захочется, чтоб он чувствовал, своей рукою определять мету, цель для их деятельности и влечь к ней целые народы!..

Хороший рост, звучный голос, величавая осанка, чело, носящее на себе отпечаток глубоких дум, глаза живые, полные мысли, выразительность физиономии (см. эту статью), ее удобоподвижность для выражения всех многоразличных ощущений, волнующих душу говорящего, живописность жестов и всех движений—вот телесные качества оратора, которые могут содействовать к успеху его речи. Но обладание одними этими материальными или физическими свойствами для полного торжества оратора еще недостаточно. Он должен знать все сокровенные изгибы сердца человеческого, ножом беспощадного анализа уметь разнимать по составам все требования его слушателей, следить проницательным взором за малейшим движением мельчайших фибр или мускулов, приводящих в движение дух его, знать все желания своих слушателей, даже те, которые они страшатся обнародовать,—одним словом, знать все, что только можно знать, знать все то, что другие желают, и в одном слове уметь высказывать эти желания, требовать безусловно их осуществления, и все это выражать и требовать так именно, как этого всем хотелось. Не иметь никакого темперамента или характера, быть ни мрачным, ни суровым, ни игривым, ни веселым, ни язвительным, ни ядовитым, ни страстным и чувствительным, ни сухим и безжалостным, ни черстворассудительным, ни строго-логическим, ни смешным и бессвязным, ни вздорным и сумасбродным, ни рассудительно-неверующим атеистом, ни фанатиком-всеверующим, ни многословным, ни лаконическим, но всем вместе, смотря по тому, как требуют того обстоятельства, настроение духа его слушателей... Он должен сверх сего глазомерно, сразу видеть количество бессмыслия и разумности и меру их взаимного соотношения в том народе, среди которого судьба повелела ему действовать,—то количество истин, заблуждений и пред-

рассудков, которое живет в его сознании, которое является необходимым для его насущного, ежедневного обихода, служа ему материалом, основой для составления суждений и мнений, потребных для его общественного быта. В таком только случае он может надеяться, что слово его будет непротивоустоимо. Образец такого могущества слова и мысли мы видим в истории. Сорок лет постоянного властвования Перикла в Афинах были делом обольстительного действия его могучего слова. Лучшим примером очарования, которым он обнимал душу своих слушателей, может служить речь его в честь воинов, павших в войне Самосской. Эта речь пробудила такой энтузиазм в народе, что все матери и вдовы,—его..., виновника смерти любезных их сердцу,—в торжестве несли по городу, осыпали цветами, в восторге целовали края его одежды... Полное сознание истины, искренняя готовность ей служить и жертвовать всем для нее, есть одно из существеннейших средств к успеху оратора. Гениальность и все другие дары, собранные от всего человечества, влитые в существо оратора, не в силах поддержать ложных начал, представить естественным противуестественное, поддержать неподдержимое... Они только могут несколько содействовать оратору к омрачению разумения лиц, не слишком привыкших к распознанию всех диалектических тонкостей, они могут только на несколько мгновений продлить чахоточную жизнь предрассудка и заблуждения, сделать его погибель несколько торжественнее и живописнее, но и то только в обществе невежественном, необразованном, не вступившем в эпоху сознания и самозаконного развития.

Там только явление оратора возможно, где быт общественный этого требует, где ему может быть присвоено не частное, но общественное значение, где он—не только лицо физическое, но и юридическое...

Ораторство. Хотя это слово давно внесено чужеземной образованностью в наш язык и уже совершенно обрусело, но значение его до сих пор еще не установилось, и его попеременно употребляют то для означения таланта ораторского, то для означения искусства ораторского в тесном смысле, то для означения речи ораторской,—а иногда даже для означения всего этого вместе. В этом смысле оно употреблено в часто встречаемой в разговоре и в книгах фразе: «развитие ораторства единственно возможно в республиках». В этом случае под ораторством разумеется все, что только

может относиться к действию изустно-словесному, имеющему целью убеждение или преклонение воли других. Это общее значение мы считаем собственно свойственным слову ораторство, почему и займемся разъяснением его в этом смысле.

Невозможность для человека достигнуть многого деятельностью одних своих личных сил, без дружественного содействия существ ему подобных, не могла не пробудить в нем сознания его бессилия в уединенности и вместе с тем не развить в нем требования общительности и общежительности. Человеку, взятому в отдельности, почти ничего невозможно совершить, но все возможно совершить в обществе и обществом (par l'association et dans l'association). Для него всегда труд уединенный и однообразный, не определенный природным влечением (travail isolé, monotone, non attrayant), будет всегда тяжкой казнью, и великая нравственная сила потребна, дабы не пасть под его гнетом.

Человек, как индивидуум, поставленный лицом к лицу с природою—ничтожен. Человек же, как род, могуч, и одна только неизменяемость законов природы может быть гранью для его самозаконного развития. Для него, как для существа разумного, как обладающего сознанием законов природы, в мироздании нет ничего [1]) неподчинимого, нет ничего [2]) такого, чего бы не заключалось в его природе и из нее не развивалось: он сам для себя и микрокосм и макрокосм. Дар слова, как лучшее средство обнаружения многообразных процессов внутренней жизни человека, как могущественнейшее орудие преклонения воли других к оказанию ему содействия, как живая связь общественности или общения, является, по самой своей природе, краеугольным камнем в созидании могущества человека и человечества (в совокупности, т.-е. в смысле рода), как сохранитель предшествующего развития, делает для него (как для индивидуума, так и как для рода) возможным бесконечное развитие (perfectionnement indéfini et infini). Сперва это усиление человека содействием других, это преклонение воли другого совершалось безотчетно и бессознательно,

---

[1]) Ему.

[2]) Сверхъестественного—эти слова находятся в сохранившейся рукописи, и, очевидно, исключены цензурою (см. Семевский. Буташевич-Петрашевский, П. 1922, стр. 70). *Ред.*

выражалось в виде просьбы, изъявления своих нужд и вообще имело первоначально малое отличие от прочих родов внутренней деятельности человека, выражаемых словом. Впоследствии, при большем развитии человека, общества и потребностей его, явилась настоятельная нужда в наибольшем содействии людей, и тогда только убеждающее или убедительное действие слова получило свое настоящее значение. Это же действие слова стали отличать от простого выражения мыслей тогда только, когда заметили, что слово может являться не только средством к выражению внутренних процессов природы человеческой, но и началом определительным чуждой деятельности, орудием преклонения других людей; тогда явились названия: ораторства, для означения такового убеждающего действия слова, и ораторской речи (см. эту статью)—для обозначения особых форм выражения мыслей, более годных к таковому убеждающему действию и имеющих особенною целью таковое убеждающее или преклоняющее действие.

Когда развитие человека не достигло еще полноты, когда им весь мир жизненных отправлений природы не исчерпан в общих чертах и отчетливое сознание общих законов многоразличных явлений природы не сделалось для него доступным, тогда, разумеется, будет невозможным или преждевременным явление общих правил, формул или начал, которые могут служить мерилами практической годности идей или действий разного рода. В это время еще не может быть даже и помину об ораторском искусстве в собственном смысле (см. эту статью), и все искусство ораторское в эту эпоху общественного развития будет неразрывно соединено с личностью самого оратора и будет заключаться в личном его умении и наблюдательности.

В это время могут явиться только образцы ораторского искусства, и то если общественное устройство будет способствовать к этой высоте человеческого развития. Как знания в буквальном смысле нет—a priori, а только—a posteriori, то и здесь практика является предшественницей теории и обобщительницей частных фактов и явлений.

В эту эпоху успех идеи, истины, провозглашаемой оратором, совершение того действия, к которому хочет преклонить он своим словом, вполне зависит от уменья его (как говорят французы, poser la question) представить предмет в свете, благоприятном его целям; показать истинным и необходимым то, что ему таким кажется, ибо, вследствие не-

развития разумного масштаб, критериум истины еще не определился в сознании человеческом безусловно. Этот период можно назвать эпохою *софистики* в ораторском искусстве. Развитие или неразвитие ораторства, этого благоуханнейшего и полезнейшего плода общественности, общежительности и публичности, среди разных человеческих обществ, представляемых нам историей, не есть явление случайное, беспричинное, не имеющее своего корня в самых формах быта общественного, т.-е. в его гражданских, политических и религиозных установлениях. Для проявления всякого рода жизненности потребно приснобытие соответственной средины: нет ее—и быть не может соответственного с этою срединою обнаружения жизненности. *Смешон поэтому в глазах всякого истинно-мыслящего человека укор в бесталантливости там, где была бы жалкая посредственность законодательницей, и где самая талантливость являлась бы чем-то враждебным духу тамошних общественных учреждений!.. Не странно ли там искать ума, общечеловеческих полезных открытий, усовершенствований и изобретений, где всякое обнаружение разумности, всякое нововведение было бы чем-то противузаконным, безнравственным; где самая справедливость от века ни на одно мгновение не являлась нелицеприятной, где общественное судилище есть ни что иное, как охранительное учреждение для всякой неправды?! Где как бы все, и человека и природу, покрыла плесень застоя и онемения,* ...где однообразие, монотонность, безмыслие и бессмыслие—закон общественной жизни..., как это и есть в Турции или Китае! Тут странно было бы искать образцов красноречия... Тут, даже при рассмотрении человека с физиологической точки зрения, достаточное развитие мозга в голове, следовательно, и разумности, невозможно; ибо все жизненные соки должны притечь к пятам от беспрерывного их поражения ударами бамбука, который в туземном воспитании есть живое и полное осуществление нравственных побуждений (см. Voyage en Chine par Deris).

Так! полное, нестесняемое никакими общественными учреждениями развитие индивидуальности (см. эту статью в Приб. к Словарю); признание не силы, но разумности началом, управительным в обществе, законом положительным, обы-

чаем, упроченное разными охранительными политическими учреждениями; обеспечение свободы мысли, чувства и их внешнего публичного обнаружения; ясное сознание как своих частных, так и общественных интересов, поддерживаемое публичностью всех общественных и административных отправлений,—вот главные условия, без бытия которых развитие ораторства делается невозможным. Вот почему под небом счастливой Эллады, в роскошной Аттике, среди свободных республик, мы находим преимущественно образцы высокого развития красноречия. Впрочем, и в тех странах, где жизнь общественная наиболее является благоприятной для развития красноречия, и там явление образцов ораторского искусства не повседневно.

Для явления чего бы то ни было необыкновенного среди мировой жизни, среди жизни общественной потребно особенное, новое и небывалое сочетание действующих сил или обстоятельств, приводящих в гальваническое сотрясение все жизненные элементы. Только в часы великих потрясений, переворотов, торжеств или бедствий общественных, когда перестала преобладать инерция,—когда все соки общественной жизни пришли в воспроизводительное брожение, тогда только возможно явление оратора—глашатая истин и нужд общественных, тогда только он может надеяться всяким звуком своего голоса возбуждать сочувствие в своих слушателях. Тогда только, когда обстоятельства этого требуют, может явиться он высоким и великим!.. Для общества, не привыкшего к рассудительности и разумности, слова мудреца будут словесами безумия!.. В нем глупость и невежество будут удостоены обожания, а истина и знание гонимы!!. Так в последние дни золотого века Аттики, на стогнах роскошных Афин раздавалась речь Демосфена. Свободная мысль одного этого великого гражданина обветшавшей республики, воспрянувшая на защиту умирающей греческой свободы, облекшись в обаятельное и могучее слово, противилась губительной силе оружия и золота македонского, и долгое время одно слово его нейтрализовало все действие могущества Филиппа и его бесчисленных фаланг..., разбудив в сердцах афинских граждан высокие чувства гражданской доблести и свободы, некогда согревавшие сердца Леонида и Фемистокла!.. Так теперь в Великобритании, когда бедствия Ирландии и народа дошли до крайних пределов, замечательно явление О'Коннеля, как оратора. Сила его речи есть прямой вывод из раз-

вития жизни общественной этой страны. Поистине можно назвать чудесным действие его слова: несколько миллионов ирландцев и все католики Англии думали как бы одной его мыслью, двигались так, как велело им его могучее слово, волновались и утихали, смотря по тому, что он сказал на митинге (см. эту статью) и что объявлял им полезным для успеха реппиля (см. эту статью). В этом случае общественное положение О'Коннеля более придает значения и силы его слову, нежели слово его положению. Сила его слова тоже не будничное явление в летописях ораторского и преимущественно парламентского красноречия. Такое действие человеческого слова единственно возможно только там, где есть свобода мысли, чувства... Явление людей, одаренных силою речи Цицерона и Демосфена, нормально только в тех странах, где разумность получила права, ей принадлежащие. Здесь только возможна речь сильная, смелая и поучительная, ибо «невольник никогда не может быть красноречивым», как сказал великий Лонгин [1]) в своем трактате «О высоком» (см. также Державина, стр. 128, изд. 1845). Вот почему в Афинах, в Греции, а не в Персии и Турции мы находим образцы искусства ораторского, вот почему и во Франции, среди Национального и Законодательного собрания, мы видим возрождение волшебного действия человеческого слова, которое ему принадлежало по праву в республиках древнего мира. То же волнение страстей, тот же полный страха трепет сердца, который ощущали некогда граждане древнего мира при решении важнейших вопросов их общественного быта!.. Не менее поразительны самоотвержение и энтузиазм, возбужденные могучим словом Мирабо, когда он убеждал Национальное собрание во имя всего, что свято человеку, во имя всего человечества и его благоденствия—подавить в себе эгоистические чувства, отречься от некоторых, для других удручительных прав и привилегий (пользование которыми стало правом, привычкою и необходимостью для целых сословий от незапамятности обладания ими)... Речь его заключил всеобщий поцелуй братства и клятва отречения. Одно мгновение изгладило значение столетий!! [2])

---

[1]) Неоплатоник III в., которому приписывается книга по эстетике «О возвышенном» и несколько отрывков из риторики. *Ред.*

[2]) Мирабо бывал великим оратором, когда истина говорила его устами. Когда же он пытался защитить незащитимое, поддержать неизбежно предназначенное к разрушению ходом мировой жизни и незадержимым током че-

Мы, как древние риторы, говоря об ораторстве, нимало не привязываемся к форме и не считаем расположение по хриям и т. п. схоластическим образцам или формам выражения мыслей необходимым условием для того, чтобы речь человеческая была поистине ораторскою и достойна введения в «руководства к познанию словесности» в качестве образцового произведения. Мы можем указать, как на образцы ораторства, на иные трехдневные парламентские речи и на несколько отрывочных возгласов, кстати произнесенных пред толпами. Эти разнохарактерные явления равно эстетичны в глазах истинных ценителей изящного. Чтобы не винили нас в пристрастии, мы готовы даже указать на многие места поучений XII столетия, не уступающие в положительном достоинстве разглагольствию многих патентованных парламентских ораторов, а в эффектности—многим речам знаменитейших ораторов древнего мира. То невероятное действие, которое производили их речи на толпы народа, может служить тому доказательством пред глазами истинного наблюдателя человечества, пред судом ума, не зараженного предрассудком (см. статьи: реформа, реформаторы, пуритане). Мы должны закончить это следующим общим замечанием: для того, чтобы ораторство, как и всякое обнаружение сил природы человеческой, не сделалось односторонним, а потому ненормальным, необходимо, чтоб все требования человека получили соответственное удовлетворение, чтоб для деятельности как нравственных, так и материальных сил его самое это удовлетворение явилось началом, гармонизующим их развитие.

Ораторская речь. Мы уже сказали (статьи оратор и ораторство), что резкое отличие «ораторской речи» от всех прочих словесных произведений составляет ее исключительное назначение и способ ее употребления: она произносится изустно в собрании слушателей с тем, чтобы убедить этих слушателей, увлечь их в пользу известной идеи. Ее дело, подвиг оратора, должно совершиться в один час. Достижение цели оратора есть устремление частных волей по одному

ловеческого развития, когда слова его были уловкой находчивого софиста и увертливого диалектика, а не выражением сердечных убеждений, тогда ораторы, менее его талантливые, но руководимые сознанием истины, искренним чувством любви к человечеству, не уступали ему в действии, и тогда гениальность едва спасала его от всеобщего пренебрежения. См. Cabet. «Histoire populaire de la Révolution française».

направлению, единодушное решение вопроса, общий приговор.

Принимая положение, что образоваться и развиться в человеческом обществе может только то, в чем есть потребность, и применяя это положение к ораторской речи, мы невольно приходим к вопросу: во всяком ли политическом обществе может развиться ораторская речь точно так же, как развиваются все прочие словесные произведения? Конечно, нет; потому что не всякая форма общественная дает пищу этому искусству; потому что значение частных волей не везде одинаково; потому что для решения общественных вопросов не везде нужно общественное убеждение...

Есть два вида общественного быта, где ораторская речь является могучим двигателем. Один—когда элементы будущего политического тела еще не образовали стройного целого; когда частные личности еще сохраняют свою отдельность, пока власть, как вязкий цемент, не слила их в общую массу, не сгладила их своеобразных характеров; когда эти частные личности еще не познали других законов, кроме тех, которые искони вложила в них природа... Тогда, если среди этой полной природных сил толпы, юной, энергичной, ...явится страсть, вооруженная мощным словом, ...тогда оно, это слово, чудотворно, как игра Орфея: с быстротой электрической струи оно потрясает эти девственные сердца и увлекает и вдохновляет их... Тогда оно нужно, как сила возбудительная, как сила, связующая общим одушевлением отдельные, ничему неподклонные личности.

Потом, когда народ переживет века, переживет много положительных бед и условных торжеств, перепытает много мнимой славы и горьких унижений, когда минет его молодость, и он станет мужем и достигнет полного самосознания, и почувствует он, что от всех минувших зол, страданий и смерти спасли его собственные же силы, что источник его жизни, его счастья и величия—в нем самом,—тогда он смело берет назад свои утраченные права; чувство человеческого достоинства, временно заснувшее, снова откликается в нем на голос природы, и мысль, свободная от предрассудков, чистая, как звезда, является ему вожатаем надежным, неуклонным. Тогда-то ей, этой мысли, становится нужен богатый покров; тогда-то громовое слово получает свое значение. Тогда-то каждая черта общественной жизни, каждое

ее движение—плод разумного убеждения; неделимое перестает быть бедным, безжизненным аппаратом с механическими отправлениями, но является живым мыслящим деятелем, истинным членом сознательного общества, непременным участником в решении его вопросов.

В смысле искусства ораторская речь испытала при своем историческом развитии ту же участь, какую испытала она как явление политическое. Средний период общества всегда выражается мертвою буквой, неподвижной формулой. Этот период породил витиеватость, риторику—«способ делаться искусственным оратором». Но изобретение не удалось: риторы остались риторами, хрии остались хриями, не заменив ораторов и ораторских речей. Ораторская речь, как искусство высокое, вдохновенное, имеет бесчисленные условия, но условия неуловимые, ускользающие от всевозможных теорий. Не только дух языка, дух народа, положение народных дел, ...но даже известный класс слушателей, образ их понятий, даже минутное расположение их—все создает новые правила для ораторской речи. Сверх того, личность самого оратора, являющегося актером на сцене великой общественной драмы—разоблачать судьбу народа в явлениях его жизни,—личность оратора имеет здесь огромное значение.

Как война родит великих полководцев, так время народных волнений производит великих ораторов. Разительные примеры представляет в этом отношении Франция: бурное окончание прошедшего столетия, период реставрации и 1830 год ознаменовались колоссальными личностями, возвысившимися на поприще народной трибуны.

В различных статьях мы постараемся представить характеристику знаменитейших из общественных двигателей, которые силою бессмертной своей речи пробудили миллионы дремавших и подавленных умов, сообщили им сокровища мысли, приготовленные трудами ученых конца XVII и XVIII столетия (см. статьи философы XVIII века, энциклопедисты, скептицизм, а в Приб. к Сл. статью вольтерианизм), неутомимо ратовали и стояли за свои убеждения, смело шли на смерть и горделиво умирали за общее дело равенства и свободы, явив собою пример страшной энергии, огнедышащих страстей или суровой пуританской добродетели и высокого стоицизма, и даже тех, которые, хотя и впадали в заблуждения и крайности, но, тем не менее, в личностях своих обнаружили много юношеского, поэтического увлечения, нежной, горячей любви и геройского самоотвержения...

Так, в статье революция 1789 года будет сказано о величайшем из ораторов — Мирабо и о роли, которую он играл в эту великую годину; в статьях дантонисты и гебертисты (в Приб. к Словарю) постараемся дать верное понятие о Дантоне, Камилле Демулене и кордельерах; в статье якобинцы особенно обратим внимание на Робеспьера, Сен-Жюста и др.; в статье роялизм упомянем о талантливых Барнаве, Дюпоре и Ламете (см. также в Приб. к Словарю статьи: жирондисты и бриссотины); в статье революция июльская будут разобраны, как ораторы, Манюэль, де-Серр, Бенжамен-Констан, Лафаэт, Араго, Лафит, Тьер, Гизо, Беррье, Гарнье-Паже и другие...

Равным образом отсылаем читателей к статьям: парламент, палата, трибуна и т. п.

Оратория. ...Человек не только в лирических своих порывах, но и поставленный среди общества участником общечеловеческой драмы, как звено единой цепи существ, ему подобных, как одна нота великого аккорда—человечества, понятен композитору, как и поэту-писателю: мы знакомы с Дон-Жуаном, с Ромео и Юлией, с Вильгельмом Теллем, с Семирамидой, с Отелло, с Люцией не только по Шекспиру, Вольтеру; Шиллеру, Вальтер-Скотту, но и по Беллини, Моцарту, Россини...

Но есть громадные феномены, те знамения мировой жизни, в которых человек исчезает, как атом в бездне пространства, пред лицом которых человечество с своими страданиями и торжествами, войнами и молениями, моровыми язвами, крестовыми походами, реформациями, революциями, с своими эпосом и драмою...—едва заметный злак, сонм эфемерид, и весь вопль миллионов людей, прешедших и переходящих с громами оружия и гимнами новым обоготворенным идеям—едва слышное пение кузнечика; где века—секундный бой стенных часов...; феномены страшной космической драмы, в которой сценами будут: состояние тьмы и хаоса, ...явление тверди, рождение человека, ...или то время, когда разверзлись хляби и источники и залили земное яблоко даже до вершин Арарата, ...потопили и мамонта, и бегемота, и всех антедилювиальных наших братий...; наконец, более доступная разумению человека, но также невыразимая для многих игра стихий—буря, землетрясение и т. п., времена года... Такие явления, такая драма могут быть воспроизведены только немногими избранниками небес, совладать с такими темами может только могучий, всеобъемлющий гений. Изобра-

жение таких феноменов, передача такой драмы в звуках требует иных сил, иных звуков. Тут нет пособия сцены: все должен выразить звук, притом он должен рассказать, заставить почувствовать невидимое, темно-предугадываемое. Это, так сказать, гимн самой природы, хоры элементов...[1]). . .
. . . .

Было время, когда человечество пробудила божественная мысль, когда в римской провинции, в угнетенной Иудее, раздалось слово любви и свободы и быстро разлилось по земле, и потрясло престолы кесаря и наместника, и смутило все отжилые верования, сняло с человечества томительное ожидание искупления, возвестив, что оно настало и осуществилось, и человек того времени прозрел нравственно, парализованная до того преданием, суеверием и деспотизмом толкователей Моисея его мысль вновь обрела подвижность и силу, обуревавшие его страсти улеглись и приняли правильное течение, будучи примирены словами: «возлюби ближнего», «признай в ближнем своего брата»...; ужас смерти затих при мысли о бесконечности любви и о несправедливости суда человеческого, как зла преходящего; он отказался от стяжания, от мысли о «моем» и «твоем», когда простая притча показала ему нераздельность благ природы и равенство прав каждого живущего существа на все ее сокровища...

Такое учение, такие правила требовали кровавого искупления в те времена, когда человеку, консулу провинции, предоставлено было право жизни и смерти каждого из ее жителей, когда свобода была монополией римского гражданина, и вне стен римских крест, лезвее меча или ссылка ожидали каждого, непочтившего динарий с кесаревым ликом... И римский судия омыл руки в крови «богочеловека»...

Но (по свидетельству евангелистов): «потряслась земля», «померкло солнце», «мертвые встали из гробов», «разорвалась церковная завеса», ...римский сотник оторопел от ужаса, стоя на месте казни . . . .
. . . .[2])

Такая драма, такое зрелище недоступно ни перу ни кисти!.. Дивно «Снятие со креста» Корреджио, ужасна смерть

---

[1]) Точки в оригинале. *Ред.*
[2]) Точки в оригинале. *Ред.*

на челе, увенчанном тернием, высоко-трогателен плач Марии, ...но какая картина изобразит мрак, покрывший иудеев в то мгновение, когда мысль спасения отлетела от них и утонула в беспредельном пространстве, и остались они в тупом изуверском ожесточении, гордые беззаконною казнию, гордые римскими оковами, римской кустодией, римской податью, римской расправой?!. Только глухие звуки органа под перстами Себастиана Баха, или сотни пронзительных труб и фаготов, слившиеся в одну невыносимо-мучительную мелодию, способны навести нынешнего человека на помыслы об этом всемирном страдании и совместить в его душе чувство ужаса, пробуждаемое гибелью Помпеи или Лиссабона, с высокою стоическою скорбью реформатора в виду костра и изуверов...

Другой пример величественной и страшной темы для оратории представляют следующие восторженные строки апостола:

«Яко же бо молния исходит от восток, и является на запад: тако будет пришествие сына человеческого».

«Иде же аще будет труп, тамо соберутся орли».

«Абие же по скорби дний тех, солнце померкнет, и луна не даст света, и звезды спадут с небеси, и силы небесные воздвигнутся».

«И тогда явится знамение сына человеческого на небеси: и тогда восплачутся все колена земные, и узрят сына человеческого грядуща на облацех небесных с силою и славою многою».

«И после ангелы своя с трубным гласом велиим, и соберут избранные его от четырех ветр, от конец небес до конец их»... [1]).

Органическая эпоха. Со времени появления и распространения сен-симонизма это выражение сделалось техническим, вышло из круга сочинений, собственно имеющих целью уяснение этой преобразовательной системы быта общественного, и получило право гражданства в литературе не эфемерной, а более серьезной, чем газетные объявления о новых магазинах и товарах.

Это выражение находится в тесной связи с воззрением сен-симонистов на мир (см. статьи: сен-симонизм и сен-симонисты).

Когда силы природы находятся, так сказать, в разъеди-

---

1) Матф., гл. XXIV, ст. 27—31.

нении, когда действие одной силы уравновешивается и даже почти совершенно уничтожается действием другой и когда действие ни одной из сих сил не имеет ни определенности, ни самостоятельности, ни независимости от влияния прочих сил,—тогда взору наблюдателя невозможно отыскать среди круговорота мировой жизни явлений, резко одно от другого отличающихся. Такое состояние природы или разъединение сил в природе и есть то, что обыкновенно хотят означить словами: хаос, состояние хаотическое (см. эти статьи). С того же мгновения, когда является одна из сил в природе преобладающей, она делается центром, около которого группируются другие явления, становится особого рода органическим, производительным началом явлений (бытий, предметов или существ), имеющих свой отличный, самостоятельный характер, выдвигающий их из широкого круга хаотической безразличности. Сила эта до тех пор будет сохранять свой органический характер, пока не достигнет наибольшего своего развития (т.-е. не произведет все те явления, которые не может она, по самым свойствам, не внести в круговорот мировой жизни), пока не появится новая сила, новый действователь в природе, влиянию которого ей, в свою очередь, суждено подчиниться. Со времени воздействия на нее таковой новой силы, с первого мгновения подчинения ее действию, настанет для нее период утраты ее самостоятельного органического значения в природе. С этого времени все производимые ею явления будут ежемгновенно терять свою особенность, характеристичность, и существа (формы бытия) или обнаружения этой силы будут снова помалу утрачивать свою самостоятельность и, пройдя ряд постепенных, незаметных изменений, преобразуются так, что два крайние момента обнаружения действия этой силы в существах (напр., моллюск и человек), в которые она, так сказать, внедрялась в разные периоды своего мирового действия, явятся не только несходными, но даже совершенно разнородными (см. статьи: Протей и протеизм).

Первый период таковего действия силы должно назвать органическим, созидательным, второй же—дезорганическим, разрушительным. В применении к человечеству, к действию в нем идей, последний период может не без основания быть назван критическим. Это название и дают ему сен-симонисты.

Этот взгляд на образ мирового явления был перенесен сен-симонистами в историю и применен ими к их воззрению

на степени или ступени развития человечества. По их учению, в человечестве идеи играют такую же роль, как силы в природе, и эпохи нового направления в развитии человечества определяются появлением идей, имевших направительное влияние на развитие человечества (см. статьи: сериарность и сен-симонизм)[1].

Разумеется, надобность и возможность такой теории, определяющаяся общим ходом человеческого развития, не может представляться часто или даже ежемгновенно. Вот почему сен-симонисты, разбирая историю человечества по тем памятникам, в достоверности которых менее причин сомневаться, нежели в прочих, признают только два момента во все продолжение послепотопной жизни человечества, в которые теории (идеи, общие воззрения), постепенно, втихомолку вырабатываемые самой жизнью человечества, обнаруживались извне с полной отчетливостью и определенностью, являлись новым организующим началом для разнообразных стремлений человечества, пришедших в разъединение и совершенную дисгармонию. Эти два момента суть следующие:

Первую органическую эпоху или, лучше сказать, эпоху органического развития сил человечества, видят они во время греческого и римского политеизма. Начало же ее относят к тому времени, когда победители перестали убивать своих побежденных врагов, но нашли для себя более выгодным обращать их в работы, когда это начало эксплоатации (см. эту статью) человека человеком, т.-е. превращения человека человеком в орудие к упрочению удобств своего материального бытия, ускорило общий ход развития человечества, дав ему возможность, чрез увеличение средств к удовлетворению требований его природы, установить гражданственность и общественность. Век Августа и Перикла они именуют концом этой эпохи.

Вторую органическую эпоху они относят ко времени утверждения власти католицизма и феодализма и считают ее сохраняющей свое значение в религиозном отношении до Леона X, а в политическом—до Людовика XIV.

---

[1]) Здесь выражение «идея» собственно употребляется в смысле философского воззрения на природу, в смысле общей формулы, теории всех жизненных отправлений, в смысле систематической мысли, обнимающей все роды человеческой деятельности, разрешающей все вопросы, предлагаемые человеку его общественным бытом (целым обществом) и его частной личностью.

Соответственно этим двум эпохам, они принимают две эпохи критические (см. статьи: протестация, протест).

Пределы первой критической эпохи определяют промежутком времени падения политеизма и появления христианства. Начало этой эпохи относят ко времени явления первых философов в Греции, а конец — к началу проповеди евангелия.

Вторую критическую эпоху они считают начавшеюся с пробуждением разума в Европе: от начала реформы Лютера и последовавшего затем упадка католицизма. Эта эпоха обнимает три века и простирается до Сен-Симона, которого учение (по мнению сен-симонистов) положило начало новой органической эпохе, которой задача состоит в уничтожении антагонизма частных интересов, в постановлении полного общения человечества, без отношения к различным народностям, и в признании глагола *любви*, завещанного спасителем, общим законодательным началом для всех междучеловеческих отношений [1]). В статье сен-симонизм показана недостаточность этой формулы со стороны практической.

Значение эпох критической и органической в истории развития человечества сен-симонисты истолковывают следующим образом: какое должно быть назначение человека в отношении к человечеству и вообще к каждому из людей? Каково его назначение в отношении к вселенной? Вот главные вопросы, которые всегда предлагало себе человечество. Во все органические эпохи оно имело разрешение этих вопросов, хотя неполное, как это часто доказывает последующий прогресс, но, тем не менее, удовлетворяющее современным требованиям. По появлении таких разрешений развитие человечества ускорялось благодаря тому покровительству и содействию, которое оказывали этому развитию человечества общественные учреждения, вызванные этими разрешениями и установленные согласно с их духом и направлением. Но эти же самые учреждения и установления, следствие самого этого ускоренного развития, не могли вечно оставаться вполне удовлетворительными, вызывали сознание потребности новых установлений; усилившееся сознание та-

---

[1]) См. «Exposition de la doctrine de St. Simon, par M. Bazard et Enfantin». Paris 1829, I, v. 8⁰.

ковой потребности и дает начало эпохе критической (аналитической). В это время мысль человеческая анализирует все прежде созданное творческою ее деятельностью, применяет к действительности и, находя прежний синтезис (см. эту статью) неудовлетворительным, ниспровергает его и стремится заменить новым. Поэтому все критические эпохи (см. статью эпоха), как в науке, так и в жизни, суть эпохи антагонизма, противоречия, противоборства новых требований и способов их удовлетворения со старыми, эпохи переходного состояния. В эти эпохи господствует скептицизм (NB см. эту статью), сомнение и равнодушие к разрешению этих проблем. Одним словом, всегда, когда разрешаются задачи общественные, тогда начинаются эпохи органические; когда же нет общего, удовлетворительного для современников разрешения этих вопросов, тогда бывает эпоха критическая.

В органические эпохи цель общественной деятельности ясно определяется, и все усилия, как мы выше сказали, направляются к исполнению этой цели, к осуществлению которой люди постоянно направляются в течение всей их жизни воспитанием и законодательством. Общечеловеческие отношения установлены законом, обычаем, откровением, отношения же отдельных лиц определены тоже по ним. Задача, цель, которую имеет в виду осуществить общество, ясна разумению всякого, и, одним словом, гармония царствует во всех общественных отправлениях и отношениях...

Эпоха критическая представляет совершенно противоположные явления. В начале ее замечается совокупность в деятельности разных членов общества, устанавливаемая всеобщей попыткой разрушить созданное деятельностью прежней эпохи. Разница в основе этих стремлений не замедлит, однако, обнаружиться, и скоро каждый из действовавших в этом направлении начинает заботиться только об усвоении себе части разрушающегося общественного организма. Тогда совершенно утрачивается сознание цели общественной деятельности, имевшее место в прежнюю эпоху, равно как и сознание законности власти или, точнее сказать, законности основания власти тех, которым она принадлежит de facto (см. эту статью). Такой же антагонизм является между интересами общественными и частными, ежеминутно получающими преобладание над интересами общими; и человек, перестав признавать справедливыми формы своих отношений к существам, ему по-

добным, к целой вселенной, переходит к сомнению, а от сомнения — к отрицанию прежних своих верований...

Таков отличительный характер обеих эпох по учению Сен-Симона.

Органический, органическое существо, органическое тело. Организм. Организация. ...В человеке, на высшей степени его органического развития, действие на него внешнего мира является уравновешенным с воздействием его на внешний мир, и он через то может явиться, является и современем, чрез сознание мировых законов, должен вполне соделаться властелином и устроителем всей видимой природы, в которой нет ничего ему неподчинимого, как сознательному и самосознающему началу творческой деятельности.

Организатор, организировать. Слово организатор собственно значит производитель органов. Это название преимущественно присвояется людям, обладающим талантом распорядительности, всего же удобоприменимее к общественному действователю, т.-е. к человеку, для которого не мертвые, или бессознательно действующие, но жизненные силы природы, пришедшие в сознание в человеке, сам человек, как он есть, со всеми его слабостями и недостатками, служат сырым материалом для его построек. Иными словами, так называют соединителя людей и направителя деятельности их сил к известной определенной цели. Для организатора, как и для устроителя какого-либо механизма, необходимо знание природы и свойств тех материалов, из которых он хочет построить машину, их взаимное действие друг на друга. Для организатора, в смысле общественного деятеля, необходимо глубокое знание людей и уменье поставить их в такое положение, чтоб все их «так называемые» добродетели, «порочные» склонности являлись орудиями, содействующими к достижению его целей, чтоб личность их была вполне этим заинтересована, чтоб каждый, стремясь к достижению своих личных целей, чрез это уже на самом деле и бессознательно осуществлял общую цель, предположенную организатором. В этом случае важным политическим и педагогическим правилом будет уменье не подавлять страсти (т.-е. естественные стремления природы человеческой), но, развивая их гармонически, уничтожать вредность влияния одной посредством другой и все их направлять к осуществлению собственно человеческого назна-

чения. (Il ne faut pas comprimer les passions, tendances naturelles de l'homme, mais les utiliser en les développant harmoniquement, de manière que l'effet pernicieux d'une passion soit anéanti par l'action neutralisante d'une autre).

Организировать — значит поставить разные предметы или действующие силы природы в такое отношение одна к другой, чтоб они, действуя соответственно с их природою, служили средством к достижению какой-либо цели, или к произведению какого-либо действия.

Организация производства или произведения (organisation de la production). Собственно говоря, человек и природа бессильны произвести что-либо заново, произвести небывалое, но только могут преобразовать уже существующее. В этом смысле экономисты-социалисты употребляют выражение «организация производства или произведения». Произвести, в смысле политико-экономическом, значит преобразить известный сырой материал (matière première) [1]) соответственно известной цели так, чтоб он явился действительным средством к удовлетворению известных нужд частных или общественных. Акт производства, в смысле экономическом, состоит в применении известных действователей производства (agents de la production) к сырому материалу и в преобразовании его соответственно с видами производителей. При настоящей организации общественной главными производительными силами или началами во всяком произведении или производстве являются *талант*, *капитал* и *работа*.

Капиталом (в смысле agent de la production) следует считать всю массу произведений человеческой деятельности, оставшуюся непотребленною за удовлетворением всех насущных нужд человечества, служащую или прямо орудием к новому производству, или непосредственно средством к оному, освобождая людей от производства разных работ, так сказать, предварительных относительно к известному определенному производству, без которых при этом производстве нельзя бы было обойтись. Под талантом (см. эту статью) в этом случае мы должны разуметь ту мысль, то разумное усилие, которое было необходимо для отчетливого сознания какого-либо известного экономического пред-

---

[1]) Им. может быть всякая вещь, даже и обработанная. Значение ее, как сырого материала, обыкновенно определяется отношением к новому производству, к которому она относится, как средство к цели.

приятия, то уменье, то искусство, ту практическую ловкость, то знание цели труда и способов его совершения, которые необходимы для успешного его исполнения. Под работой мы разумеем вообще всякое сознательное или бессознательное усилие человеческой деятельности (effort de l'activité humaine), имеющее целью доставить человеку новые способы к удовлетворению его потребностей. В этом смысле и акт созерцания философа, в глубине самосознания пытающегося отыскать общие нормы обнаружения человеческой мысли, может быть назван также трудом работника. В какой мере и степени этим различным агентам производства, т.-е. таланту, капиталу и работе, принадлежит производительное участие во всяком произведении человеческой деятельности? И какое поэтому вознаграждение каждому из сих производителей (или их представителей) должно достаться?

Вот коренные, существенные и жизненные вопросы политической экономии, которые вовсе не западают в головы прежних экономистов, привыкших держаться своих экономических фактов, убитых несчастным формализмом и смешной генерализацией (см. эту статью в Приб. к Словарю) частного явления. Вот вопросы, которые прямо наводят всякого мыслящего человека на необходимость правильной организации производства. Неопределенность вознаграждения, выделяемого в практике на долю каждого агента производства, есть одна из главнейших причин той неправильности, которая замечается в разных жизненных отправлениях новейших обществ, тех лихорадочных пароксизмов, попеременно поражающих разные страны, которые с достаточной очевидностью обнаруживаются в угнетении английского пролетария победоносным соперничеством машины... и которые кажутся «так себе», «ничем» и «бог весть чем» для политиков, избравших себе девизом: après nous le déluge.

Причину этих явлений должно искать не столько в неопределенности относительного значения этих различных начал производства, сколько в оказании особенного предпочтения капиталу или его представителям, в ущерб прочим производительным элементам—таланту и производительному труду человека.

Это предпочтение, оказываемое капиталу, овеществившемуся труду, простирается до того, что личность и права человека, как человека, иногда приносятся в жертву овеществленному труду (travail consolidé) предшествовавших поко-

лений человечества, часто незаконно и несправедливо усвоенному... Если бы не было разных обстоятельств, ослабляющих эту поглотительную способность капитала, cette qualité absorbante du capital, как весьма хорошо выражается Proudhon в его знаменитом сочинении «Qu'est ce que la propriété», тогда бы все человечество, по истечении известного времени, явилось бы обращенным в рабство не личности другого человека, но своему собственному труду и труду овеществленному!!! Подобное действие замечается в настоящее время на Западе и обнаруживается в том влиянии, которое приобрели на общественную жизнь овеществленный труд—капитал и их представитель — деньги или денежная аристократия. Это явление не могло долго оставаться незамеченным и не обратить на себя внимания всех тех, кому близки к сердцу прогресс и счастие человечества, и не заставить их отыскивать способы к устранению этого общественного зла (см. статьи: роман, организация промышленности). Таким образом возникнул вопрос об организации производства, который теперь стал жизненным вопросом современного общества и породил целую литературу, которая должна составить эпоху в истории человечества, по тому благотворному влиянию, которое она способна оказать на будущее развитие человечества и устроение его благосостояния. Этот вопрос, впрочем, не впервые представляется разумению человечества, не впервые обращает на себя внимание мыслителей... Для желающих хотя несколько ознакомиться с историческим развитием этого вопроса мы укажем на соч. Villegardelle: «Histoire des idées sociales avant la révolution française ou les socialistes modernes devancés et dépassés par les anciens penseurs».

Не будем упоминать о различных способах организации производства или ослабления влияния овеществленного труда, предлагаемых разными мыслителями. Мы в этом случае ограничимся указанием на учение Charles Fourier, преимущественно замечательное потому, что оно не исключает и не приносит ни одного из сих агентов производства в жертву другого и чрез это делает безусловно возможным установление солидарности интересов, нимало не оскорбляя уже установившихся общественных отношений. В своих сочинениях: «Nouveau monde industriel» и «La fausse industrie» он показывает эти способы согласования. Предложенный им способ замечателен тем, что он, признавая значение всех этих производительных сил, дает каждой из них

постоянное безобидное вознаграждение — дивиденд—и тем ослабляет действие капитала. За вычетом издержек производства, всю массу вновь произведенных ценностей он распределяет следующим образом между представителями этих трех агентов производства: $^{4}/_{12}$ из чистой выгоды предоставляет на долю вкладчику капитала, $^{5}/_{12}$—самому производителю труда, $^{3}/_{12}$—тому, чья идея, чье знание, чей талант руководили этим промышленным производством. Впрочем, не всякому труду он предлагает равное вознаграждение, но всякому труду предлагается доля, прямо пропорциональная его полезности и обратно пропорциональная его привлекательности (*NB.* См. статьи: серия, талант, социализм, фурьеризм, а в Приб. к Словарю статью группа). Высшая задача общественной экономии состоит в умении постоянно уравновешивать способы удовлетворения нужд с самыми потребностями и обеспечивать каждому члену общественного организма безбедные способы существования (minimum de l'existance) чрез доставление ему средства к общеполезному труду. Такая соответственность между нуждами и способами их удовлетворения и приведение всех общественных отправлений в таковое состояние солидарности (см. эту статью) также иногда подразумевается под именем организации производства.

Орден рыцарский. ...В позднейшие времена начали учреждать ордена с целью вознаграждения и поощрения мужества и таланта; умеренность в раздаче этих почестей еще более возвышала их в глазах искателей, заставляла добиваться их с бо́льшим рвением...

Но все изменяется, даже самые полезные учреждения! При нынешнем развитии общества «ордена» потеряли прежнюю силу и значительность, чему наиболее содействовала неумеренность в раздаче их...

Впрочем, этого нельзя сказать о любезном нашем отечестве: в «нашей администрации нет места господству привычки, рутины и бессознательно принятых предрассудков,—наука, знание и достоинство ею руководят»... «Не было примера, чтобы у нас в России человек, приносивший относительно, так сказать, услуги отечеству, был оставлен без призрения»... [1]), «и без вознаграждения»—прибавим мы, преисполненные удивления к благотворным распоряжениям нашего правительства.

---

[1]) «Мертвые души». Рассказ капитана Копейкина. Глава X, стр. 393.

М. В. ПЕТРАШЕВСКИЙ.

О СПОСОБАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕННОСТИ ДВОРЯНСКИХ ИЛИ НАСЕЛЕННЫХ ИМЕНИЙ [1]).

Цена населенных имений ныне менее действительной ценности сих имений. Эта разница в цене имений и их стоимости гибельна для общественного благосостояния вообще. Всякий должен с этим согласиться, как и с тем, что ее нужно устранить; чем скорее это будет совершено, тем лучше. Причины сему: предоставление владения населенными землями одному только классу, исключительная малость капиталов, обращающихся на сию промышленность, неразвитие кредита и ощутительный недостаток мест и учреждений, содействующих к его развитию, неопределенность в будущем условий владения сими родами собственности, разные постановления, вышедшие в последнее 10-летие. Уничтожить вредное влияние вышеозначеных причин можно принятием следующих мер:

1. Предоставлением купцам права приобретать земли под условием делать обязанными крестьян, на сих землях находящихся, вместе с правом голоса и участия в дворянских собраниях в качестве землевладельцев и по делам, относящимся до обоих сословий, как землевладельцев. Единовременно с этим можно предоставить крестьянам право выкупаться за известную сумму. Вследствие сего по меньшей мере должно обратиться на приобретение земель до 500.000.000 руб. асс. и даже более купеческих капиталов. К облегчению способов приобретения населенных земель купцами на вышеозначенном основании может служить

1) Литографированная записка. Роздана Петрашевским в губернском дворянском собрании Петербургской губернии в феврале 1848 г., но обсуждение ее не было допущено. Напечатана с подлинника, исправленного рукой автора и находящегося в деле о петрашевцах. М. К. Лемке в «Былом», 1906, 4. *Ред.*

дозволение им делать ссуды денег дворянам под населенные имения.

2. Введением гипототических книг на том же основании, как сие существует в Пруссии.

3. Заведением кредитных земских учреждений (Kreditvereine), как в Польше.

4. Учреждением дворянских или, лучше сказать, земледельческих банков.

5. Равным уменьшением процентов на капиталы, платимых как кредитным установлениям за ссуду денег, так и платимых ими самими на капиталы, врученные их хранению. Эта мера также вдвинет огромные капиталы в оборот. От сего никто не потерпит, ибо может быть сохранено ныне существующее отношение между процентами, платимыми на капитал за ссуду его кредитными установлениями частным лицам, и процентами, платимыми кредитными установлениями за ссуду или отдачу им на хранение капиталов частным лицам.

6. Усилением библиотек, находящихся при уездных училищах, сочинениями, относящимися до сельского хозяйства и отраслей промышленности, с ним связанных, и предоставлением безвозмездного пользования сими книгами всем земледельцам и городским обывателям.

7. Учреждением сохранных касс во всех уездных городах и поручением приема взносов в сии кассы всем приходским священникам; эта мера также должна внести в общественный оборот значительные капиталы, ныне находящиеся без движения, а крестьянам дать возможность быть обязанными своему труду и благоразумию, а не странному пожертвованию других своим освобождением. Нравственная сторона этой меры, как развивающая дух предусмотрительности в низшем классе, весьма важна; в то же время она достойна уважения, как благонадежное, постепенно действующее, средство приготовления сих классов к пользованию дарами гражданской свободы и плодами своей свободной деятельности. Сверх сего, эта мера, равно как и допущение купцов покупать земли, населенные дворянами, для дворян важна тем, как в политическом, так и в экономическом отношении, что значительную часть тягости и неудобства, сопряженных с изменением настоящих отношений крестьянина и помещика, переносит на другие классы, и за уступку, более мнимую, нежели действительную, некоторого преимущества значительно вознаграждает за это дворян выгодами экономическими.

8. Учреждением при сохранных кассах mont-de-piété [1]) на тех же основаниях, как они существуют во Франции, с присовокуплением права принимать под залог некоторые земледельческие произведения.

9. Улучшением форм судопроизводства и надзора за административными или исполнительными властями. Таковые усовершенствования не могут не иметь влияния на ценность имений, как на все другое, чрез усиление кредита, наличного доверия между гражданами.

Меры эти, единовременно принятые в течение весьма непродолжительного времени, не только должны значительно увеличить ценность поземельной собственности, но и развить многие как нравственные, так и материальные силы в народе, находящиеся поныне в дремотном состоянии; положить начало самосознания и сознания своего общественного значения в тех классах, кои до сего были совершенно чужды этого; установить благосостояние общественное на началах прочных, истинных, согласных с местными условиями страны. Учреждения эти, развиваясь соответственно общим нуждам и потребностям страны, должны необходимо сделать богатство и благосостояние доступным всем классам посредством их труда и благоразумного употребления производительных сил природы, находящихся в их заведывании, и дать возможность всем в меру их сил быть действительными участниками всеобщего счастья и благоденствия.

Сделать пред лицом дворянского сословия С.-Петербургской губернии в общем губернском собрании изъяснение всех сих мер, бесспорно полезных не только тому одному сословию, к которому имею честь я принадлежать, но и всему обществу, мер, настоятельность нужды принятия которых очевидна, в подробности, соответственной их практическому назначению, чрез чтение подробного изложения всех сих мер, и словесно разрешить тогда же все недоразумения и вопросы разного рода, могущие возникнуть по сему предмету,— почту для себя приятной обязанностью, если на то будет изъявлено желание почтенного С.-Петербургского дворянства.

Дворянин С.-Петербургской губернии, земледелец и избиратель.

---

1) Mont-de-piété—ломбард, ссудная касса. *Ред.*

М. В. ПЕТРАШЕВСКИЙ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ К «КРАТКОМУ ОЧЕРКУ ОСНОВНЫХ НАЧАЛ СИСТЕМЫ ФУРЬЕ» [1]).

Мною было объявлено, что признаюсь в том, что признаю систему Фурье лучшею изо всех мне поныне известных социальных учений и что говорил о тех идеях Фурье, которые считал истинными.

В дополнение к сему честь имею объявить, что истинными и справедливыми идеями я считал идеи, не противные основным началам быта общественного. После того мне было объявлено, что фурьеризм нельзя принимать в том значении, как это было до февральской революции 1848 г. На таковом утверждении одном, удостоверение виновности г.г. фурьеристов не может быть принято ни в какое уважение, а именно на следующих основаниях:

1. Система Фурье излагается во многих сочинениях, не только не запрещенных, но положительно дозволенных иностранною цензурою. Так полное изложение этой системы, писанное самим Фурье и вышедшее в Париже, около 1828 г. 1-м изданием под названием «Traité de l'association domestique agricole» [2]) (в других изданиях оно известно под именем «Traité de l'unité universelle»), поименовано в каталоге книг Бемуара [3]), вышедших с 1828 г. и разрешенных иностранною цензурою. Кроме того, соч. Jules le Chevalier «Etudes sur la science sociale» [4]) тоже разрешено. Кроме сего, в каталоге

---

[1]) Предварительное объявление Петрашевского к «Краткому очерку основных начал системы Фурье», энергично утверждает позицию правоты и законности, занятую Петрашевским по отношению к суду. Дело № 55, ч. 5-я, т. I, л. 255—256. *Ред.*

[2]) Ch. Fourrier. «Traité de l'association domestique agricole». Besançon 1822. T. II. В собрании сочинений т. т. II, III, IV и V. «Theorie de l'unité universelle». Paris 1841. *Ред.*

[3]) Такого каталога не имеется в публичной библиотеке. *Ред.*

[4]) Jules le Chevalier «Etudes sur la science sociale. Theorie de Ch. Fourrier». T. II, 1831—1834. *Ред.*

дозволенных книг с 1828 г. по 1845 г. еще можно отыскать много других сочинений, изданных школою фурьеристов.

2. Система Фурье, как это можно усмотреть ниже, даже из одного краткого изложения ее начал, не говорю— из прочтения оригинального сочинения,—есть не что иное, как изложение способов соединения выгод частного хозяйства (ménage morcelé) с выгодами хозяйства в складчину, общего (ménage associé), или указания способов и выгод соединения всех отраслей промышленности, удобств жизни особняком (своим отдельным хозяйством) с удобствами жизни в складчину—общиною. Положим, есть некто в России помещик нескольких тысяч душ [1]), к тому же имеющий капитал для заведения фаланстера. Спрошу себя, вправе ли он завести фаланстер? Я скажу,—положительно вправе; даже нисколько не спрашивая о сем предмете никакого разрешения у правительства, в силу существующих законов, до собственности и пользования его относящихся, а именно в X т. Св. Гражд. Зак., в ст. о собственности, говорится: «Всякий имеет полное право располагать своим имуществом не во вред другим, т.-е. продавать, закладывать, делать постройки, изменения в нем такие, какие сочтет нужными». В другой статье того же X т. Св. Гражд. Зак. говорится, что «под недвижимыми имуществами разумеются ненаселенные и населенные земли, дома и т. п.». В IX т. Св. Гражд. Зак., в зак. о дворянстве, и в дворянской грамоте говорится, что «всякий помещик имеет право заводить в своем имении фабрики, заводы, переселять крестьян, продать их с землею или без земли» и вообще—пользоваться работой крестьян, не доводя их до разорения.

Руководствуясь этими законами, такой помещик вправе завести фаланстер, и как значительная экономизация труда не только не доведет его крестьян до разорения, но, напротив того, должна улучшить их быт, то на основании законов правительство не вправе вмешиваться в его действия.

Это же может сделать богач, купец, облекши все отношения лиц, вздумавших вступить в фаланстер, в форму договора, коим определялась бы и его часть в общем барыше

---

[1]) Говорю «несколько тысяч» потому, что в фаланстере должно быть около 2.000 чел. разного пола и возраста (см. ниже «Краткое изложение основных начал системы Фурье»).

и часть других участников, как трудом одним, так и капиталом.

Это может сделать столь же законно всякая компания на акциях. Объявлять дворянина, не имеющего двух тысяч душ, государственным преступником за то только, что он рассуждал о способах пользования правильно собственностью, значит: нарушать право собственности, уничтожать право договора, разрывать дворянскую грамоту.

3. Система Фурье есть не что иное как философия быта общественного (почти то же, что энциклопедия законоведения или естественное право, только потолковее обоих), одна из составных частей философии природы и философии вообще. Мне неизвестно закона, запрещающего заниматься философией вообще или философией природы, либо какой-либо ее частью и даже обнаруживать свое расположение к какому-либо философу, например, Канту, Гегелю, Платону и т. п., и стараться других убедить при случае в справедливости такого уважения. Отвечая на эту статью обвинения, скажешь: «Ну, можно ли после этого наукам процветать в России?»—и спросишь себя: «Неужели ты в Европе принадлежишь к кавказскому племени и живешь в средине XIX века?».

Это обвинение в нашем веке чуднее обвинения в прежние времена всякого занимавшегося естественными науками и т. п. в чернокнижии, волшебстве и т. п.

Приняв во внимание эти обстоятельства, делается очевидным, что поставление в вину последования этим идеям и распространения тех из них, которые не противны основным началам общежития, есть со стороны г.г. обвинителей дело прямо противузаконное.

4. Поставление же в доказательство того, что кто-либо умышляет бунт, то, что кто-либо разделяет идеи многие системы Фурье, показывает в этом человеке совершенное неведение этой системы. Эта система есть не только прямо система антиреволюционерная, т.-е. противная всякому перевороту посредством насилия, но такая, которая вообще реформам политическим, т.-е. перестановкам властей всякого рода, не придает почти вовсе никакого значения, ибо одна перестановка власти не может сама собой увеличить массы благосостояния общественного. В доказательство таковой ее антиреволюционерности, а следовательно, и стремления ее сохранить всякий существующий порядок—можно привести

множество мест из всех сочинений Фурье, как, например, «Theorie de l'unité universelle», «Le nouveau monde industriel», «La fausse industrie» [1]). Эти сочинения мною давно читаны. Г. Ханыков, недавно их читавший, на места соответственные без труда может указать. Я же укажу на соч. Considérant: «De la politique nouvelle convenant aux intérêts de la société moderne» [2]). В этом сочинении есть глава под названием: «De l'ésprit révolutionnaire dans la société moderne et des moyens sûrs pour son anéantissement» (в точности не помню названия сочинения, но по каталогу подробному, у меня в бумагах имеющемуся, могу легко на него указать).

Таким образом поставление признания идей Фурье многих хорошими в число доказательств преступного злоумышления есть, с одной стороны, дело противузаконное, с другой стороны—это обнаруживает еще совершенное невежество обвинителя. Вычурность, даже странность языка, которым написаны все сочинения Фурье, оригинальность взгляда, непоследование в изложении своих мнений обыкновенно принятым формам систематического или ученого изложения, резкость или даже пренебрежение, с которым везде отзывается Фурье о философах, политиках, моралистах, филантропах, политико-экономах, необходимость для того, чтобы понимать хорошо его, быть многосторонне и основательно образованным и иметь философское воззрение,—все это было причиною того, что его оригинальные сочинения читались немногими, а система его могла быть хорошо понята еще меньшим количеством людей, и того, что система эта вошла во всеобщую известность только в последнее шестилетие. Вот почему против нее в общем мнении, в людях, незнакомых с нею по самым сочинениям, признанным школою фурьеристскою хорошими, остаются до сих пор несправедливые против нее предубеждения.

Чтоб в г.г. следователях последние остатки предубеждений противу фурьеристов исчезли, считаю нужным сделать:

---

[1]) Ch. Fourier. «Théorie des quatre mouvements et des destinés générales». Lyon 1808. В собр. соч. т. I, Paris 1841. «Le nouveau monde industriel et sociétaire», Besançon 1828. В собр. соч. т. VI, Paris 1848. «La fausse industrie, morcelée, repugnante, mensongée et l'antidote, l'industie naturelle, combinée, attrayante, veridique, donnant quadruple produit», 2 т. Paris 1835.

[2]) V. Considérant. «De la politique nouvelle convenant aux interêts actuels de la société», 2-е изд., 1844.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ОСНОВНЫХ НАЧАЛ СИСТЕМЫ (УЧЕНИЯ) ФУРЬЕ.

Два обстоятельства сильно поразили Фурье в его молодости и сделали его тем, чем он впоследствии явился,—гением из гениев. Первое—потеря имущества во время первой французской революции и ужасы терроризма,—это заставило его ненавидеть всякое революционное движение. А неисполнение французской большой революцией ее блистательных обещаний для благосостояния общественного внушило ему пренебрежение ко всем политическим переворотам и реформам вообще. Другое обстоятельство, не менее сего его поразившее, была выброска в море целого груза корицы (canelle) с целью этим возвысить ее цену,—это сделано было в глазах его в бытность его приказчиком в одном из приморских городов,—это, как и вообще необходимость обманывать, в которую поставлен всякий купец, чтоб не обанкротиться,—убедила, что эта промышленность, эта торговля ведется неправильно, и что купцы по большей части ($^9/_{10}$) sont des êtres parasites,—живущие на чужой счет. Что все искусство торговли состоит в умении во-время прижать производителя и потребителя. Что они, собственно,—сводники, за свое сводничество чересчур много берущие.

Это направило ум его на рассмотрение явлений жизни общественной и внушило ему желание отыскать способы для устранения таких удручительных явлений из общежития.

Зная всю бесплодность нравоучения перед голосом страсти и внутреннего влечения, видя неосуществление у христианских народов после 1800-летнего проповедывания обязанности «любви к ближнему, как к самому себе» в жизни практической, удостоверяем будучи всем, что всякий человек пребывает под влиянием необходимости, обстоятельств, и что главным образом причина преступности человека лежит, так сказать, вне его, что она заключается часто в бедности, силе страстей, противоречии интересов одного лица с интересами другого, выгод семьи—с выгодами общими и т. п., что человеку хоть уже проповедуют о пользе добродетелей 5.000 лет, но он от этого лучше не сделался, страстей от советов не унял; что лучше не пытаться более переиначивать или искажать природу человеческую, чтоб ее приспособить к каким-либо формам быта общественного; что большая часть страданий людей происходит от неправильности их развития, и что поэтому источника всего худого не следует искать в природе человеческой, но в самом

устройстве житейских отношений, и что чрез сделание этих отношений правильными могут быть устранены все вредные явления. Чтобы это сделать, надо:

1. Чтобы выгоды всех были между собою тесно связаны.

2. Чтобы было довольство—материальное обилие средств удовлетворения потребностей.

3. Чтобы все в людях способности были правильно развиты, употреблены и направлены.

Разумеется, разрешение таких вопросов важных и сложных требовало методы новой и оригинальной. Надо было отбросить с пренебрежением всю прежнюю книжную мудрость. Решась на этот великий труд, он взял себе в руководители le doute absolu (недоверие ко всему, до него сделанному) и начал, как он выражается, заново разрабатывать область человеческого ведения и природу... Все подверг своему критическому анализу, нашел противоречие и нелепость в тех явлениях жизни общественной, которые существовали рядом тысячелетие,—и этого в них противоречия до него никто не заметил.

Прочесть его критический разбор жизни общественной, указание ее несообразностей, даже для человека без предрассудков, с хорошим философским образованием,—все равно, что заново родиться...

Когда я в первый раз прочитал его сочинения, я как бы заново родился, благоговел пред величием его гения; будь я не христианин, а язычник, я б разбил всех моих других богов, ...сделал бы его единым моим божеством...

Когда им такой разбор был сделан, ему уже нетрудно было притти к мысли о ф а л а н с т е р е, т.-е. общине, в которой соединялись бы все удобства частного отдельного хозяйства с удобствами хозяйства в складчину (общинного), все отрасли промышленности, как земледельческой, так и ремесленной и мануфактурной, все отрасли человеческой деятельности без различия (будет ли это деятельность, сопряженная с неудовольствием некоторым, т.-е. труд, как это обыкновенно понимают, или прямое удовольствие) нашли надлежащее применение и оценку, все способности человеческие получили правильное развитие и употребление [1]), все

---

[1]) Все в природе имеет свое специальное назначение. Человек хотя сравнительно с прочими животными кажется менее специальным, но в кругу человеческой деятельности всякий человек имеет свою специальность, к которой он призван самым устройством его организма. Впрочем это не про-

потребности естественные возымели соответственное удовлетворение, а тесная связь интересов всех между собою—всех членов общины—удалила всякую враждебность между ними, а обилие средств жизни дало всем возможность благоденствовать.

Определив таким образом то, что должен был выполнить фаланстер, ему оставалось устроить его, соответственно с таковым его назначением.

Первое, чем ему следовало заняться и чем он занялся, это было определение объема величины его. Так как промышленность земледельческая есть основа всех прочих промышленностей, то очевидно, что на нее следовало обратить внимание первоначально, чтоб определить величину фаланстера. При этом взгляде определение объема фаланстера, так сказать, само собой дается. Есть пределы, за которыми и при большом хозяйстве выгоднее становится завести новый центр земледельческий. Вот это наибольшее пространство земли, которое с выгодою может быть обрабатываемо из одного общего центра при большом земледельческом хозяйстве, и взял Фурье, для определения пространства земли, потребного под фаланстер; кроме сего, ему нужно было обратить внимание на то, при каком количестве людей может быть сделана: а) достаточная экономизация непроизводительного труда, б) можно надеяться найти в их способностях достаточное количество средств для удовлетворения полного всех важнейших потребностей таковой общины, в) соединены могут быть выгодно почти все отрасли промышленности, г) устранен может быть труд, не только непроизводительный, но прямо разрушительный, имеющий место при частном отдельном хозяйстве (ménage morcelé) и поглощающий большую часть сил в настоящем обществе, при раздробленности на частные хозяйства.

Таковые соображения привели его к заключению, что около квадратной мили должно составлять, так сказать, тер-

---

тиворечит тому, что иной человек может чувствовать влечение к двадцати, тридцати разным занятиям. Одинаковое развитие многих способностей, а тем более всех, есть одно из редких явлений. Человека, имеющего в равной силе все стремления и способности от природы, едва ли можно найти одного в десятках миллионов. Все в деятельности человека определяется известным развитием его организма. Спросите об этом либо физиолога или доктора хорошего,—он подтвердит мое мнение и скажет, что, напр., известное развитие органа зрения определяет талант живописца, темперамент его—род его живописи, так сказать внутреннее освещение зрачка его глаза—колорит его живописи.

риторию фаланстера, а около 2.000 человек должны составлять его население.

Не буду распространяться о выгодах, которые должны произойти от этого, от применения ко всему всех усовершенствований новейшей механики для облегчения труда человеческого и соделания всего дешевым. Если вычислить в деньгах огромность такой экономизации труда, она превзошла всякий вымысел...[1]).

Прочтите об этом у Фурье—в его «Traité de l'unité universelle», вам там все это было доказано математически, ...вы бы глядели... удивлялись... не верили глазам, что оно так именно... Тогда бы вы сами поверили, что это не мечта, не утопия, ...и согласились с тем, что самый последний из обитателей, или работников, в фаланстере будет счастливее... сильнейшего из властителей мира... Если прочтете, осудите нас, последователей Фурье, ...—не за пламенность, не за увлечение других к последованию этому учению, ...но, может быть, удивитесь нашей холодностью не по летам, нашему недостатку рвения, ...осудите за то, что мало было в нас увлекательной силы... Такое осуждение будет и законно, и справедливо...

Так вы видите, г.г. следователи, что Фурье нашел, сколько земли нужно под фаланстер, и сколько людей должно быть в него помещено...

---

[1]) Возьмем, что эти 2 тысячи чел. помещаются в 300 домах (по 7 чел. на дом); не говорю уже о том, как велика была б экономия, если б из материала, на такую постройку употребленного, устроить толково здание в несколько этажей, разместить сообразно с целями комнаты, но просто сдвинуть эти 300 домов вместе, — экономия, происходящая от одних смежных стен, даст возможность еще выстроить такие триста крестьянских домов. Взглянем на быт крестьянский,—мы найдем, что в каждой избе $1/_2$ дня хозяйка стряпает. Пища почти одна у всех; разве не может успеть то же состряпать 1 женщина на 10 домов? Таким образом ежедневно будет экономия 135 женских дней; считая рабочий день женский по 10 коп. с., будет в экономии труда на 4.927 руб.; сверх того, еще сохранится топливо и т. п.; от одного этого будет экономия до 7.000 руб. с. в год. Если эту методу экономизации распространить на все, ...выгоды неисчислимы. Если теперь в детских приютах ребенок окупает своей работою кушанье, то в фаланстере, при правильном развитии и направлении способностей, 10-летний ребенок не только окупит своим трудом все свое содержание, но даже может быть и излишек от сего,—во всех отношениях 10-летний фаланстериец будет развитее 15-летнего дитяти нашего общественного устройства.

Склонность детей в грязи пачкаться может быть употреблена для очищения огородов и т. п. Только надо возжечь охоту. Переборка фрукт, ягод может быть ими совершаема и т. п.

Это не разрешение вопроса или задачи, но только поставление ее к разрешению.

Когда есть земля, капиталы и люди, готовые вступить в фаланстерийскую общину—тогда является новый вопрос: как распределить их занятия, как установить вознаграждение каждому за труд и какое вознаграждение давать труду, накопленному предшествующими поколениями капиталу (le capital—ce n'est que du travail accumulé).

Естественный метод — которому как-то никто не хочет следовать—и дал Фурье способы разрешить этот, повидимому, неразрешимый вопрос.

Вот наблюдения, которые, я думаю, и вам случалось самим сделать, которые были для Фурье руководством для разрешения этого вопроса, а именно: 1) что если занимаешься не тем, к чему имеешь естественную склонность, то занимаешься этим лениво—и дело идет плохо, 2) что если занимаешься долго и постоянно одним и тем же делом,—если это будет занятие умственное, то приобретаешь настроение ума односторонне, если будет это труд механический, то будет одностороннее развитие известных органов или членов тела на счет других, например, у кузнецов руки развиты на счет других органов, у ткачей ноги и т. п., 3) что занятие уединенно от других не так весело идет, как в компании, 4) надежда заслужить одобрение за дела свои от других есть один из важнейших (stimulant) подстрекателей к деятельности и т. д., 5) что никто во всех частях какого-либо занятия—не бывает равносилен, совершенен и тому подобное.

Поэтому при распределении занятий Фурье следовало их распределить так, чтобы всякий 1) мог заниматься тем, к чему склонен, 2) переходить от одного занятия к другому, как только к сему почувствует потребность (каждые 1½ или 2 часа эта потребность к перемене занятий во всяком обнаруживается), 3) заниматься вместе с другими и даже теми, к которым он имеет более, так сказать, естественной симпатии, 4) быть уверенным, что его талантливость или достоинства справедливо оценятся и вознаградятся, 5) и чтоб распределение занятий было до-нельзя дробное.

Вот основание распределения всех занятий по сериям и по группам [1]) относительно всех родов человеческой деятельности.

---

[1]) Серией Фурье называет целый ряд занятий, например, садоводство; группой—вид этого занятия, например, воспитание вишен, груш.

Положим, что фаланстер учредился и жизнь фаланстерийская приняла должное течение, что распределение по способностям установилось, что всякий избрал себе соответственный род занятий. Теперь является вопрос о распределении вознаграждения за труд и за капитал, внесенный в общину фаланстерийскую. Вот как это совершается. Все занятия советом общины по выбору распределяются по степени их относительной важности и полезности. Определяется их отношение одного к другому. Так, за работы отвратительные, но необходимые (travaux immondes), чищенье отхожих мест, уборку навоза и т. п. полагается наибольшее вознаграждение. Совет же каждой отрасли занятий определяет то, какое вознаграждение следует положить за какую-либо ветвь занятий, и то, чего кто стоит по его талантливости...[1]). Время работы сосчитывается с каждого из принимавших участие в работе. Потом в конце года все произведенное в фаланстере сосчитывается и разделяется на три части, из которых $^4/_{12}$ отделяются тем, которые вложили свои капиталы, $^5/_{12}$ тем, кто работою одною участвовал, $^3/_{12}$ тем, кто по талантам заслужил дивиденд.

Потом сосчитывается все потребленное каждым фаланстерийцем в течение года. С оставшеюся затем массою ценностей (капиталов), им произведенной, он может поступить по своему произволу. Всякий может принимать участие в сотне разных занятий и как участник в них—получать вознаграждение—получать дивиденд с капитала.

Таким образом устраняется противоречие интересов, источник вражды и преступлений в обществе. Сношение же все, относящееся до удовлетворения потребностей членов фаланстера, управлением общим само производится.

Всякий в фаланстере вправе вести жизнь как ему угодно. Если он обладает капиталом достаточным, что может без труда обходиться, совершенно никто его не приневоливает чем-нибудь заниматься.

---

[1]) При этом должен быть предварительно сделан расчет, именно определен минимум, т.-е. сколько необходимо употребить разного рода ценностей (содержание) для удовлетворения последнего рабочего в фаланстере...

Этот минимум будет равен содержанию человека посредственного состояния.

Потом определится стоимость содержания среднего состояния людей—и, наконец, которых богатство допускает роскошь. Соответственно с этой расценкой вся ценность содержания фаланстерийцев должна определиться. Как это сделается, слишком много надо говорить и входить во множество мелочей, чтоб все это имело точность и неопровержимость аксиомы.

Капиталист, если его средства позволяют, может занимать несколько комнат и т. п. Хотите—вы можете обедать за общим столом. Нет—en petit comité—на это есть особые залы—или у себя в комнате одни: это все исполнится.

Если бы даже описать один день фаланстерийской жизни, то это превзошло бы рассказ тысячи одной ночи.

Заводя теперь фаланстер, пришлось бы несколько отступиться от этой программы. Ибо вступившие в него люди уже искажены предшествующею жизнью; так, например, первоначально работников для тяжелых работ пришлось бы нанять и дать им не дивиденд, а плату и т. п. Хорошее распределение занятий по способностям не могло бы иметь места.

Метода воспитания, означающая глубокое знание природы человеческой в Фурье, может быть применена и в первоначальном фаланстере.

По истечении пяти лет, а может быть, и скорее, после заведения первоначального фаланстера должно необходимо само собою установиться лучшее распределение занятий, ибо в течение этого времени могут во многих развиться способности, до того оставшиеся неразвитыми, по недостатку к сему способов. Между тем трудно полагать, чтоб в течение этого времени не завелись другие фаланстеры, и тогда могло бы, чрез перемещение лиц из одного фаланстера в другой, установиться распределение всех лиц по их способностям и их занятиям лучшее.

Еслиб у нас сделать испытание над методою воспитания по Фурье, воспитательные дома к сему представляют достаточно материалов, но людей к сему годных нет.

Так что наши воспитатели скорее уродуют детей, даже лиц высокопоставленных, нежели их развивают.

Вот в кратких словах изображение фаланстера—организации труда в общине по Фурье, вот та часть, за которую одну он заслуживает названия гения из гениев.

Всякому отцу, который желает, чтоб его дети не сделались нравственными уродами, я советую прочесть сочин. Considérant: «Education attrayante dédié aux mères de familles» (это 3-я часть его «Destinée sociale» [1]) и следовать этой методе воспитания. Результаты ее превзойдут ожидание. Этого сочинения прочесть достаточно, чтоб оставить тысячу

---

[1]) V. Considérant «Destinée sociale, exposition élémentaire et complète de la theorie sociétaire». Paris 1837—1838. 3 части в 2-х томах. Другое изд: »Theorie de l'éducation naturelle et attrayante».

предубеждений противу Фурье,—или прочесть «Traité de la science de l'homme» par Gabet [1]) в 3 ч.; если это сочинение по величине его читать покажется утомительно, то взамен этого можно прочесть брошюрку Briancourt'a, изд. в 1848 или 1849 г. «De l'organisation du travail» или «Fou du Palais Royal» [2]); оба эти сочинения в форме разговора излагают систему Фурье.

В ком существует ложное мнение о безнравственности этой системы, тот пусть прочтет «De l'immoralité de la doctrine de Fourier» [3]), изданное и отдельной брошюрой и в виде предисловия у второго издания полных сочинений Фурье при его сочинении «De l'unité universelle».

Те, кто обвиняют эту систему в безнравственности и т. п.—ясно сими утверждениями обнаруживают, что им неизвестна система ни из одного настоящего изложения этой системы—или знают ее из тех несчастных опровержений этой системы, которые в г. г. опровергателях обнаруживают отсутствие знания предмета, смысла или прямо в высочайшей степени недобросовестность.

Так, например, не следует никакой веры давать соч. Reybaud «Les socialistes modernes» [4]), соч. Cherbulet, соч. Franc, статьям об этой системе, всем без исключения помещенным в «Revue de deux mondes»—особенно—статьям Ferraire, статьям «Journale des Débats»—даже соч. Proudhon, который взвел много небылиц на эту систему, чтоб скрыть свои покражи из нее.

Впрочем, не одна организация работ или занятий в фаланстере даст Фурье право на название гения из гениев—взгляд его глубокий на природу человеческую, разбор естественных склонностей человека, страстей—вот в этом он превосходит всех философов.

Взгляд его на историю, кратко очерченный, хорошо разработанный, может объяснить множество явлений из прошедшей истории человечества—и даже будущей. Так, например, то явление в промышленности — именно господство больших капиталов и капитала вообще — под именем Féodalité

---

1) G. Gabet. «Traité élémentaire de la science de l'homme, considerée sous tous ses rapports». Paris 1842. T. II.

2) V. Considérant «Education attrayantedédié aux mères». 1845. Его же «Immoralité de la doctrine de Fourrier».

3) F. Cantagrel. «Le fou de Palais Royal, dialogue sur la théorie phalanstérieue». 1845.

4) L. Reybaud. «Etudes sur les réformateurs modernes». *Ред.*

industrielle—им было предсказано еще в 1800 году, когда еще оно вовсе не обнаружилось.

Так, им ясно определено, что наш век есть эпоха гарантизма, т.-е. стремления ко взаимному обеспечению.

Читать его сочинения и их перечитывать всегда наставительно—в его сочинениях разбросаны тысячи мер, общеполезных предложений — по всем отраслям промышленности—по части кредита... это—сокровище, поднесь еще не начатое, — Chambres d'asile — его мысль, комнаты ночлега тоже... Это—источник живительной жизни общественной—всякому, кто только желает быть полезным гражданином, изучай его... и кто думает быть государственным человеком в настоящем смысле этого слова... прочти... отдай должное уважение этому великому уму; уметь чтить достойное почитания не малого требует—это значит самое одержать самую трудную победу—победить гордость своего разума, поддавить в себе чувство самолюбия своего ума... и проникнуться нелицеприятным чувством любви и уважения к истине... это дело не громкое, скромное... но великое...

Не знаю, удовлетворительно ли изъяснил это высокое учение... Если что неясно, поставьте вопросительный знак: разъясню это подробнее.

Позвольте мне еще сказать несколько слов о себе... Не осудите этот невольный вопль... всем глубоко растерзанного сердца... Если я виновен тем, что сообщал эти идеи душам благородным, нашел в них сочувствие—не я возбуждал его... свойство истины таково, что она, как острый клин в мягкое тело, проницает во всякий светлый ум... Если то потрясение, которое испытал я, когда пред мной открылась гнусная провокация, и много в перспективе, о чем думать страшно... если тысяча мыслей, столкнувшись вдруг, привели меня в беспамятство... если волнение от негодования... чуть не произведшее разрыва в сердце... лишившее меня слова... было принято вами за запирательство... если неосторожное выражение радости, что вы не сомневаетесь в моей невинности;—если в ней твердая уверенность... смешно было бы мне быть в ней неуверенным—и вы чуть не решились поддавить ее наложением на меня оков...

Все это за увлечение других... Но где уже эти мои преступления... преступления друзей, мною увлеченных... Не забудьте, что, быть может, не одно это пагубное влияние устранено было моею личностью... и, если мне невинному за все это... суждено в будущем надеть оковы... Сократ своей

рукой поднес чашу смертной отравы... Дайте же мне—я вас прошу сам надеть мои оковы... чтоб ознакомиться поскорее... с этим будущим членом моего организма, с этим дорогим ожерельем, которое выработала мне мудрость Запада, отыскал мой любознательный ум, принес дух века, всюду проницающий—а надела на меня торжественно любовь к человечеству... У меня нет силы исполинской,—к труду механическому не привык... дозвольте прошу вас, как милости... к ним попривыкнуть, чтоб, идя по пыльному пути, не тяготить своею слабостью своего спутника... Быть может, судьба... поместит меня рядом с закоренелым злодеем, на душе которого лежит 10 убийств... Сидя на привале и полдничая куском черствого хлеба, мы поразговоримся, я расскажу ему, как и за что меня постигло несчастье... Расскажу ему про Фурье... про фаланстер—что и за чем там и как объясню, отчего люди злодеями делаются... и он, глубоко вздохнув, расскажет мне свою биографию. Из рассказа его я увижу, что много великого сгубили в этом человеке обстоятельства, душа сильная пала под гнетом несчастий... Быть может, в заключении рассказа он скажет: «Да, еслиб было по-твоему, если так бы жили люди, не быть бы мне злодеем»... и я, если только тяжесть цепи позволит, протяну ему руку—и скажу: «Будем братьями»—и, разломив кусок хлеба, ему подам его, говоря: «Есть много я не привык—тебе более нужно, возьми и ешь».—При этом на его загрубелой щеке мелькнет слеза и... подле меня явится... не злодей, но равный мне несчастный, быть может, тоже вначале худо понятый человек... Акт очеловечения совершится, и злодея не будет... Так увлекать нигде не буду, я лишен возможности... надо быть добрым, чтоб быть полезным и любимым... Если кто изранит ногу в дороге, если кого поразит болезнь, некоторые знания в медицине, что я имею, послужат в пользу товарищам моего несчастия. Я перевяжу его гнойные язвы... уврачую их... и между мною и собратьями по страданиям установится союз любви священной...

И тут я буду виновен в увлечении... Если мне на пути придется умереть от истощения... Партия осужденных остановится... ближайший ко мне колодник-злодей, мною очеловеченный, с грустью преклонится к моему бездыханному телу... думая, что это легкое головокружение, желая разогнать его, потянет меня за руку... и скажет уныло: «Вставай, мы тебя с соседом подведем»... но, видя мою безответность, к сердцу приложит ухо, станет ждать его биения... Встре-

воженный остановкою начальник партии... подойдет... спросит, в чем дело... и чтоб удостовериться в действительности смерти... кольнет хорошо самое мое тело шпагою... или испробовать меня штыком солдату... увидя бесполезность таких мер, призвания к жизни... велит отвязать от цепи и зарыть в пустой степи...—Меня зароют... несколько колодников бросят пригоршень несколько земли... несколько очеловеченных мною злодеев надо мной прольют слезы искреннего участия... широкая степь... слезы колодников-злодеев, мною очеловеченных, над трупом моим... это лучше церемониального марша—мавзолея... этого, надеюсь, никто у меня не отнимет... Позвольте надеть цепи, чтоб с ними заранее свыкнуться.

Уверенность в совершенной моей невинности—во мне не поддавима... осудить меня можно, но не сделать виновным... ков злодеев хитер... но бог — не в силе, а в правде.

Жду всего спокойно... слова спасителя, на кресте умирающего, раздаются в ушах моих... и спокойствие предсмертное нисходит в мою душу...

М. В. ПЕТРАШЕВСКИЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ, ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ [1]).

«Honni soit qui mal y pense».

Как более всех из заключенных (из которых многие могли объявить себя социалистами) знающий о социализме—считаю долгом сделать по возможности отчетливое объяснение об этом предмете, дабы ложные предубеждения, которые можно предполагать во вред социализму существующими,—совершенно исчезли—и все, относящееся до сего дела, пришло в надлежащую ясность. Я не разделяю мнения Marmontel'я или Montaigne'я, который говорил: «Если бы держал в своей пясти все истины, он никогда бы не разжал ее, ибо человечество этого не стоит». Пусть узнают истину хоть только пятеро, если нет способов ее сообщить большему количеству людей. Но к делу.

Под социализмом разумеют вообще учение об обществе,—а социалистами именуются все, занимающиеся вопросами быта общественного... Какой живой член общества—спрошу после этого—не социалист в некотором отношении, сам того не ведая, как мещанин во дворянстве Мольера, который весьма поздно узнал, что говорит прозою?

Социализм не есть изобретение новейшего времени, хитрая выдумка XIX века, подобная пароходу, паровозу или светописи—он всегда был в природе человека и в ней пребудет до тех пор, пока человечество не лишится способности развиваться и усовершенствоваться.

Слабость при рождении, нужда посторонней помощи—вот что заставило человека спокон-века, с тех пор, как человек стал человеком, сойтись в общества.

---

[1]) Дело № 55, ч. 5-я, т. I, л. 257—258.

Человеку общество столь же необходимо, как пища, огонь и воздух... Чем ниже развитие человека, тем форма быта общественного и всех гражданских и хозяйственных и т. д. отношений проще... В беспрерывных метаморфозах, перерождениях и преобразованиях и заключается вся жизнь природы—в ней нет покою, существует одно движение—от века равномерное.—Человек тоже изменяется, потребности его тоже—и общество должно тоже изменяться соответственно его потребностям.

В человеке, как и во всех прочих существах природы, как в физическом, так и в нравственном отношении находится способность ассимиляции, т. е. приспособления всего к себе[1]).

Эта способность, это стремление приспособить общество к своим нуждам и потребностям и есть то, что называется социальное стремление—стремление к усовершенствованию быта общественного. Оно - то и движет общественное развитие... Оно-то обществу даст силу, цвет и свежесть...

Не сразу понято было человеком правильное его отношение к природе (Зороастр уже говорит о возделывании земли,—насаждении дерев, как о деле благом и божеству угодном). Долго люди, соединяясь в общества, еще пребывали между собою на военном положении—право личной мести служит этому подтверждением.—Убеждение, что мир и согласие лучше войны и вражды, постепенно вырабатывалось в человечестве—тысячелетиями кровопролитий. Около времен Христа стало проникать в человеческое сознание это убеждение. Сперва это выразилось отрицательно, как, например, в римском праве, в форме нравственного предписания в словах «neminem ledi» (не делай вреда другому). Потом, когда уже человечеству мало стало довольствоваться одним таким отрицательным нравоучением, тогда был пророчен Христом догмат «любви к ближнему», «прощение обид» (подоставь другую щеку, когда тебя ударили в одну), невменение преступления.

С этих пор социальные стремления, скрывавшиеся в природе человеческой, получили для себя внешнее выражение, формулу, лозунг. Таинства Елевзинские и Мемфиса разобла-

[1]) Без этой способности ни человеку, ни другому существу, как индивиду, как существу отдельному, существовать не было возможности. — Человеку пища не иначе может оказаться питательной, как, приспособившись к потребностям его желудка, посредством его пищеварения. Если этого не совершится, расстройство, страдание будет в его организме.

чились, покров с Изиды был снят, и загадке, тяготившей тысячелетия человечество, найдена разгадка. И социализм получил право полного гражданства в обществе человеческом...

Ничто не входит в разумение, не пройдя сперва через чувства. Это—вечный закон, обнаруженный Лейбницом, справедлив в отношении ко всем нравственным или умственным явлениям жизни человеческой... Социализм в своем развитии представляет собою подчинение этому закону.

Формула, данная Христом социализму, есть более желание, нежели—предписание. К ней, как и ко всему нравоучению Христа, относятся слова его: «Могий вместити да вместит».—Этими словами задача социализма определительно выразилась, т.-е., чтоб в отношениях между людьми заменила любовь прежнюю вражду. Все последующее развитие христианства и практической философии есть не что иное, как стремление догмат этот сделать действительностью, желание—делом. Я говорю, христианства, потому что костры инквизиции были не его дело, а тех, кто его употреблял как орудие.

Что первые христиане были социалисты по чувству (les socialistes par le sentiment), т.-е. коммунисты,—прочтите деяние апостольские—вы в этом убедитесь сами. Вы из них увидите, что у них существовал на деле коммунизм—общность владения, как и у ессесеян, одной еврейской секты, им по времени предшествовавшей.

Что основной догмат коммунизма—общность собственности—у них был вначале весьма строго соблюдаем,—этому подтверждением может служить то, что Анания и его жену за утайку небольшой суммы денег и при отдаче ими всей цены их имущества постигла смерть. Но так как коммунизм первых веков христианства был только порыв доброго чувства, состоял в пожертвованиях богатых в пользу неимущих братий, но не проявлялся в виде правильных хозяйственных учреждений, не обнимал всех отправлений общественной жизни, от того он и остался явлением или тенденцией, малозамеченной до последних времен, в первобытном христианстве.

Не надо силы ума необыкновенной или замысловатости воображения чрезвычайной, чтоб, остановясь на догмате «любви к ближнему, как к самому себе», суметь дойти до коммунизма; это должно совершиться само собою—если только в вас возникнет желание этому догмату добросо-

вестно следовать... Если я полюблю ближнего как себя, разве могу ему отказать в праве пользования моим добром, собственностью, имуществом наравне с самим собою... Нападая на коммунизм, как на доктрину, нападают на догмат основной христианства и воспрещают его внешнее обнаружение... Осуждая его, вы лишаете человека права на доброе дело... вы вводите в общество мертвящий общество эгоизм... Зачем мне богатства, если сам ими пользоваться не стану и другим не дам... к чему они, к чему обилие всех средств к жизни, когда ими не в ком жизни поддержать.

Это же самое лаконически (Иннокентий, как говорят) обвиненный в проповедывании коммунизма выразил в этих словах: «Коммунисты говорят—что твое, то мое, я же говорю—что мое, то твое», т.-е. признался в коммунизме и объявил этими словами, что он мирный коммунист, социалист по чувству, христианин времен апостольства.

С первых веков христианства по сие время всегда среди отцов церкви находились последователи или приверженцы коммунизма. Если б понадобилось подтвердить это цитатами в «Le vrai christianisme» и «Voyage en Icarie» Cabet [1]), могут указать на множество их.—Так, например, ими являются Августин в его сочинении «Cité de Dieu» и Фенелон в его сочинениях [2]).

В жизни практической социальная тенденция, получившая со времен Христа право полного гражданства в обществе, обнаружилась разнообразно, так, например, в соединении с аскетизмом или учением об умерщвлении плоти—выразилась в разных монашествующих орденах, рыцарских орденах,—орден иезуитов следует считать тоже одним из ее обнаружений. Их колонии в Парагвае—опыт социально-неудачный, ибо индеец-колонист был принесен в жертву иезуиту и ордену иезуитов. Со времени утверждения завета «любви» идет ряд утопий или теорий социальных, которые представляют идеал надежд и желаний заветных человечества.

Все, что в человечестве лучшего, будет ли то душа, сильно любящая ближнего—нежное сердце, будет ли это глубокий ум, желающий все взвесить и смерить,—все это тяготится его окружающей действительностью, стремится отыскать ту

---

1) E. Cabet. «Voyage en Icarie». Paris 1840. 2 т. «Le vrai christianisme suivant Jésus Christ». 1846. *Ред.*

2) Августин (Аврелий), отец церкви, 354—430 гг. Фенелон, французский писатель, 1651—1715, автор «Басен», «Разговора мертвых», «Телемака». *Ред.*

форму быта общественного, при которой блаженство для человека было бы возможным. Так всегда человек, недовольный действительностью, ищет в мечте утешение или, не имея силы из материалов настоящего создать лучшее, им желаемое—переносит свои желания в другой мир и в нем дает полный разгул своему творчеству. Вот вам психическое истолкование и Нового Иерусалима в Апокалипсисе Иоанна Богослова, и Сведенборга [1]) видений, и «Arcanes celestes», мистической книги, довольно нелепой, в последнее время вышедшей.

Между этими всеми утопиями или теориями и их появлением в современной действительности находится органическая связь. — В республике Платона — рабство необходимое условие быта общественного, ибо во времена Платона везде оно было, в Морелли «Basyliade» [2]) существует обязательность труда. В системе Фурье самый акт труда превращается в дело привлекательное, в наслаждение.—Не буду вам описывать, как догмат любви христианской, в течение 1.800 лет изменяясь, преобразился в формулы настоящего социализма. Как явления политические, наука, промышленность и жизнь общественная вырабатывали то ту, то другую идею, вносили то тот, то другой элемент в сокровищницу нравственного достояния человечества. Для этого нужно изложить внутреннюю историю духа человеческого, представить пред вашими глазами весь органический процесс его развития. Это могло бы дать, быть может, несколько весьма интересных страниц, листов, пожалуй, книгу. Но чтоб писать о многих предметах важных—у меня только один лист этой бумаги: вся библиотека в пособие к этому труду содержится в нескольких унцах мозга, неприятно потрясенного настоящим делом... Что верить мне нельзя своей памяти, этому много и вы имеете доказательств.—Обращусь прямо к социализму новейших времен.

Тихо и медленно развиваются идеи в человечестве... Не сразу признано человеком право своей личности во всех

---

1) Эммануил Сведенборг, ученый, теософ и духовидец (1688—1772). Его главное сочинение, вышедшее в 1749 — 1756 гг., было переведено с латыни и издано в Париже J. F. E. le Boys des Guays в 16-ти томах, под названием «Arcanes célestes de l'écriture sainte ou parole du seigneur dévoilés ainsi que les merveilles qui ont été vues dans le monde des ésprits et dans le ciel des anges». Первые 5 томов вышли в 1841, 1843, 1845, 1846, и 1847 г.г. *Ред.*

2) N. Morelly—коммунист XVIII в. «Naufrage des îles flottantes ou Basiliade de célèbre Bilpai» 1753. *Ред.*

отношениях. Отброшено в сторону умерщвление плоти, и всесторонность развития стала для него делом законным. Не вдруг понял он, что общество существует для человека, а не человек для общества—и получил правильное воззрение на отношения свои к обществу; уразумел естественную связь, существующую между всеми человеческими обществами, и только в последние сто лет наука указала ему на тесную связь, существующую между всеми явлениями природы, влияние их на него и дала знать ему в его очередь меру его влияния на природу. С этих пор только человечество перестало во всем в природе видеть для себя присутствие враждебных ему сил, элементов, сговорившихся разрушить его бренное существование, но стало видеть силы благодатные, готовые служить, покорно подчиняясь велению его произвола—и избавить его от нужды в труде удручительном. Это было совершено XVIII веком и вместе с тем задан на разрешение векам следующий вопрос. «Поставить человека в правильное отношение: 1) к самому себе, 2) к обществу (другим людям), 3) к целому человечеству и 4) к природе». Нашему веку, как ближайшему, и следует приняться за разрешение этого вопроса. Социализм и есть попытка его разрешить. (По мнению моему, фаланстер Фурье, т.-е. организация работ в общине, и вполне разрешает этот вопрос [1]). Поэтому, как вы усмотреть можете, социализм вообще не есть прихотливая выдумка нескольких причудливых голов—но результат развития всего человечества: это—догмат христианской любви, ищущий своего практического осуществления в современной нам действительности... Honni soit qui mal y pense.

Так поставлен был этот вопрос в сфере философского мышления; поглядим, как современная нам действительность наводила на разрешение этого вопроса человечество. Этим объяснится и разность социальных учений и историческая необходимость их появления.

В состоянии современной промышленности всего отчетливее обнаружилась еще неуничтоженная враждебность отношений, которая была при начале учреждения человече-

[1]) По Фурье в фаланстере: 1) человек делается воспитанием — именно гармоническим развитием его способностей, 2) тесная связь интересов приводит всякого ко всем в правильное отношение, 3) все отношения между фаланстерами и вся деятельность человечества — промышленная, мирная, дружеская, а не враждебная, 4) земля должна быть и будет тогда правильно обработана и возделана.

ского общежития.—Борьба капиталов против капиталов, так сказать, пожрание большими капиталами или капиталистами маленьких, принесение личности человека в жертву капиталу—вот что представляет собою настоящая промышленность взорам даже посредственного наблюдателя.

Она являет собою: анархию совершенную, т.-е. применение совершенное начал либерализма и его правила laisser faire, laisser aller. Благодаря сему существует неправильное распределение произведений, то-есть богатств, мы видим совершенную нищету, отсутствие возможности удовлетворить первым нуждам при совершенном обилии средств к этому. Видим голод при урожае; дороговизну товара при существенной его дешевизне и т. п. — Социализм в современном обществе, вытекающий даже не из общего философского воззрения, мною вышеприведенного, но из простого наблюдения действительности, и есть не что иное как реакция духа человеческого противу анархического—разрушительного для быта общественного—влияния начал либерализма—вышеозначенных противуестественных явлений в жизни общественной [1]).

Вот почему большинство сочинений социальных и носят на себе названия «organisation du travail», «organisation de l'industrie», «organisation de la production» и т. п.

Причина, почему социализм, при всей благодарности своего направления и стремления, так много подвергался и подвергается еще поныне в Европе превратным истолкованиям и даже площадным ругательствам и насмешкам, заключается в том, главным образом, что он есть учение (начала), прямо противоположное либерализму, и что, восставая противу тех злоупотреблений, тех законами дозволяемых по сие время разбоев, которые могут производить в настоящее время в обществе Ротшильды и другие владельцы капиталов в деньгах через скупы (accaparage)—биржевую игру (agiotage), он таковые безнравственные действия представляет в настоящем их виде и вредит этим удаче их спекуляций подобного рода.

---

[1]) Почти в сих выражениях мною было отвечено г. Черносвитову на его старание доказать тождество либерализма и социализма. Если вам благоугодно будет, то я присовокуплю сие к ответу моему на вопрос о направлении сего разговора г. Черносвитова.

Социализм требует устранения этих явлений из жизни общественной.

Либералы и банкиры суть властители (феодалы) в настоящее время в Западной Европе. Одни господствуют влиянием на мнение общественное, другие же—через посредство биржи и промышленности—по своему произволу распоряжаются явлениями жизни общественной. Нет ни одного волнения народного, от которого при видимой сперва потере не понажился хороший банкир — подобно Ротшильду — от одного уменья выждать время и возможности перенести потерю, для других разорительную, для него ничтожную.

Вот закулисная тайна либералов и банкиров. «Journal de Débats», «Constitutionnel», «Presse», изъяснение действительной причины гонению, воздвигнутому Thiers et C⁰ на социалистов,—его Association de la propagande antisocialiste, которая для социализма—в чем я не сомневаюсь, да и все социалисты, вероятно, со мною согласны,—принесет более пользы, чем вреда,—его распространит более.

Все социалисты или социальные учения между собою в одном сходятся—именно они единогласно говорят: «Должны же быть какие-либо неправильности в настоящей организации общественной (так говорят они, глядя на окружающую их действительность), ибо естественным потребностям человека нет соответственного удовлетворения; и что следует сделать общественные отношения более правильными». Во всем остальном они расходятся.

Все различие социальных систем протекает от точки их исхода от тех явлений жизни общественной, которые их поразили наиболее, от того взгляда, который они получили на причины таковых нерадостных явлений. Такой взгляд определяет и направление, и характер их систем, и способы, предложенные к разрешению общественных вопросов.

Так, например, коммунисты (их множество подразделений)—социалисты по чувству, — мы выше об них уже несколько говорили,—горестно пораженные видом нищеты ужасной, рядом с чрезмерным богатством, усмотрели в собственности, капитале, главный источник всех общественных бедствий и в замене частной собственности общею увидели способ к уничтожению всех зол, упустив из виду, что бедность не от того происходит, собственно, что есть богатые, а от того, что в человечестве еще до сих пор производится менее ценностей, нежели сколько того общественные потребности требуют; и забыли еще необходимость скопления больших капиталов для изобретений и движений промышленности. Их формула: «à chacun selon ses besoins».

Так St. Simon'исты, видя, что множество людей способных и талантливых пропадает, не принеся ни себе, ни другим пользы надлежащей, придумали для устранения этого иерархическое распределение людей по способностям их, предоставив право сего распределения главе их. В формулу себе выбрали выражение: «à chacun selon ses capacités». А из их учения сделали нечто подобное вероучению. Reformist'ы и прогрессисты — тоже социалисты, но не имеющие определенного учения. Первые считают всякую реформу полезной, как пробуждающую общество от апатий, другие же говорят, что «задача общества есть беспрерывно усовершенствоваться, но что определенной формы быта общественного, лучшей отыскать нельзя, что человечество, само развиваясь, должно ее само произвольно (d'une manière spontanée) произвести и не влиться». Их должно считать последователями учения Ferguson и Condorset «du progrès indéfini».

Во всех социальных сочинениях, к каким бы они школам ни принадлежали, находится весьма много предложений или мер прекрасных, удобоприменимых ко всем отраслям как частного хозяйства, так и общественного и государственного. Можно положительно сказать, что всякая социальная книга, даже посредственная,—если только не Селифаном Гоголя будет читаться,—может навести на множество полезных промышленных предприятий, весьма выгодных и для предпринимателя и для общества, часто не требующих значительных капиталов.

В защиту г.г. социалистам против обвинения могут служить те же законы, на которые я ссылался в объяснении системы Фурье, именно—законы о собственности, относящиеся до прав состояний, и, сверх того, законы, относящиеся до прав на обязательства в разных видах, как, например, договор товарищества, круговой поруки и т. д.

Еще считаю долгом отстранить от социалистов обвинение, неправильно на них делаемое, что будто они произвели последнюю французскую революцию. Нет, произвела ее политика худая Louis Philippe, шедшая наперекор общественным потребностям, упорство Guizot против reforme électorale, неуважение требования de la petite bourgeoisie, партии Odillon Barrot. Движением воспользовались republicains pures. Louis Philippe пал от общего к нему равнодушия. В будущей законодательной палате, через 3 или 4 года от сего, социалистов партия будет сильна. Еще ни один настоящий социа-

лист в управлении не был. Движение же национальностей произведено либерализмом, ибо социализм есть доктрина космополитическая, стоящая выше национальностей; для социалиста различие народностей исчезает, есть только люди. Движение национальностей естественно сосредоточиться вредно успеху социализма, как отвлекающее жизненные силы общества от предметов, могущих увеличить массу общественного благосостояния, и заставляющее прибегать к войне, оружию.

Вот в главных чертах изображение того, что есть социализм и новейшего времени социальные стремления. Вы из предшествовавшего могли усмотреть, что это есть живая творческая сила общества, гений усовершенствований, догмат христианства, внедряющийся в жизнь практическую.

Что чем выше и совершеннее общественное развитие, тем более предметов общего пользования, общего владения (коммунистических учреждений) или тем дешевле пользование ими складчинно (par association), как, например, плата за места в театре. Бросьте ваши взоры на храмы божьи, где всякий бесплатно молится, гульбища, комнаты приюта, монастыри, казармы, публичные заведения для воспитания и т. д.,—везде, где только есть какое-либо удобство, доступное многим, вы найдете дух социализма. Взгляните на ваши деревни, на вашего мужика, при всей нерадивости не дошедшего до той нищеты, которая бы его лени соответствовала,—ищите причину—вы найдете, что предел полей, общее пользование землею, и есть этому причина.

Если мне удалось это разъяснить вполне, то льщу себя надеждой, что скажете тем, кто будет впредь нападать на социализм, что поступать так, значит—нападать на все то, что есть живого и живучего в обществе, разрывать связи общественные, лишать всякого права на доброе дело, вводить мертвящий эгоизм в общество и в нем водворять тишину могилы и безмолвие кладбища!!!. Скажите ему, что прошедшее невозвратимо, что ныне никого—даже киргиза, кочующего по широкой степи барабинской,—не прельщает доблесть Святослава—спанье в болоте на потном войлоке и питье вина пополам с кровью из черепа еще теплого неприятеля; что закон природы неизменен... Пагубна кичливая гордость быть фосен-

гаром [1]) в отношении к целому обществу! «Имеяй уши да слышит...»

Что я уже делал, писавши о социализме,—я желал представить дело как оно есть, в истинном свете, старался утвердить торжество истины над предрассудками,—я занимался пропагандой. В этом смысле, но не более, я считаю постыдным отречься от своего дела, от пропагаторства! «Honni soit qui mal y pense».

---

[1]) Фосенгары — секты в Индии — обожатели богини смерти — убийство считают своим mission на земле.

И. Л. ЯСТРЖЕМБСКИЙ.

ИЗЛОЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ [1]).

С одной стороны, распространявшаяся бедность именно в самых промышленных государствах, как-то: в Великобритании и Франции, и распространявшаяся именно сообразно развитию промышленности, с другой стороны—успехи политической экономии побудили многих мыслителей доискиваться причины такого факта и придумывать различные средства если не совершенно его уничтожить, то, по крайней мере, смягчить.

Необходимо для пояснения того, что будет следовать о системах социальных и коммунистских, изложить вкратце результаты исследований об этом предмете политико-экономов: Sismondi, Bavet и, главнейшим образом, Malthus'a. Вот они:

Нищета есть самая высшая степень бедности; она может существовать только в государствах довольно развитых, где, с одной стороны, промышленность достигла той степени, что может производить в изобилии все предметы, служащие для удовлетворения человеческих потребностей, с другой стороны—где необходимо есть целый многочисленный класс людей, который не может достигнуть до обладания этими предметами и тем более страдает, что чувствует всю их необходимость, будучи и довольно развит и видя других обладающих этими предметами; в орде диких американцев нищих в строгом смысле нет, потому что все равно бедны [2]).

---

[1]) Ястржембскому, который в течение 5—6 собраний у Петрашевского, осенью 1848 г., давал популярное объяснение «основных начал политической экономии», следственная комиссия предложила изложить «в кратких, но резких чертах системы главных коммунистов и социалистов». (Дело Аудиториатского Департамента Военного Министерства, 4-го стола I отд., за 1849 и № 55, ч. 23-я, л. 9—14.) *Ред.*

[2]) Черносвитов, между прочим, показал: «г. Ястржембский говорил, что у диких народов нет бедности». На замечание Черносвитова, что некото-

Что пауперизм есть следствие развития промышленности таким образом, как оно случилось в нынешней цивилизации, и что поэтому при обширном развитии промышленности не только что всякая бедность более высказывается от противоположности, но что необходимо развитие промышленности рождает класс бедный,—это видно из следующего обстоятельства.

Все предметы, удовлетворяющие человеческим потребностям, которые составляют богатство, производятся посредством участия следующих лиц: 1) предпринимателя промышленности, 2) землевладельца, 3) капиталиста, 4) работников. Предприниматель промышленности покупает участие всех прочих производителей и таким образом становится единственным хозяином произведенного предмета; он поэтому *торгуется* с прочими сопроизводителями,—его прямой интерес: произвести как можно больше возможно лучших вещей, и чтобы это обошлось ему как можно дешевле, потому что в таком только случае он продаст своих произведений потребителям как можно больше и получит возможно больше барыша. Следовательно, предприниматель промышленности имеет интерес, прямо противоположный с прочими производителями,—он находится с ними в *конкуренции* (техническое слово); тем не менее, однако, должно заметить, что чем больше в государстве дельных предпринимателей промышленности и чем они больше получают барыша, тем промышленность больше развивается, больше образуется капиталов и больше вещей, удовлетворяющих человеческим потребностям,—государство, как говорят, *процветает*. Но неизбежное следствие этого есть увеличение класса нищих, который тем более страдает, чем промышленность более развита. Это бывает вот почему:

Предприниматель промышленности *торгуется* с другими производителями; если землевладелец не получит от предпринимателя промышленности за свою землю такой цены как хочет, он ее будет эксплоатировать сам—то же можно сказать и о капиталисте,—да притом предприниматель промышленности знает, что лучшие покупщики его произведений суть землевладельцы и капиталисты, и что чем больше они будут иметь доходы сами, тем больше у него купят,—

рые киргизы так нуждаются, что продают детей за муку, Ястржембский и Спешнев сказали, что это не бедность. «Я замолчал, потому что не понял, что же бедность».

по этим причинам он их бережет, но с работниками другое дело; если работник не продаст предпринимателю своей работы, никто у него ее не купит, если же не захочет ее продать по цене, сходной для предпринимателя, тот прибегнет к машинам; отсюда то первое следствие, что предприниматели промышленности обыкновенно дают работникам такое содержание, которое достаточно для их физического только поддержания,—это доказано еще в пол. эк. Say'a.

Дальше доказано ясно Malthus'ом, что люди имеют стремление к размножению и обыкновенно умножаются сообразно средствам своего содержания, что чем меньше человек требует средств для своего содержания и если сообразно этим уменьшенным средствам умножается,—тем больше подвержен бедствиям, пример—Индия, Китай, где люди, если имеют горсть рису и хижину, размножаются, также—Ирландия, но в этих странах при малейшем неурожае бедствия бывают ужасны. Далее, доказано теориею и опытом, что бедняки больше всего размножаются.

Итак, работники в промышленных государствах, с одной стороны, принуждены довольствоваться очень скудными средствами содержания, с другой—по самой природе человеческой размножаются быстро, и потому предложение их работы бывает больше, и она становится дешевле, отчего происходят неисчислимые бедствия.

Нечего говорить, что опыт и теория доказали совершенную невозможность победить пауперизм различными мерами, которые предлагали политико-экономы, как-то: общественная благотворительность, poor law (в Англии), кассы сбережения, техническое образование.

При этаких результатах теории и практики появилось много предположений и исследований о лучшем пособии пауперизму—о пресечении его в корне.

Все мыслители, которые более добросовестно занимались этим предметом и старались решить вопрос общественный (социальный, названный так в противоположность политическому; в последнем исследуется решение о лучшем образе правления, в социальном—об устройстве счастья общества, société, и, преимущественно, частных лиц, посредством хорошего образа производства промышленности),—все эти мыслители называются социалистами. Из них первый и важнейший—St. Simon. Другие—более практики, нежели мыслители, по большей части без всякого знания дела, видя, что есть бедные и богатые, стара-

лись обобрать последних и для своего оправдания приводили различные софизмы; из них важнейший есть Прудон, он может быть почитан их представителем.

Еще одно важное различие между социалистами и коммунистами состоит в том, что первые почитают причиною бедствий работников начало конкуренции, на котором основана теперь промышленность, противоположность интересов между производителями, и стараются заменить его другим началом, именно — ассоциациею, солидарностью интересов. Другие, наоборот, проповедуют раздел имуществ под различными видами и отвергают всякую собственность.

Прежде их появившийся Fourrier, но развивший свою систему почти в одно с ними время, должен быть от них отделен совершенно; краткое изложение хотя очень недостаточно, но укажет существенное это различие.

1. Simon de Sismondi в своей политической экономии заметил уже, что, несмотря на пользу от введения машин, с этим введением много работников теряют работу, а следственно, и барыш, и средства содержания; он предлагает ограничить возможность вводить машины и предлагает род организации труда под наблюдением правительства, следовательно, должен быть отнесен к социалистам.

2. St. Simon. Начало St. Simon'a есть то, что он отдает преимущество труду работников перед производительностью капиталов и земли и поэтому требует подчинение капиталистов влиянию работников и постепенного уничтожения частного владения землею; по его мнению, землею должно владеть все общество под наблюдением правительства; промышленность он советует устроить так, чтобы всякий мог заниматься сообразно своим способностям и получал вознаграждение по мере того, что произвел: à chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses oeuvres — вот его девиз. Судьею в распределении этого возмездия и определителем или учредителем работ, по его мнению, должно быть правительство или власть, autorité.

3. Louis Blanc, Louix и прочие этой школы желают, во-первых, организацию труда, т.-е. вмешательство власти в дело промышленности для того, чтобы оградить работников от притеснения предпринимателей, и, главное, желают, чтобы работники, кроме сдельной платы, участвовали в барышах предприятия. Далее они говорят, что капитал сам по себе не производит ничего, если к нему не будет приложена работа, а следовательно, желают подчинения интереса

капиталистов интересу работников. Они провозглашают, что всякий член общества, лишь бы имел желание трудиться, имеет право на содержание от общества—droit au travail, на безвозмездное воспитание детей и т. д.

4. Proudhon идет еще далее: он и его последователи отвергают вовсе поземельную собственность. Далее Proudhon нападает на излишние барыши предпринимателей промышленности, капиталистов, землевладельцев, высших чиновников, артистов с большим талантом и т. д.; вообще вся его система одушевлена завистью к богатым; он предлагает нелепый способ мерять цену всех предметов посредством труда и ценить, например, как труд первостатейного живописца, так и работу землекопа числом рабочих дней. Далее, чтобы уравнять имения и распределить общественные тяжести равномерно, он и его последователи предлагают, чтобы общество приносило пособия бедным посредством обеспечения им права на труд и минимума содержания и умеривало бы великие фортуны или имения посредством уничтожения частной поземельной собственности, и введение так называемого impôt progressif, т.-е. платежеподатей соразмерно увеличивающегося с доходом—например, кто имеет 1.000 руб. дохода, платит по 3%, кто—10.000, тот—по 30%, и т. д.

Все эти системы более или менее ложны и могут вести к вредным последствиям; должно, однако, заметить, что один Prudhon отличается особенною резкостью выражений, незнанием первых начал политической экономии и софизмами. Его опровергал Tiers, но недостаточно. Tiers обнаружил, по моему мнению, тоже много незнания в этом деле. Должно еще заметить, что для России все эти системы совершенно посторонни: сельское население хотя в крепостном состоянии, но не нищенствует, потому что крепостное состояние есть вид, хотя грубый, ассоциации,—в строгом смысле интересы барина тождественны с интересами крестьянина; чем последний богаче, тем лучше первому, да и закон обязывает помещика наделить крестьянина землею. Относительно работников на фабриках, в случае чрезвычайного уменьшения платы за работу они все обращаются к земледелию, так что в России, собственно говоря, нет пролетариев, ни пауперизма. Это явление повторяется и в других европейских государствах, например, в Голландии и Пруссии, и везде заметно сравнительное отсутствие нищеты от одних и тех же причин, например, в Пруссии сельское население наделено землею.

Систему Ассоциации в ближайшем ее применении к ману-

фактурной промышленности старался ввести практически в Северо-Американских Соединенных Штатах Owen; он даже в 1818 году на этот предмет получил от покойного прусского короля значительное денежное вспомоществование, но система его рушилась.

Вот, сколько мне известно, главнейшие черты социалистских и коммунистических учений.

Но учение Fourrier существенно от них отличается, никаким образом нельзя его изложить вкратце, поэтому высказанные здесь черты могут обозначить характер его учения, но никак не его сущность. Лучше всех сократил его учение, по моему мнению, Briancourt в краткой брошюрке «Organisation du travail» [1]).

Fourrier, сознавая верховный творческий разум и его единство, заключает, что всякое существо создано богом с запасом средств, совершенно приличным для свершения его судьбы; его афоризму — l'attraction est proportionnelle à la destinée, и поэтому, рассматривая судьбу человека на земле, он видит, что ему должно здесь жить, т.-е. удовлетворять своим потребностям, влечениям или, как он называет, страстям, посредством своей деятельности. Fourrier спрашивает себя, может ли быть, чтобы эта деятельность могла составлять несчастье человека, как это обыкновенно думают, и отвечает, что нет, но что, наоборот, деятельность эта должна составить его счастье, если же видим противное, т.-е. что промышленность производится с тяжелым трудом, то это происходит оттого, что человек не умеет взяться за дело, и поэтому предлагает способы сделать промышленность привлекательною — travail attrayant.

Не стану оправдывать здесь слова «страсти», употребленного Fourrier,— в теперешнем моем положении на это у меня нет довольно сил,— скажу только, что оно употреблено вовсе не в дурном смысле: Fourrier говорит, что природные человеческие влечения, называемые им страстями, тогда только производят зло, когда дурно направлены, если же они развиваются гармонически, тогда от них происходит добро. Отсюда и его система называется harmonie,— на гармонии она вся устроена.

Далее Fourrier говорит, что если по его системе производить промышленность, то она принесет возможно большие количества богатства и будет иметь следствием вместе пред-

---

[1]) Math. Briancourt. «L'organisation du travail et association». 1847.

упреждение чрезмерного умножения населения. Здесь упрекают его в безнравственности, потому, что он ввел в свое учение l'amour libre. Не стану опровергать этого упрека, он опровергается сам при малейшем исследовании учения Fourrier, скажу только, что он вовсе не принуждает к бессемейной и развратной жизни, а только свободу развода в супружестве доводит до крайних пределов, и что при его системе нет проституции и быть не может.

Fourrier не только допускает собственность поземельную, пользование капиталом, но вообще оставляет неприкосновенными все теперь приобретенные права; он не проповедывает равенства, напротив,—выводит счастье человечества из гармонического сочетания этих неравенств.

Далее, он не только не советует восставать против правительства, но даже воспрещает думать о перемене образа правления, порицает везде либералов и упрекает их за их покушения, отдаляющие только эпоху введения повсеместно его системы, и отдает преимущество монархическому образу правления перед другими.

Наконец средств для этого введения он ищет преимущественно у особ владетельных.

Далее еще говорит, что религиозное чувство есть естественное в человеке, и не только допускает бессмертие души, но, по моему мнению, лучше всех его доказывает.

Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ [1]).

УЧЕНИЕ ФУРЬЕ.

Передавая другим это учение, в двух случаях был бы я совершенно виновен; во-первых, если учение это запрещенное. В таком случае, не входя в разбор сущности этого учения, я был бы уже виноват тем, что говорил о том, о чем не имел права, и ничто не могло бы мне послужить оправданием. Во-первых, я также был бы виновен, хотя бы и в меньшей степени, если бы учение это, не будучи запрещенным, заключало в себе какие-нибудь начала, противные тем, которые служат основою государственной жизни моего отечества. В этом случае, будучи, так сказать, прав юридически, я был бы виновен нравственно. Но сочинения, в которых излагается учение Фурье, не были запрещены нашею цензурою, ибо были в продаже в книжных лавках и значились в каталогах, куда не допускается название книг запрещенных. Так основное сочинение Фурье: «Theorie de l'association domestique agricole», где содержится все его учение, так что как прочие сочинения Фурье, так и сочинения его последователей содержат в себе лишь сокращение из него. Сочинения о системе Фурье—Golet и Jules le Chevalier—также допущены в продажу.

Чтобы оправдать себя и нравственно, я должен доказать, что учение Фурье не содержит в себе ничего противного началам государственной и частной жизни в России.

Для этого я не стану делать полного изложения его учения, ни доказывать его истинность; но представлю только те основания, на которых оно построено, и рассмотрю те из его положений, которые касаются начал, отвергаемых комму-

---

[1]) Данилевский, признанный знаток фурьеризма, по предложению Петрашевского в марте 1848 г. излагал систему Фурье на его «пятницах». (Дело №, 55, ч. 15-я, л. 17—33.) *Ред.*

нистами, сен-симонистами, с учениями которых учение Фурье не имеет ничего общего.

Основная мысль Фурье, служащая краеугольным камнем всем его выводам, есть следующая: всякое существо, одаренное силами, приводящими его в движение, подчинено неизменным законам, по которым эти силы должны проявляться. Так как эти законы как неотъемлемая принадлежность, так сказать, внутреннее требование самих этих сил, вытекающее из самой природы их, то, находясь в подчинении этим законам, всякое существо должно находиться в гармоническом состоянии. Если существо это есть сознательное, то такое гармоническое состояние будет составлять для него счастье, т.-е. всегдашнее довольство собою и всем окружающим. Это выражает Фурье в следующей афористической форме. Внутренние влечения каждого существа соответственны с его назначением (les attractions sont proportionelles aux destinées).

Но в такое состояние гармонического равновесия каждый разряд существ не может притти разом, а только, так сказать, после известного числа колебаний; так что во всем цикле существования каждого разряда существ можно отличить два периода: период хаотический, когда посторонние влияния нарушают правильный ход законов, которому должен быть подчинен этот разряд существ, и период гармонический, когда эти законы, получив перевес над посторонними возмущающими влияниями (influences perturbatrices), дают стройный, ненарушимый порядок всем проявлениям существ, которыми они управляют. Чем совершеннее разряд существ, чем, следовательно, обширнее и многостороннее сфера его соприкосновений с внешним миром, тем продолжительнее для него хаотический период,—подобно тому, как чем чувствительнее устроены весы, тем долее не могут они установиться. Ежели это существо есть сознательное, одаренное столь разнообразными душевными и телесными потребностями и находящееся в соотношении со всеми явлениями внешнего мира—как человек, то едва ли может оно притти в состояние гармонического равновесия путем бессознательным, так сказать, само по себе; а должно для этого прежде сознать, открыть путем науки, в чем состоит для него это гармоническое состояние, и тогда уже сознательно поставить себя в это положение. Если бы даже стечением каких-нибудь счастливых обстоятельств человек само собою, случайно пришел к такому состоянию гармонии, то, не зная законов, на которых оно

основана, малейшее враждебное влияние снова вывело бы его из этого положения—и он не знал бы, как его возвратить, потому что не знал, на чем оно основывалось; он находился бы, если можно так выразиться, в состоянии неустойчивого равновесия.

Итак, если наука должна открывать законы гармонического устройства междучеловеческих отношений, говоря другими словами, законы человеческого счастья,—в чем же и где искать этих законов?

Как при всех изысканиях ума человеческого, так и тут лежат перед ним два пути: путь априористический и путь апостериористический. При первом берется какая-нибудь идея, почитаемая аксиоматическою, за исходную точку, и из нее выводят, как следствие, всю систему науки. Доселе метода эта удалась только в применении к математике, ибо основные идеи ее суть действительные, неоспариваемые аксиомы и средства, ею употребляемые при ее выводах, не допускают ошибок. В применении ко всем прочим отраслям человеческих знаний—метода a priori дала ложные результаты—не посчастливилось ей и в применении к наукам социальным.

Различные принципы принимаемы были за основы общественного устройства. Таким априористическим принципом было, например, равенство, принимаемое философами XVIII в. и доведенное до крайних результатов новейшими коммунистами. Но почему равенство есть основной закон—коренной догмат, на котором должны быть основаны отношения людей,—никто и не думал этого доказывать, между тем как это требовало бы очень сильных доказательств, ибо видимость и опытное знание наше этому догмату противоречат. Не только между людьми, но и во всей природе видим мы только ряд неравенств во всех отношениях. Положим даже, это порядок вещей, при котором отношения людские были бы основаны на равенстве, что только в этом человек жаждет не равенства, не свободы, а счастья, а между тем никто из приверженцев теории равенства не доказывал и не думал доказывать, чтоб оно необходимо влекло за собою счастье—да трудно было бы это сделать. Равенство, по их мнению, есть необходимое требование человеческого разума, и во что-бы то ни стало надо его достигнуть, принося, таким образом, отвлеченной идее в жертву и жизнь и счастье людей, подобно тому, как языческие народы приносили человеческие жертвы богам своим, которые также были олицетворенными отвлечениями их разума.

Сколь неудачно было применение априористической методы ко всем отраслям человеческих знаний, за исключением математики, так, напротив, оказалась богата драгоценными результатами метода апостериористическая, или опытная, в руках естествоиспытателей, которым удалось уже при помощи ее разоблачить много тайн природы, постигнуть многие из законов, управляющих мирозданием. Думая применить эту методу к отысканию законов, управляющих междучеловеческими отношениями, некоторые ученые, как, например, Аристотель и новейшие политико-экономисты, стали анализировать устройство настоящих и прошедших обществ, дабы таким образом вывести общие законы. Эта метода, не имея вредных влияний умозрительной методы, не довела однакоже ни до каких важных результатов—и понятно отчего.

Естествоиспытатели, наблюдая природу, могли открыть законы ее, ибо в ней все по этим законам происходит, в ней все уже пришло в гармоническое состояние, которого человеческому обществу предстоит еще достигнуть. Метода, избранная этими учеными, была верна, но ложно избран предмет анализа. Сверх всего она была неполна.

Самое общество рассматривалось учеными, державшимися этой методы, с ограниченной точки зрения, со стороны его политического устройства и общих экономических начал, им управляющих; те же ежедневные, домашние, так сказать, будничные отношения людей между собою, которые только для поверхностных наблюдателей могут казаться ничтожными, а которые в сущности играют самую важную роль в вопросе человеческого счастья, всеми были оставлены без внимания. Такое исключительное обращение внимания на политическую сторону жизни имело неисчислимые вредные влияния на ход человечества, было причиною стольких кровавых событий. Объяснение такого заблуждения в развитии человеческой мысли должно искать в образе жизни древних греков, у которых жизнь политическая сливалась с жизнью частною— от них получили новейшие народы преемственно свое образование. Пока Бэкон не освободил положительные науки от римско-греческой ферулы, они не делали никаких успехов. В науках же общественных, несмотря на изменение обстоятельств, греческий взгляд оставался до сих пор, и потому они, идя ложным путем, не сделали никаких успехов, пока Фурье не вывел их на истинную дорогу. Метода, употребленная им для этого, следующая:

Для определения законов междучеловеческих отношений

имеем мы два источника наблюдений самого человека: и те формы общежития, в которых находим мы его теперь, и те, в которых показывает нам его история. Формы общежития доселе всегда изменялись и по сущности своей могут изменяться еще, природа же человека всегда оставалась постоянною и в своей сущности никак измениться не может. Имея два данные, которые должно привести в взаимную соответственность, так сказать, приладить друг к другу, очевидно, должно прилаживать то из них, которое изменить есть возможность, к тому, которое переменить не в нашей власти. Следовательно, дабы определить законы гармонического устройства междучеловеческих отношений, должно анализировать природу человека и по требованиям ее устроить ту средину, в которой она должна проявляться.

Предмет, на который должен быть направлен анализ человека, можно еще точнее определить. Так как все междучеловеческие отношения суть проявления деятельных способностей человека, то для узнания законов, управляющих этими отношениями, и нужно анализировать только эти деятельные способности, не входя в рассмотрение прочих, как, например, умственных, которые показывают человеку, каким путем достигнуть своих целей, но сами не заставляют его стремиться к этим целям. Так, для открытия законов устройства паровых машин нужно анализировать только свойства упругости паров, и можно оставить без внимания все прочие.

Деятельные способности человека, т.-е. коренные стремления его духа и тела, приводящие в движение все существо его, называет Фурье *страстями*, давая, следовательно, этому слову не то значение, в котором его обыкновенно принимают. Под именем страстей разумеет Фурье и все последователи его причины человеческой деятельности, а вовсе не те воспламенения, те разрушительные порывы чувств, которые, затемняя рассудок, побуждают человека употреблять все средства к их удовлетворению,—на языке Фурье это не страсти, а злоупотребления страстей (recurences passionelles). Как причины деятельности, т.-е. как силы, страсти сами по себе ни добры, ни злы, а безразличны, но могут привести и к добру, и к злу, смотря потому, как будут направлены и какова середина, в которой должны они проявляться. Вся задача общественная, следовательно, будет состоять в том, чтобы так устроить междучеловеческие отношения, чтобы страсти одних людей не сталкивались враждебно со страстями других; чтобы удовлетворение стремлений одного чело-

века не влекло за собою нарушение интересов другого; другими словами: заменить борьбу частных интересов между собою и интереса частного с интересом общим—всегдашним совпадением этих интересов. Сделать так, чтобы то, что служит к удовлетворению моих стремлений, не только не вредило бы никому другому, но было бы согласно с выгодами всех и наоборот.

Какие же это коренные стремления человека, коренные страсти (passions cardinales), как их называет Фурье? Он насчитывает их двенадцать.

1) Пять страстей материальных: страсти зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.

Фурье называет эти пять страстей или, правильнее, пять классов человеческих стремлений—материальными, и так как он хочет, чтобы и они имели свое удовлетворение, то противники его системы говорят, что он материализирует человека. Но, вспомнив, что к числу этих страстей Фурье относит стремление человека к изящным искусствам, склонность к путешествиям, любознательность вообще и преимущественно любовь к занятиям опытными науками, ремеслами и вообще промышленностью,—легко убедиться, что это обвинение основано только на одной игре слов, т.-е. в том же силлогизме два разные значения одному и тому же слову говорят: «Фурье хочет, чтобы материальные страсти были удовлетворяемы, следовательно, Фурье проповедует материализм», не разбираясь, что понимает Фурье под своими материальными страстями. Правда, Фурье находит законным стремление человека носить тонкое белье, вместо домашней холстины, одеваться в красивые ткани, вместо дерюги, жить в удобных, хорошо убранных комнатах, а не в землянках или мазанках, питаться вкусною пищею, а не черствым хлебом, но только с тем, чтобы для достижения этого он не обижал других, не забывал о высших потребностях своих,—и с этою-то целью открыл он такое экономическое устройство обществ, в котором бы это не только было бы всегда возможно, но чтобы иначе, т.-е. дурными путями, это было бы невозможно—дабы избавить человека от самого искушения делать зло. Может быть, предлагаемые им средства, столь же безвредные, как и самая его цель, недостаточны для достижения этой цели, может быть, он ошибался,—но, во всяком случае, что же преступного в его намерении?

2) Четыре страсти, названные Фурье общественными, потому что они служат связью между людьми, соединяя их

в группы разных свойств, это суть: 1) дружба или, правильнее, по смыслу, который придает Фурье этому слову, приязнь—товарищество, 2) честолюбие, 3) любовь, 4) родственность (familisme).

3) Кроме этих девяти страстей Фурье принимает еще три, которые называет распределяющими (passions distributives ou méchanistes).

Он дает им довольно странные, впрочем весьма верно выражающие их свойства [sic] названия: 1) composite ou exaltante, 2) cabaliste ou rivalisante, 3) papillone ou engrenante.

Их легче описать, чем определить. Первая—composite—побуждает человека одновременно удовлетворять нескольким потребностям, заставляет его любить впечатления сложные, которые действуют разом на душу, приводят ее в приятное состояние, при большой силе этих впечатлений—в восторг. Требование этой страсти выражается бессознательно желанием, чтобы во всем одно другому соответствовало, чтобы вкусный обед был и великолепно подан, чтобы и общество и разговор были при этом, приятная хорошая музыка и т. п. Вторая—cabaliste—заставляет человека находить удовольствие в контрастах, искать везде какого-нибудь рода интриги; она есть причина любви к игре, к пари, к лотереям, она же производит соревнование и соперничество. Третья—papillonne—требует для своего удовлетворения перемены занятий, производит непостоянство во вкусах и вообще есть причина, заставляющая нас любить разнообразие.

Из анализа свойств этих трех распределяющих страстей вывел Фурье предлагаемый им способ производства работ и вообще основал всю свою систему, ибо этот анализ прямо ведет к сериарному закону—условие sine qua non—всякой гармонии. В чем состоит роль этих страстей, легче всего увидать из примера. Для того, чтобы дать сражение, нужно, во-первых, чтобы были организованы боевые единицы—эскадроны, батальоны и т. п., во-вторых, эти единицы—эти группы—выражаясь языком Фурье, расположить и привести в действие по известному плану. Так точно и при организации индустриальной [1]) должны быть составлены индустриальные единицы—группы,—которые образуются какою-нибудь из пяти материальных страстей при помощи одной или не-

[1]) Слово индустрия и производные от него принимает Фурье в самом обширном значении, включая под это понятие не только собственно промышленную деятельность, но и научную и художественную.

скольких общественных; эти последние придают отличительные характеры тем отношениям, которые существуют между членами одной и той же группы. Так, например, характер группы, основанной на честолюбии, совершенно другой, чем в группе, основанной на дружбе,—в первой господствует дисциплина и подчиненность, во второй—совершенная бесцеремонность и равенство отношений.

Таким образом составленные группы для успешного действия должны войти во взаимную связь и расположиться по известному плану. Это-то распределение групп и приведение их в действие—так сказать, индустриальная тактика—основывается на свойствах и на требованиях трех распределяющих, движущих страстей, почему они так и названы. Ежели прочие страсти действуют не в подчинении этим трем страстям, они по большей части производят беспорядок—не могут сами быть удовлетворены и причиняют своим столкновением с страстями других людей зло и вред; напротив того, проявляясь под руководством этих трех страстей, они производят гармонию. Цель, к которой стремятся пять материальных страстей, есть роскошь, понимая под этим словом, сообразно толкованию Фурье, не только собственно так называемую материальную роскошь, но еще здоровье (которое Фурье называет внутреннею роскошью), образование и утончение нравов. Цель, к которой стремятся четыре общественные страсти, есть образование групп или, другими словами, составление общественных связей. Наконец, цель, к которой стремятся три распределяющие страсти, есть составление серий, т. е. гармоническое расположение всех групп—приведение всего в естественную систему.

Все эти двенадцать страстей, сливаясь в одно, производят новую страсть—унитеизм—высшее из стремлений человеческих, подобно тому, как семь цветов радуги, сливаясь, образуют белый цвет. Унитеизм есть стремление ко всякому единству и в разных своих степенях является как патриотизм, как любовь к человечеству и, наконец, как чувство религиозное.

После этого слишком недостаточного очерка идей Фурье о страстях, да позволено мне будет обратить внимание на то, как несправедливо объявление, делаемое против его учения, что оно провозглашает свободу страстей. Во-первых, слову страсть, как было замечено выше, Фурье придает значение, совершенно отличное от обыкновенного. Так, например, мщение, зависть он не признает за нормальные страсти, по-

тому что они не суть основные построенные двигатели человека.

Страсть, по его понятию, есть всегда присущая человеческому организму сила, приводящая его в деятельность, есть основание его потребностей. Так, человек имеет стремление возвышаться—каждый на избранном им поприще—следовательно, честолюбие есть коренная сила души, есть страсть по понятию Фурье. Человек чувствует постоянно потребность дружбы, любви, родственности—даже и тогда, когда не имеет предметов, к которым бы относились эти чувства. Но имеет ли человек постоянную или хотя периодическую потребность к мщению, ищет ли кто-нибудь непременно мстить за что бы то ни было, для того только, чтобы мстить, завидовать чему бы то ни было, для того только, чтобы завидовать—как любят, для того, чтобы любить? Напротив того, каждый рад, когда ему не за что мстить и нечему завидовать. Эти дурные чувства являются в человеке или от действительного нарушения его интересов материальных или нравственных или от чрезмерного развития одной из страстей в ущерб другим. Причину таких явлений, называемых Фурье récurences passionelles, находит он в негармонических развитиях человеческих стремлений. Во-вторых, и тем страстям, которые принимает он за нормальные, не думает он давать безусловной свободы, а хочет, чтобы они уравновешивали и умеряли друг друга действие в такой середине, где бы всегда служили к пользе и добру—чего думает достигнуть применением серьезного закона к деятельности человека и особливою системою воспитания, основанной на этом же законе.

Для достижения предположенной цели, т.-е. для отыскания такой общественной середины, в которой бы не существовало противуположности интересов и в которой бы человек мог удовлетворять всем своим законным стремлениям, не мешая этим удовлетворению потребностей других, нужно чтобы все двенадцать коренных страстей могли быть удовлетворяемы. Из них пять материальных имеют своею целью роскошь. Следовательно, необходимо, чтобы количество материальных богатств было для этого достаточно. Если посмотрим на теперешнее экономическое состояние обществ, то легко убедиться, что этого необходимого условия еще не существует. Весь годовой доход Франции, статистика которой хорошо известна, не превышает 7.000.000.000 франков. Ежели его разделить поровну между всеми, то на каждого

придется немногим менее чем по 200 франков (около 170 р. ассигнациями)—доход, который, очевидно, не только не может доставить роскоши, но и довольства. Отсюда уже прямо следует нелепость, не говоря уже о несправедливости, всех теорий, думающих улучшить положение одних, отнимая от других.

Но возможно ли вообще доставить всем не только довольства, но даже роскошь, как того желает Фурье? Есть ли возможность в такой степени увеличить производство? Многие решают этот вопрос отрицательно. Мальтус утверждает даже, что средства к жизни или, что все равно, количество производства увеличивается в пропорции арифметической, между тем как народонаселение увеличивается в пропорции геометрической и что, следовательно, всеобщее обеднение есть конечная судьба человеческого рода. Дабы решить, кто прав, Фурье или Мальтус, посмотрим, от чего зависит количество производства материальных богатств? От следующих трех условий: 1) от количества материалов, могущего быть доставляемым природою, 2) от средств науки обращать этот материал в формы, примененные к потребностям человека, 3) от экономического устройства обществ, от чего зависит возможность пользоваться данными природы и средствами науки. Мне кажется нечего доказывать, что первые два условия решают вопрос в пользу Фурье, т.-е. что и материалу в природе достаточно, и что наука уже и в теперешнем ее состоянии, не говоря о будущих ее открытиях, даст все нужные средства, чтобы увеличить производство богатств до безграничного [1]). Следовательно, все дело за экономическим устройством обществ. Как бы велика ни была масса производимых богатств, оно всегда может оказаться недостаточным при неэкономическом потреблении этих богатств. При теперешнем же разделении хозяйств по семействам— способ потребления есть самый неэкономический, какой только можно придумать. Давно известный факт, что ежели один человек употребляет 1.000 р. на прожиток в год, то двое, согласясь иметь общее хозяйство, будут жить точно так же, употребляя не 2.000 р., а меньшую сумму, например, 1.700 р., и что эта экономия увеличивается с увеличением числа соединяющихся хозяйств. Какова же должна быть экономия, когда 300 или 400 семейств согласятся соединить

---

[1]) В черновом доказательства эти приведены, но по краткости времени не переписаны.

свое хозяйство в одно общее, большое хозяйство. Такое соединение отдельных хозяйств в одно общее и есть то, что Фурье и последователи его называют ассоциациею.

В каждом хозяйстве готовилось прежде кушанье на отдельной кухне; очевидно, что количество дров, употребленных на это, могло бы сварить и втрое большее количество кушанья—при том же устройстве печей. Ежели уже 300 или 400 таких кухонь заменить одною, где все могло бы быть устроено по правилам науки, то это количество горючего материала уменьшилось бы не втрое, а по крайней мере вдесятеро. Притом, сколько рук и сколько времени было бы выиграно, и к тому же стол был бы лучше, ибо был бы приготовлен людьми, знающими дело, чего, конечно, нельзя ожидать от всех 300 или 400 прежних поваров, кухарок. Сверх этого, стол был бы разнообразнее и лучше применен к разным вкусам—ибо готовился бы, как в гостинице, в больших размерах.

Каждое семейство имело прежде свой амбар, свою кладовую, свой погреб, всегда дурно устроенные. Вместо этого может быть устроен один амбар, один погреб, одна кладовая, где опять-таки все будет соображено с данными науки, приняты все меры к предохранению от порчи и пропажи сохраняемых в них продуктов. Такие примеры можно бы увеличить до бесконечности. Но выгода такого соединения хозяйств оказывается не при одном сохранении и потреблении. При самом производстве в большем размере все усовершенствованные открытия науки могут быть вполне применяемы, всякая часть может быть вверена знающему дело человеку, тогда как при отдельном хозяйстве каждый должен смотреть за всем, что знает и в чем никакого толку не понимает и где, по скудости средств, нет возможности делать улучшений, требующих или долгого времени для своей оплаты, или значительных издержек, или специальных познаний.

Таким образом ассоциация, позволяя применение всех средств науки к производству и сохранению материальных богатств, позволяя более экономический способ потребления их, позволяет через это достигнуть довольства и роскоши и таким образом соответствует цели пяти материальных страстей. Вместе с этим ассоциация также соответствует и стремлениям четырех общественных страстей, ибо приводит людей в более близкие отношения между собою, удовлетворяет человеческой склонности к общежитию. Затруднение только в том, как предупредить ссоры, долженствующие,

повидимому, возникнуть в столь значительном обществе людей, живущих в столь близких отношениях. Самая многочисленность его даст для этого средства.

Если пять человек, вообще довольно сходных в своих наклонностях, но противоположных друг другу в двух или трех каких-нибудь отношениях, живут вместе, то, так как нельзя удовлетворить каждого—они должны делать взаимные уступки и, если они не очень уступчивого характера, они будут тяготиться друг другом. И это потому, что они составляют искусственную группу,—по сходству их в некоторых отношениях соединили мы их и в тех, в которых они не сходны. Но если бы жило вместе 1.000 человек—эту несоответственность в группах было бы гораздо легче устранить. Конечно, не найдется ни одного предмета вкуса и занятий, по которому бы все 1.000 человек разнствовали между собою; вероятно, таких различий не отыщется более 50 или 60. И так как средства 1.000 человек значительнее, чем средства пяти, то всем этим различиям можно удовлетворить, ибо тут, вместо того, чтобы удовлетворять каждого члена общества, нужно удовлетворять только каждую группу из 17 или 20 человек, сходных между собою в каком-нибудь отношении.

Таким образом члены общества, соединяясь между собою в одну группу в тех отношениях, по которым они сходятся, будут находиться в разных группах по тем отношениям, в которых они не сходны между собою. Таким образом будет устранена между ними всякая причина к столкновению, к неудовольствию; ибо каждый по всякому проявлению своей деятельности будет сходиться, входить в сношение только с теми, которые симпатизируют с ним в этом отношении. Таким образом введением естественной системы в ассоциацию устраняется причина к вражде. Так как каждый человек в одно и то же время проявляет один род деятельности, то это всегда возможно с тем условием, чтобы при перемене рода деятельности переменялся и состав групп.

Если, следовательно, каждый будет иметь в изобилии все ему нужное и будет притом совершенно обеспечен в том, что всегда будет его иметь как для себя, так и для всех близких ему—то через это устраняется причина к вражде за обладание материальными предметами. Если при этом каждый будет находиться по каждому роду деятельности в столкновении только с лицами, с ним симпатизирующими, то и другие причины ко вражде будут устранены.

Но как бы велики ни были выгоды, доставляемые ассоциацией посредством экономии и усовершенствования способов производства,—для доставления общего довольства необходимо не только чтобы все члены ее трудились, сколько и теперь, но еще в большей степени. Ежели уже труд будет казаться чем-то тягостным, то всякий будет стремиться свалить его на другого, чтобы самому избегнуть его, и, таким образом, противоречие человеческих интересов останется. Необходимо поэтому сделать труд привлекательным, обратить его в удовольствие, чтобы каждый не только не бегал его, но искал, как ищут теперь развлечений. Это необходимо еще и потому, что так как труд все-таки занимает большую часть нашего времени, то ежели он останется тягостным, человек, обреченный на него, не будет считать себя довольным и счастливым. Говоря о способах сделать труд привлекательным, надо будет войти в изложение серьезного закона, которого доселе я только касался.

Можно ли сделать труд привлекательным? Заставьте человека несколько дней сряду ничего не делать, он будет готов променять свое состояние на какой угодно труд. Но ежели дать ему полную свободу и все средства, он изберет не труд, а развлечение и удовольствия. Но большая часть так называемых развлечений, как, например, верховая езда, рыбная ловля, охота и т. п., суть также труд; почему же труды одного рода считаются приятными, а другие тягостными? Сравнение и подробный анализ нескольких сортов удовольствий и нескольких сортов труда покажет причину приятности первых и тягости последних, и тогда задача сделать труд привлекательным приведется к задаче устранить от всех полезных занятий эти их тягости и применить к ним причины приятности так называемых развлечений.

Из такого анализа и сравнения оказывается, что причины тягости труда суть следующие:

1) Продолжительность труда. Всякое усилие, физическое или нравственное, переходящее известный срок, различный для различных организаций, делается для нас неприятным. Самое приятное развлечение, например, охота, продолжаясь шесть часов сряду, надоест.

2) Однообразие труда. Ежели человек всю жизнь или значительную часть оной проводит в одном и том же труде, хотя бы страстно любимом, то это занятие делается, наконец, для него настоящим наказанием или приводит его к апатии, так что он исполняет его уже машинально.

3) Уединенность труда. Общество есть необходимая потребность души человеческой,—всякий уединенный труд, лишая его этой потребности, лишая соревнования, возможности выказать свое искусство или научиться искусству другого, делает его равнодушным к своему занятию.

4) Сложность труда. Почти всякое занятие имеет множество составляющих его элементов; например, уход за плодотворными деревьями включает в себя посев, садку, поливку, предохранение от стужи, вредных животных и других неблагоприятных влияний, прививку, обрезку, собирание плодов и т. д. Занимающийся этим может не иметь, и обыкновенно так и случается, склонности и нужного искусства для всех этих работ, но так как без одной все дело пропадает, то для получения полезных результатов от своего труда он должен взять их все на себя, и неприятность, доставляемая ему некоторыми из таких работ, мало-помалу охлаждает его и к тем, которые ему нравились.

5) Принужденность труда. Когда человек избирает себе занятие не по склонностям, а по необходимости или по случайным обстоятельствам, то такое занятие всегда считает для себя тягостным. Принужденным должно назвать труд, и тогда человек, вообще склонный к известному занятию, не может располагать своим временем так, чтобы приниматься за него, когда чувствует к тому охоту.

6) Непроизводительность труда. Когда человек видит, что сколько бы он ни употреблял усилий, а результаты не соответствуют этим усилиям, то он скоро охлаждается к такому труду,—скучно ловить рыбу, когда она не идет на удочку, охотиться, когда дичь не попадается— а эти занятия сами по себе считаются приятными. Точно так же становится по большей части труд тягостным, если нравственно не вознаграждается, не ведет к отличиям.—Поэтому, например, охотники составляют клубы, где каждый надеется, что его искусство будет оценено по достоинству знатоками дела.

7) Недостаток интриг в труде. Удовольствие картежной игры основано главнейшим образом на желании победить противников, на неизвестности и ожидании, как расположатся карты при сдаче, и особливо на союзах между одними игроками (партнерами) против других—почему игры, как винт и преферанс, в которых бывают такие союзы, всегда имели наибольший ход. Все это составляет интригу игры, без которой ни в чем нет занимательности.

Все эти причины потому делают труд для человека неприятным и тягостным, что они противоречат требованиям трех распределяющих страстей. Однообразие и продолжительность находятся в прямом противоречии с требованиями страсти, называемой papillone или alternante.

Уединение, сложность, принужденность и непроизводительность труда противоречат требованиям страсти, называемой composite или exaltante. Эта страсть ведет человека к энтузиазму и требует для достижения этого одновременно действия на душу человека многих приятных впечатлений. Действительно, если в каком-нибудь труде соединены свойства, противоположные этим четырем, то сколько разнообразных приятных впечатлений волнует душу человека: а) он занимается делом, которое само по себе ему приятно; б) и занимается им, пока эта приятность продолжается (следствие непринужденности труда); в) он занимается именно тою частью труда, которая ему более других нравится, и видит при этом, что и другие части его, необходимые для успеха целого, не упущены,—напротив того, он уверен, что они будут сделаны лучше, чем ежели бы он сам ими занимался, ибо делаются людьми, имеющими к этому склонность и нужное искусство; г) он чувствует приязнь к тем лицам, которые, взяв на себя части труда, для него неприятные, позволяют ему исключительно посвятить (sic) себя тем, которые ему нравятся (следствие упрощения труда, раздробления его на составляющие его элементы); д) он уверен, что так как труд производится во всех его частях людьми способными к нему, то он будет успешен и что притом его личное искусство и знание будет оценено по достоинству знатоками дела (следствие производительности труда; е) он чувствует удовольствие от того, что трудится в обществе людей ему приятных, столь же страстных, как он, к избранному труду; между ними рождается корпоративный дух [1]) (следствие общественности, а также непринужденности труда). Совокупность всех этих ощущений порождает живое чувство веселья и в некоторых случаях даже восторг.

Недостаток интриги в труде противоречит требованиям страсти cabaliste или rivalisante. В большей части игр играющие разделяются на партии, которые соперничествуют

---

[1]) Известно, как неприятно, если в каком-нибудь занятии, например, в игре, сильно занимающей, один из игроков небрежен к ней.

между собою в искусстве, это соперничество скрепляет корпоративный дух каждой партии и вместе порождает род пикировки с другой партией, что придает много соли забаве (следствие труда интригованного). К числу причин, делающих труд неприятным, должно бы, повидимому, причислить физическое или нравственное утомление, причиняемое разного рода трудом,—но как это было бы несправедливо, легко убедиться из примера охоты, где охотник в зной с довольно тяжелою ношею проходит 20 и 30 верст в день, бегает, входит в воду, в болота, пробирается сквозь кустарники или в сырую холодную ночь подкарауливает стаи уток, одним словом, утомляет себя едва ли не более чем любой каменщик или кузнец, и во всем этом находит удовольствие. Шахматный игрок представляет доказательство, что и нравственное усилие не составляет причины неприятности труда, если прочие причины устранены. Надо только, чтобы усилие как физическое, так и нравственное не переходило известных границ.

Следовательно, дабы сделать труд привлекательным, стоит только устранить вышепоказанные причины неприятности труда и заменить их противуположными им условиями; другими словами—организовать все роды труда сообразно с требованиями трех распределяющих страстей. Ту изобретательность, которую до сих пор употреблял ум человеческий к доставлению занимательности разным забавам и играм, должно применить к доставлению занимательности полезному труду—и результаты будут приближаться к чудесному; подобно тому, как если бы гений Вокансона вместо того, чтобы выдумывать автомат и другие механические игрушки, был направлен к изобретению полезных машин—превзошел бы все открытия, которыми обязано человечество Уату, Аркрейту и Жакару [1]).

Занимательность и увлекательность доставляется труду посредством сериарного порядка. «Pour rendre le travail attrayante,—говорит Фурье,—il faut le produire, et consommer par serie de grouppes libres, exaltés, nuancés, contrastés et engrenés». Дабы показать, что понимал под этим Фурье, лучше всего представить пример такого производства работ. Из всех земледельческих работ у нас в России та, которая почитается самою приятною, которая составляет настоящий

---

[1]) Изобретатели: паровой машины, прядильной машины и усовершенствователь ткацкого станка. *Ред.*

праздник для деревенского населения, есть сенокос—это то же, что сбор винограда в странах, где занимаются виноделием. К этому времени приготовляют запасы так, чтобы ни в чем не было недостатка. Косцы на лугу эшелонами—лучшие находятся спереди и сзади для того, чтобы не столь искусные, находящиеся в середине, возбуждаемые примером первых и подстрекаемые последними, не отставали. Между тем как мужчины косят, женщины разметывают скошенную траву, чтобы она скорее высохла, сопровождая это песнями. К вечеру сгребают сено в небольшие стоги, дабы оно не измокло в случае дождя, возвращаются домой с песнями и плясками.

В чем же заключается удовольствие сенокоса, физический труд? Тут никак не менее чем в других полевых работах и для косьбы требуется много ловкости и сноровки. Но тут есть зародыш — конечно, еще весьма несовершенный — сериарной организации. 1) Косьба производится обществом, 2) от труда отнята сложность: мужчины косят, женщины разметывают сено, 3) расположение косцов эшелонами производит между ними соревнование, кроме того, мужчины не хотят отстать от женщин в своей работе, а женщины от мужчин, мужчины стыдятся выказаться неловкими или ленивыми перед женщинами. Но как много тут еще недостает: труд однообразен и продолжителен, многие из косцов вовсе не имеют склонности к этому труду, и никто не располагает своим временем. Дурное состояние лугов делает труд не столь производительным, как он мог бы быть—искусство и ловкость не ждет себе никакой награды—интрига весьма слаба. А между тем ничего не стоит применить все условия привлекательности труда к этому занятию. Вот как бы это делалось по методе Фурье. За несколько дней начальник серии косьбы—на основании наблюдений своих над ростом и спелостью трав и на основании метеорологических соображений—объявляет день, в который назначается косьба такого-то луга. Таким образом каждый из членов серии наперед может распорядиться своим временем. Ежели луга столь обширны, все косцы фаланги могут скосить их не менее как в 12 часов, то во избежание этого приглашаются косцы соседних фаланг, чтобы исполнить эту работу в 3 часа, обязуясь в свою очередь им помочь, ибо гораздо приятнее 4 дня заниматься одною работою по 3 часа в день, нежели целый день без всякой перемены труда.

Прийдя на место, все косцы разделяются на три отделе-

ния; два крыла и центр стараются сделать так, чтобы действия каждого отделения были скрыты от других леском, аллеею, линиею плодовых деревьев или другим чем. Ежели таких препятствий нет, их нарочно будут стараться создать, ибо знают, что все увеличивающаяся приятность труда увеличивает и производительность его.

Каждое отделение, в свою очередь, разделяется на столько рядов, на сколько позволит местность, которые становятся один позади другого, например, на расстоянии десятины. Ряд состоит из мужчин, которые косят, и женщин, которые разметывают траву. Каждый рад иметь или особую методу косьбы, которой преимущество перед другими хочет доказать, или особые роды кос.

Ряд опять делится на группы, размещающиеся на равном расстоянии друг от друга. Положим, что каждой группе, состоящей примерно из 5 человек, нужно пройти свою десятину вдоль 4 раза, чтобы в поперечном направлении достичь того места, откуда начала свою работу соседняя группа одного с нею ряда. Каждая группа располагает своих косцов эшелонами, как это и теперь делается.

По данному знаку все разом начинают. Подобные работы, как косьба, всегда производятся под звуки музыки, ибо размеренное движение под такт несравненно меньше утомляет. К чему же весь этот странный порядок для придачи интриги и занимательности труда? Каждый косец, как и теперь, не хочет отстать от других косцов своей группы. Все косцы одной группы желают и перегнать и ровнее скосить, нежели соседняя группа; следовательно, между каждою парою соседних групп рождается соревнование: крайние группы, довольно удаленные друг от друга, не имеют таких причин к соревнованию, напротив того, они соединяются против средних и стараются достичь конца десятины прежде них, средние группы оживлены тем же желанием, группы, побежденные при одном проходе вдоль десятины, стараются победить в другие разы. Между женскими группами—подобные же соревнования; мужские группы соперничают с женскими, и вместе с тем каждая мужская группа желает, чтобы помогающая ей женская одержала верх в своей работе, так как сами желают одержать в своей. Все эти соревнования и соперничества сливаются в общий корпоративный интерес целого ряда.

Каждый желает, чтобы ряд, к которому он принадлежит, одержал верх над своими и, ежели лично претерпел не-

удачу, утешается победою своего ряда, в которой и он участник. Таким же образом соперничество рядов умолкает перед общим интересом целого крыла, стремящегося достигнуть прежде других отделений конца луга или, по крайней мере, поспеть на соединение с союзным крылом прежде, нежели успеет, вышед из-за леса, разделить их соперничествующий с обоими центр—где самые опытные косцы. Стремление это усиливается неизвестностью об успехах других отделений, скрытых от глаз. По окончанию косьбы все собираются к строению, где хранятся инструменты серии. Всякая серия на месте производства своих работ имеет, смотря по богатству своих членов, более или менее великолепно устроенное здание для этой цели. В это строение привозится из фаланстера завтрак или полдник, смотря по времени дня. Тут же отличившиеся косцы получают знаки своей победы—так, как это делалось на играх древней Греции. Этот знак дает право участвовать в косьбе огромного заливного луга, принадлежащего нескольким соседним с ним фалангам.

Может быть, скажут, что такое отличие породит зависть между другими—нет, потому что личное тщеславие умолкает, когда дело идет о чести своей фаланги, которая была бы непременно побеждена при косьбе заливного луга, если бы избрала не самых лучших косцов своих в свои представители. А это очень важно, потому что победители при этой косьбе делаются членами вспомогательной индустриальной армии, ежегодно посылаемой из всех стран света в льяносы и пампасы Южной Америки, где заготовляется огромное количество сена на сухое время года, для прокормления огромных стад пасущихся там одичавших лошадей и быков, как это делается теперь у нас для зубров в Беловежской пустоши. К этому времени собираются туда лучшие артисты со всего земного шара и даются роскошные праздники. Сколько разнообразия жизни, даже поэзии, сколько пищи честолюбию придает сериарная организация труда простой механической работе, какова косьба! Не больше ли тут занимательности, чем в самых затейливых наших забавах?

Ту же систему можно применить и к жатве, и к посеву, и к пашне, одним словом ко всякому роду работ. Что же будет в тех занятиях, которые требуют значительной умеренной деятельности, как, например, уход за плодовитыми деревьями? Одна обрезка (la taille) требует глубоких знаний в растительной физиологии и не меньших соображений, чем в шахматной игре, ибо здесь один удар садового ножа ока-

зывает свои вредные или полезные действия через десять лет,—какую увлекательность можно придать этого рода занятиям, применив к ним сериарную методу, когда она дает уже столь чудные результаты, будучи применена к косьбе, о которой еще нужно сказать несколько слов, дабы выказать все свойства сериарного труда.

Все результаты, доселе описанные, зависели от применения к способу производства косьбы требований двух страстей — composite et cabaliste,—надо ввести в дело и третью страсть — papillone. Ежели бы косьба продолжилась несколько дней сряду, как это теперь делается, то, во-первых, утомление уничтожило все очарование,—во-вторых, и это главное, постоянно повторяющееся чувство соперничества между группами могло бы обратиться в некоторого рода вражду между ними. Но побуждения третьей распределяющей страсти до этого не допускают—через два, много—три, часа начинает чувствоваться утомление, желание перейти к другим занятиям—группы расходятся, и каждый идет на новый труд (который всегда распределен заранее). При такой перемене занятий в течение немногих дней, даже в течение того же дня, придется некоторым из тех лиц, которые были в соперничествующих между собою группах, участвовать в одной группе,—так что тех, которых разделяло cabaliste, будет соединять composite, порождающая корпоративный дух, и наоборот. Из этого выходит тот результат, что соперничают только группы, а не отдельные лица, и, следовательно, всякая причина ко вражде между членами общества устраняется.

Это разнообразие занятий, этот переход из одних групп в другие производит еще то полезное влияние, что удовлетворяет честолюбию каждого и не позволяет зарождаться зависти. Каждый член фаланги, будучи участником в 40 или более группах, занимая последнее место в одних, будет почти непременно занимать, если не первое, то одно из первых мест в других—ибо каждый человек непременно имеет к чему-нибудь хорошие способности, и так как люди имеют счастливую слабость считать именно то чрезвычайно важным, в чем они имеют перевес над другими, то честолюбие каждого будет удовлетворено. Сериарное устройство имеет еще то удивительное свойство, что труды одной серии, успехи и неудачи ее групп имеют интерес не для одних ее членов, а и для членов других серий. Так, успех косьбы как в целом, так и преимущества, одержанные некоторыми из

ее групп, сильно интересуют серию, занимающуюся расчисткою, орошением и вообще присмотром за лугами. Ежели луга были хорошо очищены, сравнены, поросли хорошей мягкой травой, то косьба могла гораздо удобнее производиться, и поэтому серия луговодства и составляющие ее группы видят в успехах серии косцов и успехах составляющих ее групп оценку своих трудов, с другой стороны,—серия косцов ждет оценки своим трудам от серии, занимающейся уходом за лошадьми и скотом, ибо время, избранное для косьбы, время уборки сена, способы его высушки—имеют огромное влияние на доброту его. Это есть то, что Фурье называет engrenages des séries.

При составлении серий весьма важно, чтобы группы их были расположены по тончайшим оттенкам, чтобы для каждого сорта известного продукта, составляющего предмет занятий серий, для каждой методы производства была назначена особенная группа—без этого не может быть соревнования, ибо не может быть сравнения, которое может быть делаемо только над близкими между собою предметами.

В этой сериарной организации работ заключается вся сущность учения Фурье, потому я так распространился об ней. Право собственности, право наследства, право капитала, семейство—все это, уничтожаемое или изменяемое в самой сущности своей другими учениями, оставляет Фурье неприкосновенным. Все изменения, делаемые им в экономическом устройстве общества (до политического устройства он вовсе не касается), состоят в заменении отдельных хозяйств (des ménages morcelés) одним большим хозяйством и в введении вместо тягостной и монотонной системы производства работ—сериарной организации труда—la série distribue les harmonies—говорит он; это вторая окончательная теорема его,—первая, начальная была: les attractions sont proportionelles aux destinées. Это может показаться несбыточным, неосновательным, странным, но никак не разрушительным и вредным. Через соделание труда привлекательным производство богатств еще в гораздо большей мере усиливается, нежели через экономию и возможность применения данных науки к разного рода занятиям—следствия ассоциации. Эти средства, взятые в совокупности, суть следующие:

1) Обращение к производительному труду, обратившемуся в удовольствие, всех лиц непроизводительных, коих число гораздо больше, нежели может показаться с пер-

вого взгляда. Сюда относятся: a) женщины, которые или ничего не делают теперь или совершенно поглощены домашними хозяйственными работами—чрезвычайно сложными по причине раздробления хозяйств; b) дети, которые или ничего не делают, или портят и уничтожают сделанное, между тем как существует множество работ, которые бы они могли исполнять не только не хуже, но даже лучше взрослых, если эти работы обратить для них в удовольствие; c) люди, собственно, так называемые, праздные и все, прислуживающие им; d) все торговое сословие, необходимое и полезное теперь, но которое с упрощением торговых сношений, т.-е. при непосредственном переходе продуктов от производителя к потребителю — окажется совершенно ненужным; e) фабриканты продуктов дурного свойства, ибо в то же время, но с большим старанием или при лучшей методе они могут сделать товар лучшей доброты, который, будучи прочней, может долее служить; f) все люди, которые через применение машин ко всякого рода работам, особливо к работам домашним (стирка белья, рубка дров, ношение воды, чистка сапог, пряжа ниток и т. п.), к которым такого применения доселе не делалось—сделаются свободными; g) люди, занимающиеся теперь работами полезными и по временным обстоятельствам необходимыми, но в сущности непроизводительными, как, например, деланием оград, заборов, постройкой крепостей и т. п.; h) войско, таможенная стража, сборщики акцизов и податей, которые тогда будут уплачиваться без малейшего затруднения из общего дохода фаланги—прежде распределения его между отдельными лицами; i) все, занимающиеся прямо производительным трудом, во время отдыха, превышающего время, необходимое для восстановления физических сил; j) тунеядцы, контрабандисты и разного рода преступники и бродяги, которых тогда существовать не может.

2) Введение труда страстного и энергического вместо вялого и равнодушного.

3) Уничтожение замедлений и потерь, происходящих от неспособности и неискусства работников.

4) Управление каждого рода работами людьми теоретически и практически сведущими.

5) Применение всех средств науки к производству и сохранению богатств.

6) Введение рациональной экономии в потребление богатств.

7) Постоянность и правильность хода работ, которые теперь теряются от смерти хозяина. Серии же группы, как существа собирательные, не умирают, а только незаметно изменяются в своем составе.

8) Улучшение земель через правильную, научную обработку их.

9) Улучшение самого климата через сообразное с данными науки распределение лесов, болот по поверхности земного шара.

10) Уменьшение в огромной степени всякого рода несчастий, пожаров, наводнений и т. п.

11) Уменьшение болезней и увеличение физических сил человека через правильный образ жизни и применение всех начал гигиены.

Совокупность всех этих причин должна увеличивать в неимоверной степени количество производства богатств.

Как же распределяются эти богатства между отдельными лицами? Всякий вступающий в ассоциацию сохраняет всю собственность, которую имел, и, сообразно оценке внесенной им доли, получает акцию, которую может продать, подарить— цена акции падает и возвышается вместе с уменьшением или увеличением цены той недвижимой собственности, которой она есть движимый представитель. Доход, получаемый обществом, следующим образом распределяется между его членами. Каждый получает из него долю, сообразно внесенному им капиталу, сообразно своему труду и таланту. Поэтому сначала весь доход делится на три части: часть капитала, часть труда и часть таланта.

Фурье предлагает для этого следующие приблизительные пропорции: $^4/_{12}$ на капитал, $^5/_{12}$ на труд и $^3/_{12}$ на талант, или $^5/_{12}$ на капитал, $^5/_{12}$ на труд и $^2/_{12}$ на талант. Эти пропорции не имеют в себе существенного обязательного и могут быть изменяемы сообразно временным обстоятельствам. Распределение $^4/_{12}$ или $^5/_{12}$, приходящихся на капитал, между обладателями акций не представляет никаких затруднений: это простое тройное правило. Но как оценить труд и талант? И это затруднение, как и все прочие, падает перед сериарным устройством, которое есть как бы талисман, разрешающий все общественные задачи. Каждою отраслью труда занимается отдельная серия, поэтому сначала должно разделить всю долю—все $^5/_{12}$, приходящихся на труд,—между отдельными сериями. Для этого разделяют серии на 3 разряда:

1) Серии труда необходимого, т.-е. такие, без которых не могла бы существовать фаланга; сюда поэтому причисляют все те серии, труд которых вообще необходим для существования человека, но и все те, без которых не могло бы существовать фаланстерское гармоническое устройство.

2) Серии труда полезного и

3) Серии труда приятного (Series d'agrement).

Принимая, что число серий каждого разряда одинаково и что каждая серия состоит из одинакового числа групп, а группы—из одинакового числа лиц—на разряд серий необходимого труда полагается большая доля, а на разряд серий приятного труда—меньшая. Это Фурье выражает так: доход распределяется между сериями в прямом содержании необходимости и в обратном—привлекательности их труда.

Но очевидно, что предположение, что число серий каждого разряда одинаково и что серии равновелики, невозможно, и потому эти условия численного неравенства серий также должны быть приняты в расчет. Таким образом, каждая серия получает приходящуюся ей долю за труд,—она на тех же основаниях распределяет ее между своими группами, а те—между своими членами. Но как распределить долю каждой группы между ее членами, когда труд одного не равен труду другого? Для этого рассмотрим условия, делающие труд производительным при сериарной организации. 1) Время, употребленное на известный труд, которое зависит от продолжительности сеансов ее, обстоятельства, которые каждый раз отмечаются особливым членом группы, принявшим на себя эту обязанность. 2) От физической силы трудящегося,—но это условие в сериарном устройстве едва ли может иметь какое-нибудь влияние на производительность труда, потому что при свободном выборе занятий никто не будет браться за труд, не соответствующий его физическим силам, и так как работы групп не должны быть слишком продолжительны, не должны доводиться до утомления, то перевес, который дала бы физическая сила при более продолжительном труде, не может еще оказаться. 3) От рвения к труду. Но мы видим, что труд сделан привлекательным, что каждый притом может оставить свою группу, когда угодно ему, и всегда найти тысячу других занятий в других группах, следовательно, рвение каждого есть наивозможно большее. 4) От искусства, происходящего как от природной склонности к известному труду, так и от приобретенного на-

выка—но это уже подходит под понятие таланта, под которым Фурье разумеет не что другое, как искусство, ловкость, приобретенные или природные, в каждом роде занятий. Таким образом существенное различие в производительности труда каждого члена группы обусловливается только временем, на него употребленным—элементом, который, подлежа численному изменению, не может представить никаких затруднений при распределении дохода.

Долю, приходящуюся на талант, разделяют между сериями и группами на том же основании, как и долю труда. Но на участие в этой доле не каждый имеет право, а только начальники групп разной степени (les differents officiers des grouppes), которые избираются в такие начальники именно на основании прирожденного или приобретенного таланта. Устройство сериарного порядка не допускает при этом избрании ни малейшей несправедливости, ибо дурной выбор сейчас уронил бы группу,—она не была бы в состоянии выдержать соперничество с соседними группами, нравственные и материальные интересы ее были бы нарушены.

Хотя на долю таланта определяет Фурье только $^3/_{12}$ или даже $^2/_{12}$, доля каждого участника будет тем не менее значительна, ибо не все имеют на нее право. Все это распределение делается следующим порядком,—администрация фаланги, составленная из начальников всех серий, делает предварительную смету, основанную на вышеизложенных правилах, и подвергает это общей баллотировке. Посмотрим, как при этом результат не может быть несправедлив.

Возьмем самый худший случай, предположим, что подающий голос есть в полном смысле эгоист, который не в состоянии пожертвовать малейшею из своих выгод справедливости или любви к ближнему. Поэтому он желал бы назначить большую долю тем сериям, в которых он участник.

Но каждый есть непременно член множества групп, имеющих своим предметом занятия промышленные, ученые, художественные, и эти занятия избирает он по своим склонностям, ибо в противном случае он бы мучил себя непривлекательным трудом и не был бы принят другими членами группы, как дурной помощник в общем деле, могущий только уронить честь и интересы группы. Поэтому, по всем вероятностям, придется ему участвовать во всех трех разрядах серий, следовательно, если бы он желал увеличить долю, приходящуюся на разряд серий необходимого труда, то это принесло бы ущерб сериям труда полезного и приятного,

следовательно, ущерб и ему самому, либо он и в них участник.

Но положим, что он решился бы на это, потому что участвует в большем числе серий необходимого труда, чем в двух других разрядах серий, но зато во многих из серий необходимых он простой работник, а в некоторых из серий приятного или полезного труда занимает степени, дающие ему право на дивиденд из доли, предоставленной таланту—так что опять, выиграв несправедливостью на одном, он проиграл бы на другом. Если, наконец, даже предположить, что нашлись бы такие корыстолюбцы, которые скомбинировали бы свое участие в различных группах и время своего труда в каждой из них так, что несправедливость могла бы быть для них выгодною, то этим самым нарушили бы они все другие свои интересы: честолюбие, любовь к удовольствиям, чувство товарищества. Во всяком случае число таких исключений может быть чрезвычайно ничтожно и поэтому не может иметь влияния на справедливость распределения дохода. Таким образом различные страсти уравновешивают друг друга—эгоизм личный поглощается эгоизмом групп, и наоборот. На этом основании можно сказать, что если бы даже человек был хуже, чем он есть, то и тогда бы сериарное устройство привело бы его даже путем эгоизма и личной выгоды к справедливости.

Сообразно с получаемым доходом рассчитывает каждый и издержки свои. Записывается на стол, квартиру, пользование экипажами и лошадьми той степени, до которой имеет возможность по своим средствам и которой желает по своим вкусам. Издерживать больше, чем получать, невозможно, ибо администрация фаланги, у которой записываются, знает, сколько кто получает, и на такую только сумму и доверяет—даже денег тут вовсе не нужно.

Способ распределения доходов, предлагаемый Фурье, имеет еще ту выгоду, что он, вместо того, чтобы производить несогласие между членами общества, как обыкновенно бывает при всяком дележе, связывает еще новыми узами. Теперь два ремесленника, живущие в одном городе и занимающиеся одним и тем же ремеслом, суть, так сказать, естественные враги между собою—выгоды одного суть убыток другого, и наоборот. Совершенно другое видим мы в фаланге. Чем кто больше производит, тем увеличивается общая масса доходов фаланги, и как каждый получает из этой общей массы долю, пропорциональную его капиталу, труду и таланту, то с уве-

личением общей массы дохода увеличивается и его частный доход, следовательно, каждому выгодно, чтобы другой больше производил, и каждый готов ему в этом содействовать— тогда как теперь каждому выгодно, чтобы другие производили меньше, а он больше, следовательно, теперь частные интересы между собою противоположны, а в фаланге они совпадают.

С другой стороны, так как каждый получает по мере своего капитала, труда и таланта, то, не говоря уже о привлекательности труда, никто не может лениться и по интересу, ибо с уменьшением деятельности всякого члена общества уменьшается его доход, хотя бы общая масса дохода и увеличивалась деятельностью других.

Не входя в дальнейшие частности распределения доходов, как, например, в изложение способа платы за ученые открытия, художественные произведения, способ платы врачам, ибо мое дело не излагать систему Фурье, а доказать безвредность ее,—я перехожу к передаче наследства.

Признавая право собственности, Фурье понимает под ним как право пользоваться имуществом, так и право отчуждать его и поэтому признает и право передачи собственности по наследству, уничтожение которого считает нарушением законной свободы человека—угнетение одного из коренных стремленой души человеческой—страсти родственности (familisme). Фурье полагал только, что в обществе, устроенном по его плану, наследство будет дробиться на большее число долей, нежели теперь. При необеспеченности, которой подвержены теперь даже самые богатые люди, умирая, каждый желает доставить детям своим как можно более, дабы по возможности оградить их от этой необеспеченности. Тут любовь к детям, обыкновенно далеко превышающая все другие привязанности, заставляет на время их умолкать и отдает детям все из страха могущих случиться с ними бедствий. Однако и теперь видим мы, что очень богатые люди всегда почти оставляют часть наследства другим родственникам своим и приближенным, чего не бывает при небольших или средних состояниях, при которых существует больше опасений за будущность. Так как при экономическом устройстве обществ по плану Фурье для всех существует полная обеспеченность, то каждый, отказывая свое имущество, может принимать в расчет все свои привязанности. Поэтому Фурье говорит, что наследство будет распределяться пропорционально числу и степеням привязанности умирающего.

Через это достигается тот результат, что каждый, находясь в родственных или дружественных связях со множеством лиц, получает в течение жизни своей значительное число наследств, которые, приходя мало-помалу, не позволяют рождаться тому отвратительному чувству, которому, однако, к несчастью, мы видим примеры, чувству, заставляющему желать смерти родственников, от которых надеются разбогатеть. Такое раздробление наследств усиливает и расширяет родственные связи.

При этом, полагаю, я должен заметить, что здесь, как и везде, все свои предположения Фурье вовсе не считает обязательными для обществ, устроенных на основании сериарной организации работ. Фурье выдает их только за следствия, которые, по его мнению, должны необходимо произойти при общественном устройстве, в котором все наклонности и способности человеческие примут правильное и гармоническое развитие. Ежели бы, например, кому вздумалось отдать все свое наследство своему единственному сыну, то он точно так же мог бы это сделать, как теперь всякий может отдать свое благоприобретенное имущество кому ему угодно.

В этом кратком очерке представил я все главные основания экономического устройства обществ, предлагаемого Фурье. Главным, можно сказать, единственным основанием ему служит так называемая сериарная организация всех проявлений человеческой деятельности. Как прямое следствие, из нее вытекает привлекательность труда, который, увеличивая в необыкновенных размерах производство богатств, чему еще способствует экономия при потреблении, происходящая от ассоциации, позволяет дать много ничего не имеющим или имеющим мало, не только не отнимая ничего у имеющих, но еще прибавляя и им. Это же распределение всей деятельности человека по группам и сериям, уничтожающим борьбу интересов и столкновение страстей, уничтожает самый источник и корень раздоров, пороков и преступлений. При всем этом Фурье не уничтожает ни одной из основ государственной и частной жизни, ныне существующих, вовсе не касается политического устройства государств, признает вредным всякое насильственное изменение этого устройства; оставляет неприкосновенным право собственности, право капитала на следующую ему часть из вновь произведенного богатства и право наследства как материального относительно имуществ, так и нравственного относи-

тельно титулов и других достоинств, могущих переходить к потомкам; преследует идею равенства не только как несбыточную мечту, но как мысль вредную и несообразную ни с природою человеческою, ни с требованиями сериарного закона, для осуществления которого необходимы неравенства во всех отношениях.

Прежде, нежели окончу эту часть моего ответа, я должен упомянуть еще о двух обвинениях, взводимых на учение Фурье противниками его,—что он уничтожает семейства и проповедует безнравственность в междуполовых отношениях.

1) Фурье уничтожает семейство. Семейственные связи основаны на двух коренных стремлениях души человеческой; любви супружеской и любви родителей к детям и детей к родителям. Фурье принимает оба эти чувства в число коренных страстей человека. Этого одного было бы уже достаточно для опровержения взводимых на него обвинений. Разве в общественном устройстве Фурье родители не так же будут заботиться о своих детях, как и теперь, утешать их в их маленьких неудачах, радоваться их успехам—избирать для них методу воспитания, пока они сами еще не могут обнаружить своих склонностей? Правда, Фурье предлагает общественную методу воспитания. Но разве и теперь не отдают детей в общественные заведения, что нисколько не нарушает семейных уз. Но при общественной методе воспитания Фурье отцы и матери будут жить тут же вместе со своими детьми, и ежели бы кто пожелал воспитывать детей домашним образом, то имел на то полное право.

Что же изменяет Фурье в семейных отношениях, из чего могли бы взять, что он уничтожает семейство? Он соединяет отдельные хозяйства каждого семейства в одно общее большое хозяйство по чисто экономическим причинам. Но разве семейные связи зависят от того, где готовится кушанье—на домашней или на общей кухне, где моется белье, где хранятся запасы и т. п. Итак, действительно Фурье соединяет отдельные семейные хозяйства в одно общее хозяйство, но не думает разрушать семейных уз, имеющих гораздо высшее основание.

2) Фурье проповедует безнравственность в междуполовых отношениях. Действительно, Фурье говорит, что по его мнению отношения между полами должны измениться и сделаться свободнее, нежели они теперь, не

на деле, а по праву. Но Фурье выдает это как за свое предположение, которое во всяком случае должно осуществиться не ранее как через пять поколений после всеобщего принятия предлагаемого им общественного устройства, т.-е. не ранее как лет через 300.

Вообще о междуполовых отношениях Фурье говорит только в первом сочинении своем «Théorie des quatre mouvements», написанном им в 1808 году, прежде нежели им были сделаны все части его открытия и которое позволил он вторично напечатать по усиленной просьбе своих учеников, смотрящих на это произведение как на исторический памятник. Сам Фурье считал его недостойным себя и по слогу и по методе изложения. Во всех других сочинениях своих он прямо говорит, что в первых фалангах, по крайней мере в течение 300 лет, пока новое общественное устройство не совершенно очистит нравы—отношения между полами должны остаться неизменными. Все последователи Фурье также держатся этого мнения, лучшим доказательством искренности которого служит то, что Консидеран во время прошлогодних прений во французской палате о допущении разводов говорил и подал голос против этой меры.

Когда мне случалось говорить о теории Фурье, я говорил, что вначале все должно остаться, как и теперь. Об изменениях, могущих произойти впоследствии, я никогда не упоминал, во-первых, потому, что не имею привычки говорить о том, что мне не положительно известно (Фурье нигде ясно об этом предмете не высказывается), во-вторых, потому, что не верил, чтобы такие изменения были нужны, не думая, чтобы непостоянство в любви было бы требованием человеческой природы. Я приписываю ее случайным обстоятельствам, из которых главнейшие суть следующие: 1) возбуждение воображения прежде действительного проявления физической и нравственной потребности любви; 2) обычай, по которому мужчины женятся обыкновенно не ранее 30 лет; 3) то, что браки по большей части основаны не на любви, а на различных расчетах; 4) что браки, основанные не на любви, редко составляют естественную группу, ибо заставляют два лица, симпатизирующих в одном или нескольких отношениях, уживаться и во всех остальных. От этого рождаются несогласия, мало-помалу уничтожают и чувство любви, которое без них продолжало бы существовать; 5) праздный образ жизни значительной части молодых людей; так как все эти причины уничтожаются с введением

системы Фурье, и как сверх того образ жизни в фалангах делает, что всякий поступок на виду, то смело можно утверждать, что междуполовые отношения в обществе, устроенном по плану Фурье, будут несравненно чище, нежели теперь, и что впоследствии времени не окажется нужды в введении других отношений кроме неразрывных браков. Одним словом, я никогда не принимал тех нелепых указаний о будущем устройстве отношений полов, которые находятся в его «Théorie des quatre mouvements», как не принимал его космогонии.

Принимая основания обучения Фурье за совершенно истинные, может быть, я и ошибаюсь, хотя до сих пор они еще никем опровергнуты не были. Но так как верность заключений ума человеческого зависит не от одной последовательности и логической строгости выводов, но и от того, все ли данные были взяты во внимание при делании этих выводов,—то ошибка всегда может вкрасться и долго не быть заметна. Но во всяком случае, в теории Фурье нет ничего разрушительного, ничего вредного, ничего противоречащего существующим политическим и нравственным принципам, служащим основанием государственной и частной жизни в наше время. Этот мирный и безвредный характер учения Фурье, однако, мало говорил бы в мою пользу, если бы для осуществления его нужно было прибегать к насильственным и противозаконным средствам. Сам Фурье и последователи его не только ни в одном из своих сочинений никогда не возбуждали к таким средствам, но всегда говорили против них. По своему совершенно мирному и научному характеру учение это даже и не может быть иначе осуществлено, т.-е. подтверждено опытом, как совершенно мирными же и научными путями.

Одним из главных достоинств учения своего всегда считал Фурье возможность убедиться в истинности его опытом в малом виде. Что сказали бы мне о химике, говорит он, который бы, делая опыты над взрывным веществом, употреблял для этого тысячи фунтов этого вещества, а не то ли делали те, которые хотели приложить свои политические идеи к целым государствам и народам, чему мы видели пример в французской революции. Все, чего добивался Фурье в течение своей страдальческой жизни, чего добиваются и теперь все последователи его, чтобы собрать четыре или пять миллионов, приобрести три или четыре тысячи десятин земли и найти 1.500 или 2.000 человек обоего пола, всех возрастов, различных по состоянию, по образованию, по способностям и

занятиям, и с дозволения правительства той страны, где бы находилась эта земля, и с этими средствами устроить общину по плану, изложенному выше в его главных очертаниях. Самая неудача опыта не повела бы даже за собою потери употребленного на него капитала и имела между тем полезное нравственное влияние, доказав возможность другого, лучшего экономического устройства человеческих обществ, чем то, которое существует. Итак, основываясь как на том, что главное из сочинений Фурье и многие из сочинений его последователей не были запрещены правительством нашим, так и на мирном характере этого учения, не противоречащего ни одной из основ государственной и частной жизни в России, и совершенно законных способах его осуществления,—я был бы в надежде на справедливость и человеколюбие моих судей совершенно спокоен насчет своего положения, если бы иногда, увлекаемый желанием содействовать по мере сил моих успехам этого учения, я не переходил бы пределов строгой законности.

А. В. ХАНЫКОВ.

РЕЧЬ НА ОБЕДЕ В ПАМЯТЬ ФУРЬЕ, 7 АПРЕЛЯ 1849 Г.

1849 года 10 апреля [1]).

Я начинаю говорить с тем увлечением, с тем одушевлением, какое внушают мне и наше собрание и то событие, которое мы празднуем здесь! Событие, влекущее за собой преобразование всей планеты и человечества, живущего на ней, планеты всецелой, систематической, товарищественной обработкой ее поверхностей, внутренностей, вод—правильным их размещением, восстановлением климатов и последующих за тем благоприятных творений для человека, как бы в ознаменование того, что он понял, разгадал, наконец, ее символические покровы, ее символические движения, открытием нового неведомого элемента sui generis, элемента аромального, определяющего страстные отношения планет, как живых существ; преобразованием человечества чрез всецелое, полное развитие страстей чувственных, душевных, нравственных в новооткрытом, или, лучше, восстановленном родстве, где они получают математически-определенное выражение и вырабатывают в этой норме,—для своего всецелого—будущего построения,—все органические элементы. Пытайте, исследуйте историю, и там, где начнется достоверность ваших изысканий, там найдете вы бледную тень этого родства, найдете общину, федерацию общин, найдете сказки, песни о потерянном рае, о потерянном счастии,—у различных народов, в различных образах, представлениях. Сделайте параллельное сличение—в них один смысл, одна сущность: нарушенное равновесие общественной деятельности; и тем живее чувствуемое, воспроизводимое впоследствии воображением, фантазиею, чем сильнее были бедствия, чем далее и далее люди удалялись от своего первобытного состояния,

[1]) Дата рукописи. (Дело № 55, ч. 13-я, л. 14—20.) *Ред.*

которое заключалось в безусловном самоудовлетворении страстей, проявлявшихся в то время энергически, со всею силою и свежестью первых впечатлений, или, как говорит Зороастр в Зенд-Авесте: «когда царствовал Дхоршид, отец народов, наиславнейший из всех смертных, воздвигший солнце, то в его время животные не умирали, было изобилие в водах, плодоносных деревьях, животных, питавших человека. Блеск его царствования торжествовал над холодом, теплом, смертью, необузданными страстями». Говоря более отчетливым языком, первобытное состояние должно было заключаться в согласии страстей и лелеющей их средины, обусловливающемся правильным распределением климата, почвы, водной системы, правильным отношением народонаселения, состоящего из трех резко отличенных полов: мужеского, женского, детского, к средствам пропитания, одежды, приюта, в отсутствии вредных животных, болезней, долголетии, в полной и невыразимо привлекательной свободе половых наслаждений—при красивости, стройности форм, телосложения, в отсутствии частной собственности, религиозного страха, беспечности и беззаботности о будущем. Остров Таити, открытый Бугенвилем в прошедшем столетии, представлял подобное состояние, но уже переход к дикому, где человек, говорит Туссенель, пользовался еще правом беззаботности, но уже начинал поедать друг друга и предпринимать энергические меры против избытка народонаселения. Да, господа, стоило только нарушиться одному из вышеозначенных условий, вследствие космических причин, объясненных в нашем учении, чтоб повлечь за собою состояние дикое, патриархальное, варварское, цивилизацию, и все эти эпохи, обусловливающие известное состояние человечества, суть отрицания его естественных прав, для восстановления которых ему суждено дойти, обогатившись вековою опытностью, творческим образованием нового, более чудного мира—мира искусств, промышленности! Один закон, выражающий эти отрицания, идет чрез всю историю в различных видах,—это закон победителей и побежденных, проявлявшийся на востоке борьбою каст, в Греции борьбою демотов с эвпатридами, в Риме—плебеев с патрициями, в средние века — разнообразной борьбою освобожденной личности с авторитетом, борьбою расколов, партий, сословий новых, образовавшихся в то время, характеристическою, наконец, борьбою крестьян, промышленных коммун с вассалами, и в наше время борьбою пролетариев с капиталистами. Вникните в эту

борьбу, господа,—и вы признаете в ней неудовлетворенность страстей—страстей чувственных в сфере нужд и потребностей материальных, страстей душевных в сфере чувств, особенно в средние века, когда им был сообщен идеальный полет христианством; чувств разрозненных, парализованных; страстей нравственных в сфере владычества, влияния, какое они хотят иметь в обществе, по существенному характеру своему, и препятствия, какие они встречают в неотразимом влечении своем. Нейтрализировать, уничтожить этот закон может только наше учение. Да, наше учение есть то высшее начало, которое должно вытечь из антиномии победителей и побежденных, начало всемирного примирения, всеобщей свободы, счастия. Чтобы ближе, нагляднее представить себе это—припомним, в чем заключается существенный характер нашего века? Существенный характер нашего века заключается, говоря в самых общих чертах, в стремлении разума, отказавшегося решительно пребывать в чистой отвлеченности и нашедшего в своих отвлеченных сферах равновесие сил, проявиться на практике с той независимостью и свободой, какие свойственны всякой философии, не терпящей легального ярма, проявиться мощно, сильно, как некогда он проявлялся, влияя на людей в отдельности и на целое общество, в религиозной форме, в классические времена христианства. Другое событие, характеризующее наш век, есть чрезвычайное развитие индустрии—вот практика, вот золотая будущность, золотой век, как понимает его наша школа, придавая слову «индустрия» самое обширное значение, и стремление этой практики—проникнуться в свою очередь началами разума, найти в своих материальных сферах то же равновесие, ту же ассоциацию сил. Из взаимного проникновения разума и индустрии и выйдет то новое вожделенное начало, на котором построится будущая жизнь человечества; но то, что известно было в последнее время в Европе под именем социализма, как понимают его Луи-Блан, Прудон, Леру, левая сторона во Франции в Национальном собрании, потом—коммунизма, германского радикализма, аграрных вопросов в С. Штатах, то они далеко не произносят в своих решениях того последнего слова, которое во всемирной истории называется новое, высшее начало, и все они в крайнем своем развитии разрешатся гарантизмом, эпохою, очень хорошо обозначенною в нашем учении, как переходною, чрез интервенцию государства в ассоциацию, в гармонизм. Последнее слово произнесено в теории всемирного единства, где чело-

век, одаренный законом сериарным, не встречает уже более тех препятствий, какие он встречал в своем историческом развитии; напротив, он почерпает в этом законе все средства для восстановления натуральной связи индустрий у различных народов, связей страстных, которые в своем стройном полете, при всем возможном разнообразии, выражая собою местные условия, явят гармонию, единство. Только предубежденная, поверхностная критика может называть положения нашего учения несбыточными, парадоксальными, и—которая, в своем страстном самоувлечении, не хочет признавать объективной, обязательной для себя истины, а все приписывает субъективному, случайному или туманно-относительному влиянию,—явление, очень понятное для каждого из фурьеристов, вытекающее отчасти из условий характера, отчасти из худой переварки принятой истины, которая по существу своему абсолютна; но те, которые внимательно, отчетливо разбирали сочинения нашего учителя, те очень хорошо понимают всю остроту и неопровержимость доводов нашей науки, цель которой есть организация, ассоциация сил на основе (пивоте) [1]) своих судеб, назначений... Но лишь только я хотел говорить о принципе и законе нашего учения, как речь моя прерывается, пораженное чувство из светлого, ясного—превратилось в тягостное, томительное, оно просится наружу, просит высказаться. Пусть набежит туча, пусть она прольется обильным дождем на почву накипевших во мне оскорбленных страстей, разреженный воздух станет прохладнее, будет груди легче дышать! Отечество мое, это—оригинальное, своеобразное выражение страстей, начало всемирного, следовательно, чувство общечеловеческое,—отечество мое в цепях, отечество мое в рабстве, религия, невежество—спутники деспотизма—затемнили, заглушили твои натуральные влечения; отечество мое, думал я про себя, прислушиваясь к толкам современных славян, где твое общинное устройство, родное село, колыбель промышленной и гражданской жизни, где ты народная вольница, великий государь-Новгород, и ты раздольная, широкая жизнь удельных времен? Заунывной песнею, прерываемой, порою, задорной удалью былого, отвечала ты мне, угнетенная женщина, воплощенная страсть моей любви к отечеству, не люби меня, не ласкай меня,—закон царский, господский, християнский заклянет, угнетет мое детище, изведет меня семья. Семья, повторял я с тех пор,

---

[1]) Pivot—стержень, веретено. *Ред.*

есть угнетение, семья есть деспотизм, владычество исключительное привилегированных групп, нарушенная гармония страстей; семья есть монополия, семья есть безнравственность, семья есть разврат, семья есть бог-притеснитель, этот алчный злодей, распинающий своего сына из любви, говорит нам церковь, это гнездо хищных злодеев; в семье есть исключительная собственность, эгоистическое распределение богатств, семья есть нищета, семья есть нарушенное здоровье в человечестве; семья есть миазм, эпидемия, семья есть воплощенное зло, и государство, стоящее на ней, есть отравленный организм; разрушение его близко!.. Я вхожу в свой предмет... Принцип нашего учения есть страсти, основное (пивотальное) начало всемирного движения, глаголу и велению которых подчинено все сущее, наведением к чему служит аналогия, окончательным, торжественным доказательством—законы серии. Всякое логическое доказательство, господа, идет с аксиом, с аксиом, доведенных до очевидности—идет математическое доказательство, и тем, которые читали введение в теорию всемирного единства, тем нечего доказывать, что доказательство нашего принципа исходит из аксиом очевидности. Что в философских системах называется феноменологиею, то в нашем учении называется теориею движений—именно четырех, как вам известно. Движение материальное, органическое, аромальное, социальное—и движение пивотальное, или основное—страстное. Все эти движения, в свою очередь, зиждутся на трех вечных, незыблемых началах: 1) начале духа или силы—дающем движение, 2) начале материи—подчиненном, 3) начале математики—регуляторе. Эти три начала, нераздельные, одно без другого не могущие существовать,—получают свое общее, высшее выражение в одном начале, начале гармонии. Закон серии, господа, есть безусловное выражение гармонии во всех возможных движениях, какие только могут представиться ее наблюдениям, открывая всюду назначение, группируя фатальным, необходимым образом около назначения рассматриваемые предметы по четырем методам, как вам известно, имеющим свой определенный характер, избегая при этом симилистичности, ибо закон серии есть закон сложный, рассматривающий д в и ж е н и я во всех возможных направлениях; в восходящем и нисходящем—в прямом и обратном, в прямом—преобладающем и подчиненном, в обратном—преобладающем и подчиненном. В закон серии, говоря строгим языком нашей школы, сама математика, все известные законы мышления, законы

гармонии,—входят как частные случаи. Существенный, глубокий характер закона сериарного есть единство, солидарность, связуемость натуральная всех явлений; ибо все явления не иначе выражаются, как в серии. Страсти, подведенные под закон сериарный, нашли свое назначение в гармоническом единствойственном [sic!] (Гаммном) развитии себя—в чем и заключается высшая правда, безусловная свобода, счастие, разумная необходимость [1]). Страсти, поставленные в ряду всех явлений нашей планеты, суть основные или пивотальные в своем сериарном выражении, т.-е., что все явления суть не что иное, как символы страстей наших.

«Откуда берется этот всемирный вкус у всех народов,—спрашивает наш учитель,—к тому, что относится до материального размера, выражающегося в поэзии, музыке, пляске, и который является материальной гармонией в том, что мы называем выражением, звуком, походкой». В льдах севера мы встречаем бардов, занимающихся поэзиею, музыкою, ловких в пляске. Грубые дикари Сибири имеют свои неблагозвучные стихи, свою тощую музыку, свой уродливый танец; и эти мерные гармонии присоединяются всюду к религии. Как в гражданственном, так и в диком обществе поэзия и музыка составляют блеск торжеств религиозных. В других местах поэзия провозглашается языком богов—певец лирический в наших глазах есть существо, находящееся в непосредственной связи с божеством; мы хотим, чтоб он обходился с ним, как с равным, и чтоб сами боги увлекались, потрясались его песнею. Где бы было единство мира, если бы наши страсти были исключены в участии этой мерной гармонии, на материальное проявление которой мы смотрим, как на божественное вдохновение, как на печать божественной правды, в самом обширном своем творении в создании миров, текущих в небесных пространствах столь мерно, что в данную минуту они пробегают миллиарды милей. Звезды эти расположены по мерным биноктавам (двух-октавам), как и страсти в своем высшем методе, поглощая и воспроизводя свои типические атомы в силу тех же самых законов. Почему эти мерные аккорды не могут быть применены к страстям, которые составляют частицу мира, более всего отождествленную с богом? Мы до тех пор, пока мы не признаем божественного духа в этих мерных материальных гармониях, до тех

[1]) Отсутствие чего есть неправда, угнетение, страдание, случайность.

пор мы недостойны возвыситься до гармонии страстей, даже предчувствовать систему!.. И вот уже полстолетия, как гений говорил, взывая вотще ко всему человечеству и к своему отечеству, не понявшим и не оценившим его! Он говорил, правда, на языке народа, среди которого он родился и жил, но из этого не следует заключать, чтоб вся его система была не чем иным, как только выражением национальности и ее средств, как думают некоторые предубежденные люди—суждение узкое, поверхностное! Нет, в его системе столько же национальности, сколько разнообразных форм, тонов одной и той же сущности в единстве, гармонии, ибо истина одна и нераздельна в своей замкнутости; он говорил во имя человечества, мира жизни и ее глубоких, сокровенных интересов. Он говорил—и слова его не потеряны для мира! Во льдах севера понимают единство, связь, солидарность мировой жизни, всеобщую свободу, стройный прогресс, непрерывное счастие, и во льдах севера присоединяют к мерным материальным гармониям—гармонию нравственную,—наш праздник знаменует это! Тебе мой привет, гений, тебе мое бледное слово, но сказанное от души, вдохновенно! Я бы хотел с тобою слиться мыслью, чувством в сию минуту, если есть значение в сочувствии и сомыслии с отшедшим. Весь недостаток и все изумительное величие нашей системы, господа, есть новый мир, открытый нашим учителем, и совершенно противоположный действительному порядку вещей [1]).

Этот новый мир заключает в себе несметные, неведомые и мало кем тронутые богатства. Что будет, спрашиваю вас, если мы разработаем весь этот рудник? Но для этого понадобятся усилия, искусства, равносильные ценности богатств, в нем заключающихся, ибо, увлекшись, сосредоточившись в новооткрытом мире, что простительно, понятно в гении, наш учитель позабыл, пренебрег историческими преданиями, а если и касался их, то бегло и поверхностно. Нам, нашей школе, следует пополнить пробел в системе. Как открытие ни будь, господа, истинно, благодетельно само в себе, но по косности, невежеству большинства, вытекающему из теперешней организации общества, оно не может быть принято скоро и повсеместно, и всякая новая идея выдерживала и выдерживает до сих пор борьбу упорную, сильную. Но не нам бояться этой борьбы, когда ее вызвали

[1]) Далее до слов: «как открытие»—перечеркнуто карандашом. *Ред.*

неопровержимые доводы нашей науки, наш тесный, дружный союз на всех концах земного шара во имя ее начала и закона!.. Преображение близко!.. Но не в вере, не в молитве, как делают это христиане, день которых пришелся с нашим днем [1]), не в вере, не в молитве, этом модном, светском, семейственном, детском препровождении времени, а в науке чистой будем приобретать мы бодрость наших страстей.

На терпение, на дела!

---

[1]) 7 апреля 1849 г. был страстной четверг. *Ред.*

Д. Д. АХШАРУМОВ.

РЕЧЬ 7 АПРЕЛЯ 1849 ГОДА [1]).

Сегодня, господа, мы даем обед в честь мыслей и чувств истины, которые соединяют нас, поглощая все личности. Хотя каждый из нас воспитан разно, и по своим характерам даже одни и те же впечатления мы принимаем различно, но мы дошли до одних убеждений, по тому самому закону, по которому и все человечество со временем, может быть, уже и в скором времени, подойдет к ним и станет лицом к лицу с истиною,—таков закон природы. И назначенье человека—сознать в себе необходимость этого закона, понять его и применить к жизни своей. Ясно, что с какой стороны ни пойдешь, если только не будешь стоять на одном месте, и если человек, который идет, не слишком убит несчастиями, неудачами, то придешь непременно к одному: что жизнь, как она теперь, тяжела, гадка, что мы никто не виноваты в этом, а все страдаем, ищем выхода из этого несчастного положения и пока не можем выбраться из него, несмотря на то, что нам открыты ворота в новую жизнь.

Мы все более или менее испорчены жизнью, которую принуждены были вести с малолетства, но все мы здесь, можно сказать, не потеряли, не утратили еще вполне здоровый организм своих страстей. Разум представляет нелепым, бессмысленным, чтоб природа создала нас для страдания, а сердце каждого из нас, не умолкая, говорит о счастьи. Но не о том счастьи, которым пользуются теперь немногие,—это счастье незначительно, непрочно, пусто, однообразно, утомительно, и нередко такие счастливцы во дворцах своих томятся скукою, болезнью и кончают, наконец, жизнь самоубийством. Но о счастьи другой жизни—не о той, о которой говорят нам грязные попы, которая острамила бы

[1]) Дело № 55, ч. 12-я, л. 23—28.

провидение и законы вселенной,—но о жизни другой, другого общества, в наслажденьи и роскоши на нашей высокой, прекрасной земле.

Выгоды наши все разделены, мы живем одни на счет других; мое возвышение, против моего желания, независимо от меня, есть униженье другого! Мы все несчастны; и можно ли быть счастливым в этом обществе, в котором мы живем? Оно обезобразило, исковеркало наши страсти, оно измучило нас и сделало нас нуждающимися, больными! И так как порядок установленный противоречит главному, основному назначенью человеческой жизни, как и всякой другой жизни, то он непременно рано или поздно прекратится, и вместо него будет новый—новый, новый и новый. Когда? Вот это важный вопрос, и мы можем только отвечать, что скоро. Уже тот факт, что мы сознаем недостатки, ошибки в устройстве нашей жизни, и уже представляется нам в общих чертах новая жизнь,—этот самый факт доказывает, что началось время его разрушенья. И рухнет и развалится все это дряхлое, громадное, вековое здание, и многих задавит оно при разрушении и из нас, но жизнь оживет; и люди будут жить богато, раздольно и весело!

Отчего же так запоздал род человеческий в своем развитии и такою ужасною, бедственною опытностью должен был приобретать познания? Невинность, молодость—единственная причина всех доселе испытанных неудач,—ему надо было прожить свое детство, юность; и будет время зрелости, когда человек не будет ошибаться и падать, как теперь.

Стремленье было с рожденья его: с самых давних времен человек чувствовал, что жизнь его должна быть соединена с другими людьми, что разъединенный он теряет свои силы и не может совсем подвигаться вперед. Самая природа, звери обижали его, и он чувствовал потребность устроить свою жизнь иначе. И соединились люди отдельными семействами, и составились общества, но неустроенные, случайные, беспорядочные,—так семейства и остались до сих пор и не сближались. Потребность изменять свою жизнь пребывала постоянно в человеке, потому что жить было нехорошо, производила перемены одни за другими, все более и более, и не получала удовлетворения. Народы целыми веками томились жизнью своей, обвиняли друг друга и, полагая, что одни причиною бедствий других, бросались, дрались, резались, ...и бедствия умножались!.. Но тогда не было еще науки, и по неопытности и незнанию приняты были ложные

принципы, которые дали ложное направление жизни человеческой и принесли все ужасные, вредные плоды, отравившие жизнь и поразившие ее, наконец, болезнями, нищетой, голодом и расстроившие самую планету, на которой мы живем. И вот, таким образом, жизнь вошла, насильно втиснута в эту ужасную колею, которая противоречит всему природному, естественному развитию, давит страсти, морит все, убивает жизнь!

Итак, люди всегда стремились к переменам, потому что им жить было худо. В этом только смысле, можно сказать, с самых давних времен началась наука общественная, потому что человек с самого рожденья носил в себе страсти, которые просились к выполнению,—эта потребность была сознана им, но не была понята ясно, как теперь. Даже и теперь, в этом отношении, погружена в невежество едва ли не вся Европа, а про другие земли и говорить нечего: там постыдные религиозные предрассудки, рабство женщины и ничтожные знания законов природы удерживают развитие, оковали цепями живую, свободную душу человека и стройные силы ее.

Отчего человек терпит несчастия,—причины непосредственные, окружающие нас ежеминутно, которые превращают жизнь нашу в вечные жалобы и печали, объяснены, раскрыты достоверно учением, которое созревало, росло и, наконец, высказано было и объяснено Фурье и стало понятно каждому из нас.

Человечество шло постоянно вперед, и новейшие открытия и истины социальные, это—материалы одной и той же науки огромной, в которую сливаются все, для которой все другие науки—средства—науки счастья. Всегда, во всякое время, везде человек боялся страданья и искал счастья, и что ж, нашел ли он его до сих пор и избежал ли он страдания?!. Нечего говорить о той стране, которую можно назвать работницей на весь мир и указать примером нищеты и роскоши; стоит взглянуть на каждодневную жизнь нашу и полюбоваться всем, что видим кругом себя. Мы живем в столице безобразной, громадной, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом; скопище, разрозненное все семействами, которые вредят друг другу, теряют время и силу и объединяются в бесполезных трудах. И там, за столицей, ползут города,—единственная цель, высочайшее счастье для них, апогея их величия недосягаемого—сделаться многолюдным, развратным, больным, чудо-

вищным, как столица! А еще пониже десятки миллионов работников целый день летом и на солнце и дожде сглаживают, возятся с землей, да еще не с своей, чтоб она дала скудные плоды... Но не для этого человек так долго трудился, и не здесь венец трудов его,—он ждет его, он заслужил его и возьмет его скоро, и покроет им свою измученную главу, и предстанет царем земли. И в это самое время, как все еще в темноте, сомненьи, гремят предрассудки, и человек размножается сам на свою гибель; со дня рождения до смерти в нищете, грязи проводит жизнь; мученья обезображивают его лицо; когда женщина, даже с красотою, в отчаяньи идет в публичный дом и продает себя, или, закрыв черною одеждою грудь и плечи, свои волосы, весь свой стан, погребает себя в монастырь,—в эти дни, в этом самом обществе, мы собрались сегодня не для жалоб и не для этих несчастных повествований; напротив, полны надеждой, торжеством, весельем, накрыли стол и, переносясь в будущее время и скоро ожидаемое всеми, мы даем обед, залогом лучших дней, и празднуем грядущее искупление всего человечества; сегодня, именно сегодня—в день рождения Фурье—празднуем день его рожденья, чтим его память; его, потому, что он указал нам путь, по которому итти, открыл источник богатства, счастья.

После этой мысли другая представляется мне важнее всех—сегодня первый обед фурьеристов в России, все они здесь: 10 человек, немногим более. Все начинается с малого и растет до великого. Нас мало, очень мало в этой стране! Тем более мы должны понять и оценить себя, без скромности сознать важность себя. Природа в мире человеческом употребляет орудием же человека! Он как действователь ее, выносит из себя, высказывает законы, внушенные ею,—общие законы жизни всей вселенной, с которой в тесной связи находится и вся его жизнь. Развитие вселенной влечет за собой развитие человека, и человечество не опоздает в общем ходе стремления тех сил, которыми одушевлены миллионы бесконечных великанов миров, которых человек хотя не знает, но носит в себе отпечаток каждого. Мы должны гордиться тем, что природа нас выбрала для развития своих возвышенных целей в человеческом роде. Нас окружают сотни миллионов людей, которые оглушены бреднями и не знают о том, что ожидает их новая жизнь и что они должны приготовиться к принятию ее. Наше дело высказать им всю ложь, жалость этого положения и обрадовать их, и возве-

стить им новую жизнь. Да, мы, мы все должны это сделать и должны помнить, за какое великое дело беремся. Законы природы, растоптанные учением невежества, восстановить; реставрировать образ божий человека—во всем его величии и красоте, для которой он жил столько времени; освободить и организовать высокие стройные страсти, стесненные, подавленные; разрушить столицы, города и все материалы их употребить для других зданий и всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, страма превратить в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах,—вот цель наша, великая цель, больше которой не было на земле другой цели. Сознав это, ясно, что все разногласия маленькие во мнениях, которые иногда посещали нас, должны исчезнуть перед нею, и все действия превратиться в единство. Мы здесь, в нашей стране начнем преобразованье, а кончит его вся земля. Да, господа, обед сегодняшний—событие важное,—он дается нами, действователями природы, во имя будущего торжества истины над невежеством, истины, которою скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий!

Наслажденье—пускай будет наш девиз!

30 марта. Ночь.
1849 г.

Ф. Г. ТОЛЛЬ.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ РЕЛИГИИ [1]).

Народ есть сумма неделимых, поэтому явления в народе имеют свое основание в природе неделимых. Так как религии рождаются на всех степенях развития народов, что видно из того, что и самоеды и чукчи имеют свою религию, и что христианская и магометанская родились у народов, уже весьма образованных,—то мы и должны определить их происхождение на различных ступенях общественного развития. Из этого увидим мы, что как, с одной стороны, религии народов неразвитых проистекают единственно из чувства подавленности человека грубыми, но гигантскими силами природы, так, с другой, религии народов образованных имеют источник свой единственно в желании их основателей скрепить свои нравственные и гражданские кодексы внешним авторитетом. Вечно чувствуя себя под влиянием внешней физической природы, человек до сих пор пока еще не научился сам порабощать ее, поражен ею, как чем-то громадным, великим и грозным. Он невольно противополагает себя ей, как бессильное, жалкое, ничтожное существо, могущее быть уничтоженным малейшим переворотом в ней. Это непосредственное чувство своего ничтожества перед величием природы не связано ни с каким иным чувством или рассуждением. Только цивилизованный человек единовременно чувствует и мыслит и, чувствуя, не может не мыслить. Оттого он и не может представить себе чувства раздельно от мысли и даже предполагает, как все психологи, что в основании каждого чувства лежит суждение. Суждение—разъяснение чувства; прежде существует чувство, а потом уже ум является для проверки его и для показания, что оно имеет твердое основание.

---

[1]) Набросок речи, прочитанной у Петрашевского в пятницу, 11 марта 1849 г. (Дело № 55, ч. 22-я, л. 14—15.) *Ред.*

Так как человек дикий—то же, что дитя, потому что так же, как и оно, не испытывал еще своих сил, то я думаю, что лучше всего будет взять дитя и посмотреть, как в нем происходит процесс религиозный. Если какой-нибудь предмет поразил дитя, то оно чувствует к нему боязнь, смешанную с уважением, например, молния, розга, и вовсе не старается [sic!] до причины, по которой этот предмет так или иначе подействовал на него. Показывайте ему этот предмет со всех сторон, во всех его явлениях, полезных и дурных, и дитя будет чувствовать к нему чувство религиозное, т.-е. вместе любить и бояться его, т.-е. поклоняться ему. Каким образом? Внутренне или внешне — в этом нет важности. Оставьте это дитя неразвитым, и оно никогда не будет стараться искать какого-нибудь основания этому явлению и, следовательно, до самой гробовой доски будет поклоняться самому явлению. Это поклонение природе и ее частным явлениям у американских дикарей.

Но самая жизнь развивает человека, на каждом шагу упражняя его ум и беспрестанно вызывая его к деятельности. Видя, что всегда одно и то же явление следует за одним и тем же, человек свыкается с этим и, когда видит одно, начинает непременно предполагать и другое. Так рождается в нем категория причинности, которую он мало-помалу начинает переносить и в те явления, которые представляются ему непосредственно без предшествующих. Здесь является уже у него любознательность, которая не довольствуется привычкою, а ищет оснований и источника. Но и теперь еще он поклоняется только явлениям, с тою разницею, что эти явления выше прежних. Сначала он поклонялся непосредственно тому, которое поражало его; теперь он нашел причину его в другом явлении и поклоняется этому; таким образом, мало-помалу переходя от ближайшей к высшей причине, он на пути своем поклоняется каждой высшей ступени явлений, пока, наконец, находит связь между всеми и предполагает всем им один источник. Так родилась первая индейская вера в Индру, так родилась первая египетская в . . . . . [1]), еврейская—в Егову, которому предшествовали . . . . [2]). [Но параллельно с религиею или, лучше сказать, впереди ее развивается гражданская жизнь народа, становятся нужны законы, чтобы сдержать необузданную массу народа, нужен

---

[1]) Пропуск в подлиннике. *Ред.*

[2]) Пропуск в подлиннике. *Ред.*

нравственный и политический кодекс, предписывающий ей пределы.] Прежде народ не имел надобности в этом, потому что без него тепло верил в своего бога, братски любил своих ближних, был равен им и свободен, значит—обладал тем, чего, как прекрасной, но отдаленной мечты, добивается в настоящую минуту вся Европа,—благосостоянием. Но вот это благосостояние нарушено вторжением чуждого народа, побеждающего его и полагающего начало неравенству; является сильный и слабый, из братьев люди делаются членами каст, побежденный становится рабом, а следовательно, льстецом, человеком без убеждений. Рабство физическое начинает вредно действовать на дух: теряется прежняя наивность, заставлявшая действовать всегда под влиянием одного побуждения природы, прежнюю энергию заменяет расслабление нравов. Народ гибнет—нужен избавитель. Нужен человек, который снова скрепил бы связь между человеком и природою, который нашел бы скрепляющую цепь между прежним наивным, натуральным действованием и сознательным действованием под влиянием законов нравственных и политических. Но логика бессильна относительно большинства, авторитет законодателя может пережить его только несколькими годами, а между тем, по его убеждению, законы его так совершенны, что должны завещать невозмутимое благосостояние народу. Итак, законодатель решается, из любви к своему народу и чтобы укрепить за ним это благосостояние навсегда, на обман. Он видит, что авторитет должен изменить свое основание в самых верованиях народа, иначе народ не примет его, не примет, следовательно, и законодательства, связанного с ним. Религия, выработавшаяся из жизни самого этого народа, представляет ему такой авторитет в лице бога, Гома, Ормузда, Еговы, Озириса; он низводит бога на землю, заставляет его из любви к одному народу принять человеческий образ, говорить языком доступным этому народу, создать для него кодекс морали и государственной жизни.

Таким образом явились в критическую минуту Ману, Будда, Зороастр, неизвестный основатель египетской религии, Моисей, Орфей, Гомер, Христос. Все они старались подслушать таинственный голос минувшего, повествовавшего о философии природы, все старались отыскать ключ к морали, которой главными задачами было установление равенства, братства и свободы между людьми, главною целью—благополучие людей. С тою разницею, что один решал эту

задачу и думал достигнуть этой цели более духовным, другой — более материальным путем, один был решительнее, менее боялся разрушать старое, другой хотел примирить свою мораль с существующим порядком вещей, найти точку соприкосновения рабства с свободою, братства с господством, равенства с кастами. Оттого первый находил мало отголосков на своей родине, в стране, где начал проповедывать, второй, заменяя зло злом или, лучше сказать, ничего не заменяя и не изменяя, только утверждал прежнее, давал ему более прочное основание. Так Ману, явившийся тогда, когда Индия была уже порабощена неизвестными покорителями, и из этого порабощения развилось, как необходимое следствие, различие каст.

Н. С. КАШКИН.

ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ И ПОЗИТИВНЫЙ МЕТОДЫ В СОЦИОЛОГИИ [1]).

В последний раз было сказано, что форма правления недостаточна, чтобы привести человека к осуществлению стремления его к счастью; это должно быть делом науки; но какой? Чтобы отвечать на этот вопрос, мы должны рассмотреть те различные науки, которые составляют область ведения человеческого. По принятому доныне разделению, все науки причисляются к двум главным категориям, к двум разрядам, имеющим между собой важное, характеристическое отличие: к наукам точным и неточным. Характеристическую особенность тех и других находят именно в том, что науки точные берут в основание факты из природы, истины непреложные, и потом, анализом и синтезом, выводят из фактов этих законы, которым эти факты подчинены, которыми они обусловлены, по которым они существуют именно так, а не иначе. Эти-то выводы, эти законы, соединенные в стройное целое и подкрепленные фактами, взятыми из природы, не подверженными сомнению, составляют теорию, науку. Так физика, астрономия и др. Науками же неточными называют те, которые в основание берут не факты из природы, непреложные, но или положения, взятые из одного разума, выдуманные, под которые потом стараются, для оправдания их, подвести факты из общественной жизни, предоставляя себе притом право и искажать их, если они не совсем подходят под их определения, или же самые факты общественной жизни (а не природы), т.-е. вытекающие из устройства общества так, как оно есть, так, как оно до сих пор осуществилось, проявилось, а не

1) Прочтено в собрании у Кашкина, зимою 1848 г. (Дело № 55, ч. 18-я, л. 12—18.)

так, как оно должно бы осуществиться, проявиться, на основании законов природы. (Как пример первых мы можем взять политику, когда ученые, поставив в основание (из разума) превосходство одного образа правления пред другим, стараются фактами историческими и статистическими доказать это положение, поступая иногда недобросовестно, намеренно искажая факты или делая то же самое под влиянием увлечения, произведенного их же собственной идеей. Примером других может служить политическая экономия, где ученые, принимая в основание известные факты существующие и считая их только возможными, сравнением выбирают из них лучшие и на этом основании строят науку свою, не принимая в расчет того, что эти факты не суть единственно возможные, но суть результаты известных начал, и что под влиянием других начал, может быть, более верных, более близких общим законам природы, проявились бы другие факты, также более удовлетворительные, более совершенные, которые они упускают из вида.)

Основываясь на этом отличии, к точным наукам причисляют одни науки естественные, к неточным—нравственно-политические, которые все, по выражению Auguste Comte'a, определяются словом science sociale, наука общественная («Cours de politique positive») [1].

Разделение это кажется мне совершенно ложным; я думаю, что как естественные науки, так и наука общественная должны быть совершенно точными; иначе они бы не были науками. Я вижу противоречие между словами наука и неточная. В самом деле, что такое наука? Я определял себе науку как систематическое построение общих разумных выводов из оснований верных, непреложных. Этих-то оснований я и не вижу в общественной науке и потому не признаю за ней права гражданства между науками естественными, удовлетворяющими этому требованию разума. Науку, не имеющую в основании своем общих, непогрешимых истин, я назову не наукой, а фантазерством, гипотезою. Но это не приведет меня к отрицанию возможности этой науки, но только к тому заключению, что наука эта еще не созрела, что люди, искавшие ее, сбились с пути, искали ее не там, где могли найти ее. В самом деле, мы видим то же явление и в естественных науках. Ученые, наблюдая некоторые факты, представляв-

---

[1]) «Cours de philosophie positive». P. 1830—1842. *Ред.*

шиеся им в природе, думали открыть закон совершения этих фактов; они делали гипотезу, которую считали верною, принимали за закон, до тех пор, пока наблюдение других фактов, противоречащих этой гипотезе, не убеждало их в противном. Фактов переменить было нельзя, они точно существовали, были верны; оставалось переменить гипотезу, найти другой закон. Они не сомневались в существовании этого закона, в возможности открыть его; отбросив старую гипотезу, они продолжали труд, начинали снова искать другую. Не легко доставалась им истина, веками доходили они до нее, не без борьбы преодолевали они препятствия; сколько деятелей на почве науки погибло, не дошед до результата своих стремлений. Сколько было напрасных усилий, сколько уныния, сколько отчаяния, наконец, сколько жертв, сколько мучеников,—но не бесплодны были их усилия, не погибли для человечества их стремления, нашлись сильные груди, мощные натуры, которые выдержали борьбу и мало-помалу, постепенно истина открывает свое чело пред поклонниками своими. Не будем же предаваться отчаянью, не будем отрицать того, что еще не ясно для нас, но будем смело и неутомимо итти вперед, искать истину: честь и слава тому, кто найдет ее!.. Но первый шаг к познанию добра есть отрицание зла. Чтобы открыть истину, признаемся прежде, что мы находимся в царстве лжи, и восстанем против источников ее.

Зададим себе вопрос: к чему привели нас науки, называющие себя, как бы в сознание своего бессилия, неточными? Для более ясного рассмотрения разделим их на четыре главных отдела: метафизику, мораль, политику и политическую экономию.

Начнем с первой.

Мне кажется, что задачей метафизики было понять, определить природу человека, чтобы, на основании этого познания природы человека, определить и цель существования его, цель, к которой он должен стремиться как индивидуально, так и в массе, словом, определить природу человека и судьбы человечества.

Но выполнила ли метафизика задачу свою? На это можно положительно отвечать: нет. В противность другим наукам, стремящимся расширить круг деятельности своей, метафизика стеснила область свою, позволила другим наукам вторгнуться в сферу свою, занялась только определением некоторых способностей человека, как-то: perception, intuition, cognition, sensations, abstraction и проч. Здесь философы

впали в погрешность: вместо того, чтобы наблюдать проявление этих способностей в природе Гегель сказал: понять то, что есть, — задача философии, ибо то, что есть — разум. Положив такое основание, что сделали философы? Они заперлись в свои кабинеты и там старались подметить процесс мышления своего. Они хотели исследовать орудие мышления своего этим же самым орудием, свой разум хотели понять и определить своим же разумом; одна и та же способность была в то же время и целью и средством их наблюдений, и предметом и орудием. Степенная, важно-глубокомысленная философия определила себе человека как мышление; науку признала целью; обобщая каждый вопрос, она выходила из жизни в отвлечение и оканчивала односторонним разрешением. Германские реформаторы, уничтожив в половине Германии католицизм, не выступили из области теологии и схоластических споров. «Наука есть наука, и единый путь ее—абстракция»,—это стих из Корана. Они на все отвечают громкими словами и вместо того, чтобы наполнить в самом деле пропасти, делящие сферы отвлеченные от действительных, противоречия в жизни и мышлении,— прикрывают их легкими тканями искусственной диалектической фиоритуры. Растягивать все сущее на одр формализма нетрудно для тех, кто не внемлет никакому протесту со стороны сущего.

Философов, с грехом пополам, можно оправдать только тем, что они себя первых обманывают своими фокусами. Они удовлетворились, покойны, дальше итти не могут: они не знают и не могут себе представить, что́ есть дальше. Взяв одни буквы, одни слова, они ими заглушили всякое сострадание, всякое теплое сочувствие. Они намеренно с усилиями поднялись на точку равнодушия ко всему человеческому, считая ее за истинную высоту: мертвое уничтожение в бесконечном считают они свободой и целью и, чем выше поднимаются в морозные сферы отвлечений, отрываясь от всего живого, тем покойнее себя чувствуют. Неизлечимо отчаянное положение их состоит в этом чрезвычайном довольстве; они со всем примирились, их взгляд выражает спокойствие, немного стеклянное, но невозмутимое изнутри; им осталось почивать и наслаждаться, прочее все сделано или сделается само собою. Им удивительно, о чем люди хлопочут, когда все объяснено, сознано, и человечество достигло абсолютной формы бытия, что доказало ясно тем, что современная философия есть абсолютная философия, а наука все-

тда является тождественно эпохе, но как ее результат, т.-е. по совершении в бытии [1]). Для них такое доказательство неопровержимо. Фактами их не смутишь—они пренебрегают ими. Спросите их, отчего при этой абсолютной форме бытия в Манчестере и Бирмингаме работники мрут с голода: они скажут, что это случайность. А дело в том, что факты им и не покоряются вовсе. Они, как китайский император, считают себя владетелями всего земного шара, что, однакоже, не мешает всему земному шару, за исключением Китая, вовсе не зависеть от него. Это стремленье поставить разум человека выше законов природы, из одного разума извлечь и создать такой общественный порядок, который бы вполне удовлетворил стремление человека к счастью, видим мы у всех философов. Это есть их главная погрешность. В этом причина их бессилия, в этом слабость, доводившая их иногда до смешного. Так, Cousin из общей формулы человечества чуть не выводил кривой шеи Александра Македонского.

Для примера возьмем Канта. Вот слова его: «Всякий отдельный человек имеет внутри себя, в душе своей, идеал нравственного совершенства, который он должен осуществить, но вместе с тем человек одарен побуждениями физическими, животными, которые влекут его ко злу; из этих различных стремлений вытекает антагонизм добра и зла как в отдельном человеке, так и людей в обществе, которое природа употребляет как средство развития способностей человека, как источник законного порядка в обществе» [2]).

Не противоречит ли это определение общему закону природы, по которому все потребности, все стремления, все страсти должны ужиться в гармоническом сочетании? Но есть ли этот дуализм, это понятие о борьбе доброго и злого начала в человеке, плод того ложного положения, которое хочет поставить разум человека выше законов природы? Посмотрим далее.

«Природа хотела,—говорит Кант,—чтобы все, что в че-

---

[1]) Это не выдумка, а действительно сказано в «Истории философии» Bayrhoffer'a, «Die Jdeen und Geschichte der Philosophie» Leipzig 1838, последняя глава.

[2]) Traité publié en 1784, dont l'analyse se trouve dans le Conservateur, recueil publié en 1801 par Francois de Neufchateau (В. «Le Conservateur ou recueil de morceaux inédits d'histoire de politique tirés des portefeuilles de N. Francois», напечатан перевод сочинения Канта „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht». (См. В. И. Семевский «Голос Минувшего» 1913 г., № 4, стр. 177.) *Ред.*

ловеке находится вне механического порядка его животного существования, он извлекал бы из самого себя; чтобы он не мог найти счастия, достигнуть совершенства, вне того счастия, того совершенства, которого он может достигнуть сам собою, которое он может найти одним собственным разумом, очищенным от инстинкта».

Здесь опять Кант ставит собственный, единичный разум человека выше общего разума природы, хочет, чтобы человек искал счастия и совершенства собственным разумом своим, не принимая в расчет того инстинкта, тех страстей, которые даны человеку общим, высшим разумом природы. Но где же источник единичного разума отдельного человека? Конечно, в высшем разумном существе, которое создало самого человека, и создало его не из одного разума, но дало ему и чувства, страсти. Откуда же взялась у человека дерзкая мысль ставить себя выше разума природы, создавшего его, присвоить рассудку монополию управления обществом и устранить, исключить из дележа власти страсти, получившие при создании его ровные с ним права на это управление? Из ложного положения, принятого философами, что разум есть единственный источник истины и добра, что он должен исключительно управлять человеком. Мне кажется, что, не изменив этого положения, мы никогда не дойдем до совершенства и счастья.

Инстинкт человека, его страсти никогда не подчинялись и никогда не подчинятся разуму; из столкновения их всегда происходила и будет происходить борьба, а понятие борьбы противоположно понятию гармонии. Такое понятие прямо ведет к атеизму. Неверующий видит между людьми страдания, ненависть, нищету, притеснения, необразованность, беспрерывную борьбу и несчастия, ищет средства помочь всем этим бедствиям и, не нашед его, восклицает: «Если такова судьба человечества, то нет провидения, нет высшего начала!». И напрасно священники и философы будут ему говорить, что «небеса провозглашают славу божию!». Нет, скажет он, страдания человечества гораздо громче провозглашают злобу божию. Чем более творение его—вся природа—выказывает его искусство, его мудрость, тем более он достоин порицания за то, что, имея возможность к этому, он не позаботился о счастии людей. К чему нам все это поразительное величие звездных миров, когда мы не видим конца нашим страданиям? Пускай. Но для чего делать это высшему разуму, создавшему всю вселен-

ную? И какая ему честь в том, что он создал вселенную? Если все эти миры населены такими же несчастными созданиями, как и мы, то ему мало чести в том, что он умеет так размножать число несчастных, если же между ними есть населенные счастливыми существами, то мы должны только упрекать его в несправедливости к нам. Во всяком случае мы можем скорее видеть в нем духа зла, нежели начало всего доброго и прекрасного!

И атеиста нельзя винить за такое мнение. Да разве не всякий день слепо верующие воссылают к богу хор упреков? Вся разница в форме, но какое дело богу до учтивой формы? Разве молитва, в которой его просят о богатстве, о здоровье, о счастье,—не тот же косвенный упрек? Не есть ли это порицание за то, что он не дал богатства, не дал здоровья, не дал счастья? По моему мнению, неверующий поступает гораздо логичнее слепо верующего. И в самом деле, не разумнее ли отрицать вовсе существование всемудрого и всеблагого существа, нежели утверждать, что оно есть и всеблаго, но не хочет дать счастье стольким миллионам созданий своих; что оно всемудро—и не может изменить такого порядка, в котором бедный ежеминутно завидует изобилию богатого, раб—свободе господина, женщина—мужчине, дети—старикам и старики—детям, где один человек заставляет работать для себя другого человека то угрозой палки, то угрозой голодной смерти...

Но истина не в слепой вере, не в неверии, не в том, не в другом метафизическом учении: истина в природе. В ней высший разум начертал волю свою, и из природы человек должен перенести ее в свою жизнь, в свое общественное устройство. Он научился открывать в естественных науках законы природы: остается применить их к науке общественной. И когда он это сделает, человечество будет иметь закон счастья и совершенства; пока же он не осуществит воли высшего начала, творца своего, ясно начертанной в великой книге природы,—будет борьба, будет мрак, будет несчастье, царство зла и лжи.

Заключим прекрасными словами Искандера: «Вера в будущее—наше благороднейшее право, наше неотъемлемое благо; веруя в него, мы полны любви к настоящему».

И эта вера в будущее спасет нас в тяжкие минуты отчаяния, и эта любовь к настоящему будет жива благими деяниями!

II

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ

М. В. ПЕТРАШЕВСКИЙ
Д. Д. АХШАРУМОВ
А. П. БАЛАСОГЛО

ПОКАЗАНИЯ М. В. ПЕТРАШЕВСКОГО [1]).

Не во имя закона, но во имя чувства совести и справедливости.

Я просил у вас позволения сказать что-нибудь в свою защиту или оправдание—для разъяснения неясного в этом деле... Последние ответы, данные мною комиссии—на вопросы, ею предложенные,—были для меня ужасным нравственным мучением... Не два месяца заключения тяготят меня, но дни, проведенные после дачи последних ответов... Будь меньше философом, будь меньше социалистом, чем я на деле есть, не знай огромной зависимости, в которой находится человек от всего его окружающего,—самоубийство было бы для меня благим успокоительным средством... Теперь мне непременно представляется... то ужасная провокация—хитрая коварная проделка—agent provocateur Черносвитова, то действия Спешнева—месть тонкая оскорбленного самолюбия, то тревожит меня мысль (ибо обвинитель мне неведом), что обвинение это вышло из уст женщины, которой довольно захотеть понравиться, чтоб быть обворожительной,—женщины, в которую мне влюбиться, быть может, помешало заключение; то вижу я ряд моих благих стремлений худо понятыми и истолкованными на мою гибель и осуждение... Не знать ни одного за собой неблагого желания—и видеть себя обвиненным за худые помышления других!.. Это ужасно!.. Вот предметы неутешительные, около которых вращается мысль моя!

Вы видите перед собою человека, ужасно потрясенного, чуть нравственно не убитого!.. Не глядите же слишком строго и внимательно на каждое из слов, мною написанных! Не смотрите на слова мои—более—взором суровым следователей, ...но выслушайте речь мою, как выслушивает человек

1) Дело № 55, ч. 5-я т. I, л. 259—264.

с сердцем, испытавший несчастья, рассказ другого несчастного о его несчастьях!.. Поймите общее чувство, их оживляющее... Пусть, читая эти строки, вместо желания отыскать что-либо преступное, ...ваши души согреет сочувствие!... и это сочувствие да не будет бесплодно!..

Я двадцать раз проклинаю, что не сохранил моей первоначальной решимости—ничего не отвечать... За это ожидало меня, быть может, наказание, но зато тех нравственных страданий, что мною испытаны, я бы не испытал... от них выболит сердце... зачерстветь может душа... Когда я находился в тяжелом раздумьи, как отвечать по разговору с Черносвитовым, я думал, как бы не повредить Спешневу,—в это время мне хорошо было уже известно, что Черносвитов был agent provocateur, Спешневым все было сделано на гибель мою и других... Войдите в мое положение... не слишком завидное, г.г. следователи.

Не знал я минут тягостнее этих... эти строки пишу я кровью сердца... их не орошают слезы потому, что слезы у меня высохли с тринадцати лет... Совершая это, я исполняю тяжелый долг, т.-е. пытаюсь пребыть верным тому принципу, который на двадцатом году моем избрал я себе в путеводители... «Fais ce que tu dois advient ce qu'il pourra». Тогда тоже душу мою волновали нерадостные чувства... Три месяца сряду занимала меня мысль о самоубийстве... Три месяца лежал подле меня заряженный пистолет... Не любовь, ... не блажь, подобная этому, привела меня к этим помыслам, но чисто философское размышление... Я заставлен был холодным размышлением признать зависимость совершенную всех жизненных явлений в человеке от общих законов природы; я заставлен был признать ничтожность своей личности пред лицом природы и отбросить в сторону всякое самолюбивое мечтание, отвергнуть в себе то, что называется свободою произвола, и высшею мудростью признать—стремление правильно последовать законам природы... Разбить вдребезги все горделивые мечты... Мною было это совершено,—и тогда я признал безразличие для себя жизни и смерти... Три месяца разрешал я себе этот вопрос... Ему б не тяготить меня, если б у нас где-нибудь давалось толковое философское образование... и этот вопрос себе я так разрешил: «Все в природе между собою находится в тесной связи и зависимости. Всякое существо имеет свое назначение. Назначение же каждого существа состоит в полном развитии его

свойств—это и составляет его счастие.—Так как все в природе состоит в тесной связи, то необходимо, чтоб всякое существо выполняло его назначение—для сохранения общей гармонии. Животным их назначение указывает инстинкт, а человеку—его разум.—Что каждое существо в природе следует считать результатом совокупного действия сил природы. Что насильственное или преждевременное уничтожение всякого существа разрушает общую мировую гармонию». Почему я, в каком бы положении ни находился, уничтожить свою жизнь не вправе, равно как не вправе—в пользу своей личности—наносить какой бы то ни было вред существам, мне по природе равным, но обязан заботиться о сохранении своего благосостояния и благосостояния ближнего.

Вот это воззрение, вместе с чувством животным—самосохранения, и побудило меня писать и говорить с вами о себе, во имя целого общества, целого человечества, а, может быть, и от лица всей природы.

Моя обязанность, как человека, была быть деятельным ради своей пользы и пользы ближнего... Сфера умственной деятельности—вот поприще, мне указанное природою... Что все в моих поступках по цели было хорошо,—этого убеждения ничто не может во мне изменить.

Но я преследуюсь, как преступник,—те действия, которые я считал благими, именуются неблаговидными; преследуюсь во имя общества, как человек, ему своею деятельностью вред нанесший... Что вы называете вредом—я то считаю делом благим... Но дело не в этом... Вы хозяева—я же пришлец в отношении к вам и знаю пословицу, что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Признаю, что нанес вред, и признаю то, что на мне лежит нравственная обязанность—вознаградить общество за вред, ему нанесенный. Вот эту обязанность и желаю я выполнить. Вознаградить за этот вред не чем иным могу, как моей нравственной деятельностью.

Вот то, чем богато надеюсь заплатить за выкуп себя и всех товарищей моего заключения:

1) Предполагаю разрешить вопрос об открытом судопроизводстве и применении jury к процессу уголовному и гражданскому, соответственно с потребностями нашего быта обще-

ственного, без изменения существующих между сословиями отношений. Все относящееся до разрешения этого вопроса у меня в главных чертах обдумано. Не буду распространяться о благодетельном влиянии этого на быт общественный. Оно неисчислимо. Скажу только, что те дела, которые ныне тянутся по 80 лет (таких немало), не длились бы и года, и что сотни миллионов, лежащие в деньгах и имениях под запрещениями, пришли бы в движение... это бы значительно оживило жизнь общественную и улучшило как частный, так и государственный кредит.

2) Сделаю не разбор, а оценку Уголовного уложения, покажу в цифрах благодетельное и вредное влияние каждого закона на быт общественный.—Избираю я уголовные законы потому, что это есть ключ свода, сдерживающий все части законодательства и здания общественного. Мысль, как это совершить, принадлежит мне собственно. Надеюсь, что это будет посолиднее «Esprit des lois» Montesquieux. Этот один труд может дать всякому европейскую известность. Важность вся в плане. Исполнить его легко может всякий по моему указанию. Этот план удобоприменим ко всем законодательствам.

3) Укажу способы—множество мер, которые могут содействовать к разрешению вопроса об освобождении крестьян—этого труднейшего и щекотливейшего из вопросов нашего быта общественного. Это у меня в главных чертах обдумано. Литографированная программа есть только легкий намек на это.

4) Укажу на несколько мер—по разным отраслям государственного хозяйства,—которые могут послужить к увеличению государственных доходов—без введения новых налогов, даже чрез уменьшение некоторых существующих. Одна из сих мер—чрез уменьшение существующего налога или сбора более чем на 80%—может дать государству ежегодного дохода более 150.000 руб. серебром.

5) Укажу на многие меры, полезные для общежития вообще. Полезность всего этого может быть доказана математически; а что мне возможно исполнение этого—подтверждения у вас при деле и в бумагах моих находятся.

Исполню это, но дайте же мне к этому средства, т.-е. возвратите мне мои книги, мои бумаги, дайте еще книг, какие потребую...

Но, быть может, все это неуместно в России, и я родился

для нее преждевременно, но зато, быть может, весьма вовремя для человечества,—не лишайте же меня возможности быть ему полезным. Есть нравственная солидарность—взаимная нравственная связь и зависимость—между всяким гражданским общежитием и целым человечеством... уважьте же ее... На Западе далеко не решены еще все вопросы... Быть может, приходит пора и русскому уму, развившемуся вдали от волнений тревожных жизни общественной Запада, сказать толковое слово в беседе всего человечества... Моя умственная деятельность и там может быть пригодна: и там в людях способных, толковых и хорошо образованных нет еще избытка.

Приймите это,—если угодно—глядя с точки зрения юридической,—за выражение раскаяния, хоть я при этом не рву волос и не плачу; приймите за выражение желания исправить совершенное зло... В этом вы вольны поступить как угодно,—я же исполнил только свою обязанность, пребыл только верен самому себе.

Теперь позвольте вам сказать несколько слов о себе в качестве обвиненного и русского, позвольте коснуться самого щекотливого из вопросов судебных—вопроса о вменяемости деяния в преступлении.

Не стану рассказывать вам обстоятельств моей жизни—они могут навести на вас тоску; чтоб их характеризовать, припомню вам известное, именно то, что у меня на 13-м году слезы высохли, а чтоб обрисовать вам картину моего семейственного счастья, я приведу слова моей матери, сказанные над отцом (которого я очень любил), только что умершим от водяной. Вот они: «Ты уморил отца», и потом, обращаясь к многим посторонним лицам, она еще прибавила: «Полюбуйтесь, господа, на примерного сына—он радуется смерти отца»... и т. п. В двадцать лет судьба заставила меня иметь равнодушие к жизни, свойственное старости... Не находя ничего достойным своей привязанности—ни из женщин, ни из мужчин,—я обрек себя на служение человечеству, и стремление к общему благу заменило во мне эгоизм и чувство самосохранения, уважение к истине подавило во мне всякую вспышку самолюбия. Вы найдете за 7 лет или более пред сим писанные стихи (они есть в моих бумагах), быть может, не слишком складные, выражающие чувства заключенного подобно мне—они почти то же выражают, что и теперь я вам... при этом деле в себе обнаружил...

Чтоб найти приличное место для употребления моих спо-

собностей, мне незачем было ходить вдаль, мне стоило только обратить внимание на мое отечество. Петр Великий, преобразуя Россию, сделал две ошибки, которые помешали благим его начинаниям принести всю предполагаемую им от них пользу. Так, он завел Академию, когда не было школ народных. Круто принявшись за дело, он сдвинул, так сказать, с места организм русского быта общественного—уничтожил многое, что у нас органически развивалось, заменил это искусственной организацией. Все лучшее из народа ввел в администрацию (для его времени это было хорошо),—оттого наша общественная жизненная сила ослабела... Вся кровь прилила к голове, желудок расстроился, и организм стал чахнуть... После него интересы администрации, т.-е. мира чиновников, разошлись еще более с интересами прочего общества. В обществе (из него было изъято все полное силы нравственной) осталось все неподвижное, апатичное, по ограниченности своей враждебное без различия всякому усовершенствованию—новизне... Это остается и теперь еще так... Вот отчего меры поистине благодетельные правительства в обществе—именно в том слое общества, в котором ему следовало бы находить наибольшее сочувствие—находят его весьма мало... В администрации, в течение времени, влияние гения Петра исчезло, установилась своя рутина, возникла тоже вражда к усовершенствованиям, как изгоняющим рутину... Рутина же, по выражению графа Канкрина, превратилась в «Как-нибудь-изм». Екатерина II пыталась было это исправить... Но вот 60 лет, как благие семена, ею брошенные, не всходили до сих пор на почве русской общественности—по тем же причинам.

Знание этого заставило меня предпочесть скромную деятельность гражданина в сфере, мне правами моего сословия предоставленной, блистательным успехам на поприще административном.

Это все равно как и молва, которую подтверждали в некоторой степени многие предшествующие указы его императорского величества, как, например, об обязанных крестьянах, о продаже с публичного торга просроченных имений, о частной собственности крестьян, постановление, вышедшее в дополнение к грузинскому закону, что его императорскому величеству благоугодно видеть крестьян освобожденными,—обратили мое внимание на этот вопрос и внушили мне желание предложить в с.-петербургском дворянском собрании несколько мер, прямо способствующих к возвы-

шению ценности населенных имений и косвенно содействующих к освобождению крестьян.

Вот отсюда—от литографированного листка-программы предложений, выражающей мое желание сделать предложение,—и начинаются обвинения, на меня взводимые. Разберите хорошенько и найдете, что это обстоятельство должно быть поставлено не в числе обстоятельств, служащих к моему обвинению, но к оправданию или к уменьшению виновности всякого человека, в моем положении находящегося.

Господин губернский предводитель дворянства Потемкин объявил мне словесно, что, будто бы, его императорскому величеству благоугодно, дабы о сем предмете не было рассуждений. Привыкши свято чтить волю монарха, в какой бы форме она ни выражалась, мною предложения мои не были прочитаны, вполне нигде и никому не изъяснены, хотя на сие имел по закону полное право. Одним словом, в этом случае принес я жертву: отступился от пользования законным правом, от весьма большого удовольствия—разрешить многое в труднейшем из всех вопросов нашей общественной жизни,—отказался от права и принес в жертву самолюбие!.. Две жертвы и немалые.

Еще мне поставлялось в вину то, что я говорил о пользе и важности jury и открытого судопроизводства, как способа устранения взяток и утверждения справедливости. Как член сословия, я имею право рассуждать о нуждах и пользах своего сословия. Справедливость есть общая нужда и потребность всех сословий. Справедливость в жизни общественной—то же, что воздух в природе: чем реже воздух (как, например, под полюсом и на горах), тем слабее и беднее растительность. Чем менее справедливости, тем чахлее жизнь общественная. Внешний признак отсутствия справедливости есть взяточничество, и чем где чаще и больше берут, тем там менее справедливости. Россию по справедливости называют классической страной взяточничества, так что это еще в недавнее время заставило одну известную писательницу сказать графу Закревскому следующие стихи:

«Ужель ты мнишь, гордыней ослеплен,
Воров перевести и уничтожить взятки?..
Остынет скоро грозный пыл,
Подобно хрупкой стали, —
Ведь это кровь наших русских жил,
Мы это с млеком матери всосали!»

Отсутствие справедливости есть первый источник всех революций и общественных потрясений,—зная это, не должен ли был я, друг мирных общественных усовершенствований, обратить на этот вопрос мое особенное внимание.

Взгляните на это обстоятельство повнимательнее—и, быть может, то, что казалось действием предосудительным, окажется снова делом похвальным.

Рассказывают, что, когда его императорское величество в первый раз присутствовал в Государственном совете, то изъявил, что «первое его желание есть уничтожение взяток»,—на сие, говорят, что Мордвинов, более лаконически, нежели верно и остроумно, отвечал: «Для этого надо начать мести лестницу сверху». Не были ли слова государя императора положительным выражением желания, дабы в царствование его у нас на Руси утвердилась справедливость? Последующие действия это подтверждают... Чтоб была справедливость, надо, во-первых, чтобы был закон, во-вторых, чтоб был он гласен, и, в-третьих, чтоб он свято исполнялся. Полное собрание законов составляется, и—по успокоении его императорского величества от тревог военных—издается Свод Законов. Закон есть и гласен—нужно его только соблюдение, чтоб справедливость внедрилась в нашу общественную жизнь. Пусть дастся деяниям судьи та же гласность, как и закону. Пусть страх порицания общественного воздержит его от тех злоупотреблений, на которые он мог бы решиться посягнуть втайне... Эта мысль меня занимала сильно—и этому имеете вы не одно доказательство. Я имел намерение представить несколько проектов по этому вопросу, на некоторые вам указывал—которые обдумал. Не считая себя непогрешимым, как папа, я искал пособия в чужом уме, не хотел соваться с бессмыслицею, пожалуй, благонамеренной, но тем не менее бессмыслицею... одним словом, этот труд мой хотел исполнить, как добрый гражданин, и выполнить волю монарха, выраженную в делах его, как хороший верноподданный; из этого бог весть что выводится... Если обратить внимание на следующие статьи положительного законодательства: на статьи IX т. Св. гражд. законов о дворянстве, где говорится, что «дворянские собрания могут просить об изменении постановлений, не соответствующих местным нуждам»,—разумеется, чтоб вздумать просить, надо сперва рассудить; на ст. X т. о рукоприкладстве: «тяжущиеся имеют право указывать по их мнению на недостающие законы»,—чтоб указать на недостающий закон, я думаю, следует сперва порассудить,

Законов о гласности суда и jury недостает в нашем законодательстве, как по моему мнению, так и по мнению всех толковых людей. Мнение мое о сем был бы я вправе сообщить не только кому мне угодно, но выразить в рукоприкладстве, как же потом буду не вправе я рассуждать об этом и т. п. Имея все это в виду, значение обвинения, взведенного на меня на том основании, что рассуждал я о jury,—ученым образом совершенно уничтожается. И действие мое, названное предосудительным по незнанию законов г. обвинителем,—является деянием благонамеренным и похвальным.

Меня всегда занимали, наравне с европейскими вопросами, вопросы, относящиеся до нашего быта общественного. Желание разрешить вполне вопрос об освобождении крестьян, равно как и дополнительный манифест—или известие официальное—к манифесту от 14 марта 1848 года, выражающие желание, «чтоб наша жизнь общественная получила самостоятельное развитие»,—сосредоточивает мое внимание на предметы, более удобоприменимые к нашим нуждам общественным, к нашей действительности. От этого прошу моих знакомых обратить на это внимание, и один из моих знакомых говорит о вреде карт, другой—о пагубном влиянии ложного самолюбия на развитие общественности, третий разъясняет вопрос о кредите и то, что задача промышленной деятельности не есть барыш, а прямое удовлетворение общественных потребностей; говорит о значении эстетического образования в нравственном развитии человека, о значении искусства в жизни общественной. Я сам излагаю несколько мыслей: о влиянии пищи на умственное развитие народа [1]) и его материальную или промышленную деятельность, о вреде басен и волшебных сказок для умственного развития детей и т. п. Как вы видите, беседы мои были разнообразны, оригинальны, не лишены приятности и даже наставительны... Что же тут предосудительного?..

Не раз говорил я моим знакомым—это едва ли не всем было хорошо известно,—что тайная полиция давно уже на меня пристально смотрит, что, правый или виноватый, я должен ждать первый ее захвата, и что их тоже может постигнуть та же участь. Но потребность разумной беседы была так

---

[1]) Быстрота или живость мышления зависит от быстроты кровообращения. На быстроту кровообращения имеет значительное влияние пища, кроме других обстоятельств, напр., жар и т. п.

сильна, что заставляла пренебрегать этим, ... и они теперь делят со мною неприятность заключения... Вот торжество духа над материей!.. Если бы не этот страх, то, вероятно, у меня недоставало бы средств принимать гостей... Никто из них не хотел верить, чтоб можно было попасть в крепость из-за того только, что две идеи в голове связно держатся... а на поверку вышло так... О люди!.. о времена!..

Будь у нас публичное «Литературно-ученое общество», где бы все ученые и литераторы могли обедать, сходиться и говорить о предметах, их интересующих, но не играть в карты,—тогда бы все чувствующие потребность разумной беседы предпочли такую беседу беседам в частном доме... Потребность в таком обществе для русской общественности настоятельна. Пусть общество имеет правильные заседания. Пусть в нем говорят или читают речи, пусть при этом присутствует полицейский агент явно, ведется протокол всему сказанному. Пусть лишнее сказавший за это отвечает перед судом. Такое общество установило бы сближение между учеными и литераторами; это было бы весьма полезно как для ученых, так и для литераторов: литераторам дало почувствовать необходимость солидного образования и сняло с ученых остатки схоластической плесени—сдружило искусство и науку с общественной жизнью. Это имело бы благодетельное влияние на литературу: тогда в ней не было бы, как в настоящей, пустоты; указало бы правительству на людей полезных и достойных; обнаружило правительству истинное направление мнения общественного и те потребности общежития, кои следует удовлетворять спешно.

Вот мера благодатная для общественного развития, вот средство, чтоб на будущее время, подобно мне, на другого человека не падала тягость несправедливых подозрений, и сам он не подвергался посторонним, пагубным влияниям. Вот способ на будущее время не смешивать виноватого с невинным и не тревожить без нужды сотни семейств...

Все это еще с большей отчетливостью изображено в черновых листах, писанных мною в ответ на возведенные на меня клеветы.

Под конец дела является и то обвинением, что у меня бывали знакомые, что беседы наши старался я всегда сделать по мере моих сил умными, приятными и даже полезными. Лучше ли мне было заставлять моих знакомых убивать время игрою в карты? Спрошу вас, г.г. следователи. Настолько я знаю политическую экономию, чтоб назвать это трудом

непроизводительным, и имею довольно практической опытности, чтоб знать, что игра в карты развивает худые склонности в людях... На это все и без меня людей довольно в городе сыщется... Впрочем как друг общественного порядка, не у себя, и я нес повинность изредка картежной игры,—играл в карты и проигрывал... Беседа, даже с дураком, все же производительнее для общества игры в карты, даже по большой, ибо, беседуя с ним, вы можете обогатиться наблюдением, которое все же когда-нибудь да сможет пригодиться!..

К тому же беседы о предметах ученых и искусствах законом не воспрещаются [1]).

На том основать обвинение, что говорил один, а другие слушали. Если говорил толково, слушали и молчали; если же прерывали без толку, то я даже звонил в колокольчик, не желая никого назвать по имени!.. Лучше ли было бы, еслиб все говорили и никто не слушал, т.-е. вечера мои изображали собою собрание сумасшедших?.. Или лучше, чтоб посещавшие меня, как старые бабы, тешили себя сплетнями да пересудами?.. Взгляните на это обвинение с другой стороны, и оно явится чуть не укором, подобным следующему: «Милостивый государь, да как вы смеете быть человеком, жить в обществе, говорить об обществе?» и т. п. Когда пишу эти слова, душа невольно смущается. Ужель потребности разума... поставлены ниже потребности желудка?.. Для желудка везде представляются законные способы для удовлетворения его нужд, для ума—нигде!!..

Наконец это же обстоятельство приводится в доказательство тому, что беспокойное самолюбие мое искало себе удовлетворения... Еслиб мне захотелось приобрести известность в нашей литературе, при малоумии и невежестве большинства наших литераторов, чтоб приобрести ее, мне стоило только две, три статьи написать, и известность была бы приобретена, самолюбие удовлетворено... Вы признаете, г.г. следователи, что написанное мною было бы всегда выше посредственности. Но я сам зная, что хотя в голове у меня и есть кое-что хорошее, но не все еще в порядке, систематизировано и разрешено,—от этого до 30 лет я решился ничего капитального не печатать,.. чтоб недостатком основательности не иметь на общество вредного влияния,.. а предпочел все в голове своей привести в порядок...

---

[1]) См. примечание к статье об обществах в Уг. улож., изд. 1845 г.

Вот что зоркими глазами обвинителя было усмотрено до начала следствия... Но что же отыскало худого двухмесячное тщательное исследование? А вот что именно:

Некто г. Черносвитов—agent provocateur—в этом теперь меня все убеждает—в конце прошедшего года является ко мне, пытается сбить меня с толку... Но это ему не удается, почему он обращает свое внимание на одного из моих знакомых, сближается с ним, с целью вместе на меня подействовать... Наконец, видя безуспешность этого, решается меня компрометировать... Посылает нарочно за мной, подготовив к сему предварительно Спешнева, придумывает для этого историю об расположении Сибири к бунту... При этом рассказе, волей-неволей, присутствую, вовсе не разделяя расположений, обнаруженных при сем ни тем, ни другим. Даже после этого расхожусь совершенно с г. Спешневым...

Г. Черносвитов перед отъездом (это могу подтвердить ссылкою на лица, которые в этом удостоверят) распускает слух, что я — агент тайной полиции, дабы при настоящем деле все показания были во вред мне.

Не доношу об таком рассказе Черносвитова, не имея способов доказать, ибо могу, как ложный доносчик, подвергнуться большой ответственности. Желаю, однако, предотвратить на будущее время всякую возможность подобного явления. Сперва желаю это исполнить, объявя лично государю императору предположенный мною способ слития старообрядцев, или раскольников, с прочей массою народа русского—чрез предоставление им свободы вероучения, преподавания их учения—в теологическом факультете университетов—по приобретении экзаменом ученой степени. Показываю способы утверждения любви и привязанности в народе русском к августейшей особе монарха, потом сообщаю это комиссии [1]... Еслиб у меня было злоумышление, то мне следовало этого не делать. Будь я враг общественного порядка и спокойствия, что могло бы быть пленительнее для меня надежды в мутной воде половить рыбу?.. Вот это—одно обстоятельство, а другое то, что:

Двое из моих знакомых, оба человека самостоятельно развившиеся, хотят сблизиться. Впрочем, несколько раз ви-

[1]) Эти обстоятельства весьма следует принять в уважение, и что сие сделано было прежде ответа моего на вопросы, по разговору с Черносвитовым, т.-е. за несколько времении перед тем до моего убеждения, что Черносвитов есть agent provocateur.

девшиеся и между собою знакомые. Это случается у меня. Я, волей-неволей, при этом присутствую, как хозяин. Это объявляется каким-то худым и неблагонамеренным сводничеством. (Так точно и Черносвитов требует, чтоб я сблизился с Спешневым; я, не видя ничего худого в этом, не зная тайных помыслов Черносвитова,—это совершаю.) Результатом такого сближения оказывается, что один, как говорят,—чего, однакоже, хорошо не помню (о чем объявлял и в комиссии)—делает какое-то средневековое предложение, которое оказывается несоответственным с общими желаниями. Присутствую я в надежде установить самостоятельную философскую школу русскую... Но как не вижу соответственности ни в ком моему такому желанию, то беседы наши впятером остаются без последствий, не без моего влияния.

Покоряюсь общему желанию уяснить наши взаимные отношения,—это чуть не считается разделением тех намерений, с которыми я не был согласен...

После этого недостает поставить мне в вину и то, что г. Спешнев, поддавшись губительному влиянию Черносвитова, начинал писать образец нелепой подписки!!!

Наконец, к довершению всего этого, во время производства следствия, увлеченный человечественным настроением следователей (таким оно мне показалось—что ж делать?—моя слабость—все видеть в хорошем свете), говорю обо всем с совершенной откровенностью, чисто ребяческой. Говорю все, что у меня на сердце... Одним словом, поступаю вовсе не так, как следует поступать человеку, обвиненному в важном злоумышлении или государственном преступлении. Такой несоответственностью сему положению навлекаю на себя особенное неблагорасположение комиссии,—и со мною в этом деле повторяется та же история, как с ослом в басне: «О собаке, осле и хозяине». Ослу за его большую ласковость говорят «Martin! Bâton», а мне говорят—оковы...

Не раз представляется случай воспользоваться выгодами признания... Но я, как метафизик, теряюсь в предположениях, а ум и память отказываются мне служить... Известно, что за сильным умственным напряжением следует, так сказать, пустота—усталость, безмыслие и даже бессмыслие. Такое положение не раз застигало меня при допросах...

Но все эти обстоятельства существуют в деле: т.-е. 1) у меня бывали знакомые; 2) присутствовал при разговоре двух лиц неблагонамеренного расположения; 3) человек, с которым я разошелся, обнаружил худое направление и

разошелся вследствие такового направления, и что мы противного направления. Он же свою склонность без моего ведома проявил; 4) слушал предложение, которого ни предвидеть, ни предупредить не имел возможности.

Давать этим обстоятельствам какое-либо значение и, основываясь на них, выводить какие-либо заключения—совершенно несправедливо. Чтоб это было яснее, не буду распространяться, а объясню их значение несколькими сравнениями, которые должны хорошо обрисовать мое в этом деле положение...

Есть церковь, где хорошо поют,—в нее сходится много народу, люди порядочные и с состоянием. Это узнают мошенники и являются туда же для промысла и даже, быть может, делают такие попытки. Поп говорит в это время проповедь о воздержании от пороков... Можно ли между ними и попом видеть какое-либо соотношение?.. Пытаться видеть его, значит—итти прямо наперекор здравому смыслу. Выводить что-либо для меня неблагоприятное из того, что были у меня беседы, ...значит—винить попа за покражу—во время его служения—платка из чьего бы то ни было кармана.

Представьте себе, что несколько шулеров обыгрывают честного человека, для верности—подсовывают в его дом поддельные карты... Шулеров и жертву шулеров захватывает полиция, находят поддельные карты в его руках и обвиняют его за это в соучастии с шулерами. Из них один говорит и оправдывается тем, что открыл тайну крапа, а другой тем, может быть, что желал предупредить большее зло, и почему etc... Вот роль такого честного человека и выпадает на мою долю—по моему разговору с Черносвитовым.

Вменение же склонностей Спешнева и их обнаружения мне в вину—подобно обвинению огня в наводнении и воды—в пожаре.

Чтоб отчетливее очертить мое положение в этом деле, я расскажу вам, г. г. следователи, уголовный казус, бывший за несколько лет перед сим в одном из уездов С.-Петербургской губернии.

«В одном селе был праздник... Земская полиция тоже праздновала там. Вы знаете русские столбовые праздники—я вам не рисую их картину... Когда стемнелось, один из участников праздника, еле державшийся на ногах, идет со штофом в руках, спотыкается на что-то, падает, ударяется виском о кол или что-то подобное,—штоф или бутылка выпадает из рук, разбивается. Он умирает от истечения крови

и перепою... Идет другой пьяный, спотыкается на него, перерезывает лицо и руки об бутылку, пачкается в кровь умершего. У обоих на теле синяки вследствие предшествующего разгула... Поутру находят мертвого и пьяного его соночлежника. Того и другого переносят в кабак... Пьяного спрашивают... он обещается признаться в убийстве и подтвердить признание под условием, чтоб ему дали опохмелиться... Это исполняют. Он что-то варакает. Это вараканье пришивают к следственному делу... Дело кончено [1]—деревня радуется, что избавилась от нашествия мертвого тела... Дело поступает в Петербург и на ревизию. Губернский прокурор или стряпчий, не имея возможности разобрать собственное признание пьяного, едет в тюрьму, справляется—оказывается, что тот ничего не помнит. Дело переисследуется... Вся деревня сгоняется... Расспрашивают всех об обстоятельствах этого дела,—никто ничего не знает... Близ места, где был найден мертвый, происходит расспрос... У ближайшей избы несколько ребят играют или копаются на завалинке. Следователь приманивает их пряником... расспрашивает тоже о деле; один из ребят—лет 7 или 8—рассказывает, как дело было, ссылается на другого, который видел; тот подтверждает рассказ, и невинный спасен...».

Вот роль пьяного и выпала мне на долю, по предложению Момбелли: «Обвинение—это форма признания, заранее до начала дела подготовленная»... Пряник приманивания ребят—это искра человечности, мною в г. г. следователях замеченная. Речь ребенка—это моя простодушная искренность во всех моих объяснениях по этому делу.

Вот как все это в деле должно представляться, если глядеть на него просто, без всяких вычуров; чтоб убедиться в том, что должен я находиться вне всякого подозрения, чтоб вполне убедиться в моей невинности,—для этого должно только не искать связи между предметами разнородными, довольно на минуту выбросить из головы мысль, что я по этому делу—главный обвиненный, а если и являюсь главным обвиненным, то так более для красоты слога, для драматизма

[1] Доклад о сем был так составлен: «Такой-то и такой-то, выходя из кабака, передрались, чему свидетельствуют признаки побоев, на обоих найденные,—один у другого хотел отнять штоф. В драке выбили из рук, отчего он и разбился, другой же в отмщение за сие пырнул острым колом в висок, от чего и произошло смертоубийство. Спрошенный о сем пьяный, найденный при мертвом, во всем, опохмелясь, сознался; подлинное же его рукописное сознание при сем деле прилагается» и т. д.

и эффекта, а не почему-либо иному другому... Чтоб было это вам, г. г. следователи, легче совершить и иметь на дело истинное воззрение, а не то, которое хотелось обвинителю, чтоб вы имели,—я расскажу вам то, что вы, быть может, не знаете,—именно, как сочинилось обвинение и составился донос... Верный взгляд на это в деле этом есть вещь наиважнейшая.

Кому-то, разумеется, г. обвинителю, понадобились деньги, а пожалуй, и заслуга, виновный или вина. Выгоднее двух ворон одним камнем убить... Задумав это, г. обвинитель так сам с собою рассуждал:

«Не помню хорошо, что значит либерализм, но помню, что некогда либералов преследовали. Ныне на социалистов криво глядят. Значит—социализм и либерализм одно и то же. Говорят, что всякий образованный человек есть либерал. Ученый—либерал, про себя думающий. Писатель есть либерал действующий, как живой человек он не может не желать лучшего, желает лучшего, следовательно,—противник существующего, и т. д. Всего лучше запустить руку в круг, не чуждый литературе и учености. Литераторы, это—клад. У всякого есть статьи, не цензурованные и не цензурные. Всякая не дозволенная цензурою статья—по тому самому, что есть,—есть уже нечто в самом себе предосудительное, запрещению подлежащее, т.-е. преступное. Всякое слово, неосторожно сказанное, недосказанное, — есть выражение злого умысла, всякая неловкая фраза есть писанное покушение и т. д. Как обвинение будет сделано в преступлении важном, государственном,—то обыкновенные формы следствия не будут соблюдаться. Цель оправдать должна средства, мелочного уважения к законам и справедливости в г. г. следователях быть не должно—это дело не обыкновенное. Почему обвинять можно смело в умысле государственного преступления: какая-нибудь вина должна же открыться. Следователя обязанность в этом деле—во что бы то ни стало добыть виноватого... если же не находится—то польза государственная требует—во что бы то ни стало сочинить, создать и преступление, и вину, и виноватого»... Как вы видите, г. г. следователи, у обвинителя не худой был план в смысле стратегическом... Оставалось его ему самому во всех частях выполнить... К счастию нашему, вышло не так... В городе давно известно, что я социалист-фурьерист, ...круг знакомства у меня не самый малый. Человек же я непронырливый, следовательно, беззащитен совершенно, не имею

за себя ни одной сильной руки, которая могла бы меня в случае несчастия поддержать, к тому же горд немножко и самонадеян. Сам не безграмотен и знаюсь с людьми, по большей части, не малограмотными. Это г. обвинителя и заставило избрать меня в примадонны этой комедии или драмы. Погибель мою он считал неизбежной, рассчитывая на страх, на всех наведенный ужасной клеветой, на меня возведенной, и устрашающей обстановкой и нерадостной перспективой будущего, какую представлял наш захват и засадка в крепость... Не попадись ему я, был бы выбран другой... Судьба, видимо, радела об обвинителе, чуть не сделала в пользу его того, что называется подбросом поличного. В нравственном отношении он был совершен, и вы это хорошо знаете, г. г. следователи... Еслиб не на меня пал жребий быть главной жертвою, быть может, дело это лучше устроилось для г. обвинителя... Он двух вещей не предвидел, рассуждая о деле этом по делам бывалым: 1) что следствие будет совершаться не в его духе, и 2) того, что во мне повстречает обвиненного, который, не отпираясь ни от одного из дел своих (все это подробно доказано в моем признаньи-защите), заочно ссылаясь на соответственные статьи законов, докажет, что все деяния обвиняемого не только законны, но и похвальны; что противузаконно в деле сем одно лишь обвинение; что сильный своею невинностью, силою правды и закона, не дослушав, так сказать, обвинения,—я в руках обвинителя, во имя закона и справедливости, разорву обвинительный акт и брошу его с пренебрежением в лицо обвинителю!.. Чем бы ни кончилось это дело, но, как на челе Каина бог начертал печать отвержения по убийстве им Авеля, так и я на челе моего обвинителя—самыми словами его же обвинения—напишу слова: «Злодей и невежда»,—убеждение в этом проникнет в сердца всех, кто будет разглядывать это дело, слова моего осуждения прильнут к обвинителю, прожгут череп его до мозга, стоустая молва разнесет их... и правда в деле сем откроется. Фантасмагория хитро сплетенного вымысла исчезнет пред судом беспристрастным здравого смысла!..

Г. г. почтеннейшие следователи! Ваша священная обязанность—в деле видеть то, что есть, а не то, что хотел, чтоб усмотрено было вами, г. обвинитель. Микроскопические наблюдения неуместны. Не превращайте каплю мутной воды в целое мирозданье!..

Положим, обстоятельства, мною выше рассмотренные, не имеющие в юридическом смысле никакого значения,—в этом деле его имеют, ...тогда вглядитесь в дело это попристальнее и приймите в соображение:

1) То, что тысячу обстоятельств имели на меня вредное влияние, делали меня злодеем—и я им не сделался.

2) Ту искренность, с которой отвечал вам на объявленное мне обвинение,—признаваться в смысле юридическом и соответственно обвинению мне было не в чем,—я перечислил все свои действия, открыл вам свою душу: вместо признания—более чем исповедь совершил [1]).

3) Обратите внимание на обнаружение более чем раскаяния—в смысле юридическом,—т.-е. на выражение не только бесплодного желания исправить вред возможный, мною обществу нанесенный, но положительное указание способов отвратить большие зла, средств исправить те болезни общественные, которые таятся в нашей общественной жизни не только десятки лет, но даже столетия.

4) На постоянную благонамеренность, которой проникнуты все мои действия.

5) На чувство любви к ближнему, во мне, быть может, чересчур сильно развитое.

6) На вредное влияние Черносвитова, которому я не поддался, но которому подчинился Спешнев, что доказывает его губительную силу.

7) На то, что слух, распущенный Черносвитовым, мог иметь неблагоприятное влияние на показания многих лиц обо мне. Равно как и на то, что мною сильно было не раз оскорблено самолюбие Спешнева и других, имевших не в меру сил их претензии.

8) На отсутствие практического благоразумия или слишком большую простодушность, оказываемую мною всегда и во всех делах моих, и опрометчивость [2]).

Вот нравственные причины невменения всего того, что оказывается или даже могло бы оказаться для меня неблагоприятным. Вот обстоятельства, которые должны образовать в уме вашем, г. г. следователи, мнение совершенно противу-

---

[1]) Могу доказать юридически, т.-е. ссылкою на законы и места моего чернового ответа на обвинения, что мною в сем деле совершено полное признание.

[2]) Припомните себе, что Ньютон истолковывал Апокалипсис, ночью бегал по городу, звонил у всех домов в колокольчик, как школьник. Это было его любимой потехой.

положное тому, которое хотел установить обо мне в вас неизвестный мне клеветник.

Несколько провокаций, как теперь вижу, были на меня направлены... Этого не забудьте... И то, что мне, обладающему всеми к тому нравственными способами, нелегко было выяснить свою невинность, а вам, быть может, открыть истину—двухмесячным исследованием... Вспомните про истории в школе правоведения: и там тяготело влияние со вне... там были дети... Вы, отцы семейств, вспомните это... и совершите, что укажет вам ваше сердце...

Теперь позвольте поговорить—как русскому и патриоту—за других и за себя. От всех у нас слышатся жалобы на недостаток в людях способных, горева́нья о безлюдьи. Это подтверждается и тем, что всякий человек мало-мальски способный занимает 5 или 6 мест. Не знаю, какое может иметь дело влияние на судьбу лиц, к нему соприкосно́венных... Глядя на это дело, посмотрите тоже на будущее России, на влияние его в нравственном отношении: чрезмерной строгостью не убейте надолго самостоятельность головы русской... Пора, мне кажется, перестать русским оправдывать собою пословицу и быть «крепкими задним умом»... Нужды общественные увеличиваются, потребность в людях тоже... Если загублены будут люди хорошо образованные, ...место их займется по необходимости людьми полуобразованными, не имеющими ни нравственного, ни религиозного чувства, ни философского воззрения для своего руководства. Когда не из кого выбирать, выбор всегда неудачен... Я это говорю вам, г. г. следователи, как людям государственным, глядящим далеко вдаль... Хороший хозяин всегда оставляет запас на неурожайный год... Правило честного благоразумия примените к хозяйству общественному. Быть может, уголовное следствие открыло вам несколько людей способных (я знаю некоторых, которые при благоприятных обстоятельствах для их развития могли бы сделаться не только людьми известными, но даже знаменитыми). Приймите к сведению людей способных, вами открытых, — многие еще очень молоды, пусть поокрепнут и поумнеют еще, и тогда они могут быть употреблены с пользою для общества.

Вы видите, г. г. следователи, пред собою в нравственном или умственном отношении цвет петербургской, а может быть, вместе с тем, и всей русской молодежи, — не будьте же Тарквиниями, не дайте враждебной руке нанести тяжелый удар нашей общественности, и без того не роскошно рас-

цветшей... Не наводите на общество тишины могилы и безмолвия кладбища... Это в пределах вашей власти... Толпы нравственных уродов не есть зрелище, веселящее взор, а кретинизм общественный—не благодать небесная... он водворится, если убить в обществе науку и остановить всякое свободное развитие личности... Не ставьте же всякое лыко в строку... Там, где был худой преходящий помысел,—не принимайте его за оставшееся намерение, а тем более за нечто похожее на умышление. Разъясните это, чтоб другие ошибочно не приняли... Требует от вас этого и совесть, и чувство, и справедливость.

Делая о нас представления, будьте более нравственными философами—наблюдателями сердца человеческого, чем простыми следователями, заботящимися о том, как бы вин отыскать более... Не ставьте нам в вину того, что было делом общественного устройства. Не привязывайтесь к ненамеренно и необдуманно сказанному слову, но исследуйте нравственное чувство, движущее каждого. Вникните в обстоятельства жизни каждого, рассмотрите побудительные причины всего... Подчинитесь более закону нравственному, в сердцах ваших перстом природы написанному, чем холодной букве, часто неверной, закона положительного... Будьте не инквизиторами, а друзьями человечества... и по окончании дела с именами вашими соединится не клик проклятия человека, умирающего в дыму auto-da-fe, но слова искренней благодарности взойдут к небу из сердец наших...

Этого от вас требуют настоящее и будущее России, нравственные потребности шестидесяти миллионов... За вашим решением блюдет гений человечества, а в лице Западной Европы еще при жизни ждет вас суд потомства!..

Вот ваша mission, г. г. следователи,—тоже не бесславная.

Я с вами говорил, г. г. следователи, об этом деле, как человек—от имени человечества и целого общества, как обвиненный—во имя нравственного чувства, как русский—от лица России и во имя ее будущих нужд,—речь моя теперь будет скромнее: я буду говорить с вами, как адвокат и юрист,—более в пользу других, чем в свою.

Начну с того, что скажу, что на основании объяснений о системе Фурье и о социализме, мною сделанных (мне на слово не верьте, но поверьте мои слова справкою с подлинными сочинениями), все, единственно в качестве фурьеристов подвергшиеся захвату, должны быть изъяты от всякой соприкосновенности

по этому делу и обвинению. Не они, а те системы, которых приверженцами они себя объявили, могут подлежать исследованию или рассмотрению комиссии ученой, составленной не из людей с заплесневелой ученостью. Этого требует здравый смысл и справедливость...

Из того, что я—фурьерист—столкнулся с людьми не моего направления, нельзя за мои личные отношения винить систему,—скорее надо винить общественное устройство, которое их ко мне притти заставило... И то взять во внимание, что не я к ним пришел, но они ко мне.

За исключением из-под следствия г.г. социалистов всех наименований, мне неизвестно, кто бы мог подойти под судебное разбирательство, кроме нас пятерых, т.-е. меня, Львова, Дебу, Момбелли и Спешнева. Дело же это не более как на двоих из нас может бросать некоторую неблагоприятную тень... Закон положительный — именно ст. 14 Уг. улож. [1] — говорит неукоснительно в нашу пользу, — при обыкновенном производстве дел следственным порядком бывает так: если по следствию обвиненные оказываются невинными, то следователь без промедления дает им свободу.

Но если в этом деле противу меня, быть может, также и противу других, суждено было сосредоточиться во вред наш всем возможным и невозможным неблагоприятным обстоятельствам, тогда следует предположить и суд по сему делу возможным. Пусть это так...

Есть на Руси у нас поговорка: «Не бойся суда, а страшися судей». Вот мысль об этом—к несчастию, практика еще не противоречит пословице,—невзирая на то, что закон положительный определенно говорит в пользу нашу, наводит тяжелое раздумье, особенно, когда примешь в соображение, не принять же—нельзя, что при суждении о деле таком, как это, т.-е. «политическом», всякий судящий жестокостью определенного им наказания подсудимому думает доказать и свое усердие, и гражданские добродетели, и любовь к общественному порядку, и свои небывалые достоинства... Вот эти соображения заставляют меня на возможную будущность этого дела глядеть с большой внимательностью.

Суждение о деле нашем может быть предоставлено или

---

[1]) И другие ст. ст., могущие до сего относиться. Принимая закон в буквальном смысле, как сие основные законы повелевают. Т.-е. на сих основаниях никакому наказанию подлежать мы не можем.

Уголовной палате или Правительствующему сенату — на обыкновенном положении. Разумеется, тогда имеем быть мы допущены к чтению записок вчерне, подаче рукоприкладств, присутствованию при докладе, как сие обыкновенно водится. Мне для совершения сего не нужна чужая помощь, но прочим *моим созаключенным совет стряпчего или адвоката необходим, и им должен быть предоставлен свободный его выбор*. Или, так как следствие по этому делу было доверено не обыкновенной комиссии—особенной, то весьма вероятно, что суд может быть поручен *особенной судной комиссии*.

Во всех случаях страх, мною выше обнаруженный, не исчезает...

Пусть, если при производстве следствия не были забыты г. г. следователями слова Екатерины Великой: «Лучше десять виновных простить, чем одного невинного наказать»... и поступали вы, как все меня в этом теперь начинает убеждать, с благоразумной осторожностью и осмотрительностью...— *пусть при совершении суда по этому делу (если только суд окажется нужным) нам будет дана небывалая доселе гарантия в России для обвиненных, а именно — пусть решение о том:*

1) *виноваты ли мы, или нет;*

2) *подлежим ли мы большей или меньшей степени наказания, — будет совершено теми присяжными, которых определит жребий.*

Вам, г. г. следователи, как особенной комиссии, можно об этом сделать представление... Всяким хорошим рассуждениям предпочтительнее опыты. Пытаться хорошее испытать— чем ранее, тем лучше. Будь года за три перед сим в Берлине и Вене введено jury, а в Париже réforme électorale,—не быть бы там сумятицам.

Так как по этому делу соприкосновенны все люди хорошо образованные, то список лиц, могущих быть по сему делу присяжными, пусть будет составлен из всех лиц, получивших образование в высших заведениях—в 1-м разряде состоящих. Вызов таковых лиц можно сделать чрез публикацию в Полицейской газете. В неделю легко он может быть составлен.

Пусть высшие государственные сановники и высшие по администрации лица имеют право от сего отказаться.

Пусть каждому из обвиненных дастся право устранить двенадцать человек из числа присяжных, не объявляя сему

причины. Других же отводить имеет право, на основаниях, существующих в нашем положительном законодательстве для отвода судей и свидетелей. При чтении имен лиц, вышедших по жребию в присяжные, пусть будут объявлены: возраст, чин, место воспитания, состояние его и то сословие, к которому принадлежит, должность, им занимаемая, или его занятие—промысел.

Пусть каждый обвиненный пользуется правом сам предъявить в суде свою защиту или предоставить защиту свою другому. Пусть защита будет совершена чрез чтение рукописи или речь свободную.

Быть может, по новости дела, у обвиненных и не окажется хороших защитников, быть может, не все будет сделано в их пользу и для их оправдания,—но зато ничто не может заставить подумать их самих или других о том, что решение дела было пристрастно. Быть может, наказание будет тяжче.., но никто не дерзнет в этом деле обнаружить неудовольствие и обвинить кого бы то ни было в пристрастии и несправедливости.

Пусть суд сей совершится гласно, пусть будут ему свидетелями родственники наши и те, кому суд разрешит присутствовать.

Пока решится, как это устроить, пусть продлится наше заточение,—оно будет в пользу всем, всем и всего!

От вас, г.г. следователи, от вашей доброй воли очень и очень зависит, чтоб оно совершилось так... Благие представления нашим монархом всегда уважались. Этого опыта пользы России требуют, а вы все люди государственные...

Если совершится это, то всякий сказал бы невольно, что гений Петра и ныне руководит наше правительство, что оно предупреждает нужды народа... и идет впереди народа, а народ за ним следует... «Пусть народы Запада ищут счастья в революциях» и т. д.—и эти слова дополнительного манифеста к манифесту о событиях на Западе перейдут в дело и станут действительностью...

Если бы чрез вас совершилось это... так... тогда, еслиб случилось вам строить дом и недостало б плит у вас для закладки дома—как некогда у боярина Матвеева,—тогда любовь народная сорвала бы надгробные камни с могил отцов своих и положила их в фундамент вашего дворца увеселительного!..

С.-Петербургская крепость. Алексеевский редут.
Исход второго месяца заключения и начало третьего.

ПРИЗНАНИЯ Д. Д. АХШАРУМОВА [1]).

Три вопроса: 1) Какие мои мысли и убеждения? 2) Свободен ли я? 3) Готов ли я? Ответы на них довольно близко должны определить каждого из нас: что он за человек, в каких он обстоятельствах, какие у него силы?

Мои мысли следующие: Жизнь, так, как она идет теперь, слишком тяжела, обременительна, переполнена всякого рода неприятностями и гадостями, чтобы кто-нибудь не чувствовал тягости ее. Все: богачи и нищие, образованный и невежда—равно тяготятся ею,—это обнаруживают беспрестанно как журналы, так и частная, скрытая жизнь. Большая часть все несчастия, все жалкое положение наших современников приписывают порче человечества в последние века и удалению его от старых обычаев предков; такое убеждение, разумеется, происходит от незнания дела, и вообще невежество обнимает еще все человечество до такой степени, что когда людям показывают правду, так и тогда они не только не узнают, но смеются и не перестают твердить свои болезненные глупости. Я думаю, что человечество стало лучше прежнего, выше прежнего и идет постоянно вперед, что нравственность, проповедуемая религиями, имея доброе начало и благую цель, слишком неопределенна, так что самый благонамеренный человек, готовый на все, несмотря на все свое желанье, ничего не может сделать полезного, если будет руководим только одними темными внушениями совести; что, равным образом, ни к чему не ведут богадельни, приюты, школы..,—человеку недостает знания, вот отчего все мы страдаем и томимся постоянно. Желание, потребность выйти из этого состояния произвело науку; страсти, чувствуя себя невыполненными в жизни, создали с помощью ее инструменты и выразились в бесконечных звуках и образах. Наука

[1]) Дело № 55, ч. 12-я, л. 43—52. Рукопись, найденная в бумагах И. Дебу.

проясняет наше положение, дает нам понятие о природе, о взаимных отношениях нас всех, о страданиях, о причинах страданий, о кончине их и возможности счастия с удалением этих причин и представляет бессмысленным, чтоб мы не перестали страдать,—цель ее осчастливить нас, тогда кончится вся наука, исполнив свое назначение. Тогда пропадет и искусство, которое представляло только счастье в воображеньи; нас не займут более идеалы его, потому что все увидим в действительной жизни. Я думаю и убежден, что все это болезненное состояние, все это томление, все, что мы все поневоле терпим каждый день, происходит оттого, что человек соединился в слишком огромном множестве для устроения общественного своего блага; что такие соединения, какие представляют наши государства,—деревенские селенья, в которых ничего, кроме хлеба и скопища людей, в городах, где ничего, кроме фабрик, заключенные, наконец, в управлении своем, в одном ужасном центре—столице, где люди не перестают страдать, проводят всю жизнь в мучениях и умирают в отвратительных болезнях,—неестественно, безобразно и причиняет беспорядок, бестолковщину. В таком ужасном хаосе не только никто из нас не сможет выполнить влеченье своей природы, но даже все перебивают один другого, сталкиваются, запутываются, мешают друг другу, и идет ужасная разладица, несмотря на шум, треск и суету, которые постоянно живут в городах. Вот отчего тысячи лет люди устраивали жизнь, писали законы, говорили проповеди, трудились много, долго,—и до сих пор все несчастны. Оттого миллионы людей, желавших лучшего, не могли достигнуть своей цели. Они делали ужасную ошибку: хотели устроить все переменою одних форм управленья и не заметили того, что государство нельзя устроить—государство должно погибнуть, с его министрами и царями, с его войском, с его столицами, законами и храмами. Необходимо, чтоб вместо него произошли небольшие общества, которые имели бы в себе целость, полноту, разнообразие, независимость одного от другого и представляли бы, так сказать, интегралы человечества; чтоб устроив, обеспечив каждое свою собственную жизнь, произведя, вырабатывая материалы, приводя в стройное, гармоническое слияние все страсти человека, они дополнили бы еще все это взаимным сношением между собою и достигли бы, наконец, высшего соединения, совершенства, счастья, апогея, цели жизни, для которой родила нас природа.

Я думаю, что каждый человек есть единственное создание

не только на земле, но и во всей вселенной, иначе природе не для чего было бы создавать особой личности, а потому каждый носит в себе особые способности, склонности, особый характер, какого ни в ком другом, кроме него, нет; что каждый человек может единственно быть счастливым вполне тогда, когда ему возможно удовлетворить всем своим страстям, и по той мере, сколько они не удовлетворяются,—столько он портится постоянно, и чем меньше получает он того, чего требует его характер, его природа, тем он хуже, так что, наконец, в нашем обществе, где нет выхода его страстям, где все они или сжаты, или принимают безобразное развитие, где он терпит в высшей степени недостаток,—он отвратителен, несносен, зол, раздражителен.., потому что всю жизнь его бесили эти лишения; любовь заменяет разврат, роскошь, воровство, пьянство, интриги, карточная игра, самолюбие—обидчивость, эгоизм... просто, нет средства жить. Вместо занятий, приносящих наслажденья, тяжелые работы в грязных мастерских заваливают нас; болезни, раны обезображивают тело,—так проходит вся жизнь. Чтоб это все уничтожить, есть средство одно—фаланстер Фурье, который лучше всех понял природу, разумея это слово в самом обширном смысле. Но каким образом построить фаланстер, в котором переработается, воскреснет и осчастливится все человечество? Нет сомнения, что первое средство—осведомить людей об этом важном открытии, которое переменит все; потом—приобресть капитал. Но к этому самое большое препятствие—наше глупое, пустое, злое и сильное правительство. Вопрос приводится к тому, каким образом получить правительство, терпящее нововведения,—gouvernement tolérant,—какое правительство может быть таким? Монархическое неограниченное уместно только тогда, когда будет на престоле человек любознательный, благонамеренный и преданный благу всего человечества. Но с нашими негодными, недоверчивыми, всего опасающимися царями и многочисленным их семейством, в котором ни один из членов не обещает ничего доброго, с невежеством министров и всего правительства, решительно нет надежды на такое нововведение. Потому нам нельзя оставить в таком положении. Надо изменить правление, но осторожно, чтобы не произошел слишком сильный беспорядок, который бы вовлек народ опять в старое. Я думаю так, что если народа нельзя вдруг лишить его любимого предмета, которому он вверился и которым дурачен столько веков, то надо оставить царя для названия, но уж взять его

в руки. Надо конституцию, которая дала бы свободу книгопечатания, открытое судопроизводство, устроила б особое министерство для рассмотрения новых проектов и улучшений общественной жизни, и чтобы не было никаких стеснений, никаких вмешательств в дела частных людей, в каком бы числе они ни сходились вместе.

Нет сомнения, что все кончится хорошо, и вся путаница разрешится счастливою жизнью, пропадут страдания, на зло правительствам,—народы идут к своим целям, но когда они придут? Время само ничего не произведет, а производит человек во времени (точно так же, как и в пространстве, потому говорить: «само время произведет», точно так же нелепо, как бы сказать: «пространство произведет»).

Производить можно: 1) убеждением, 2) силою, обманом, против воли и желания общей массы,—такой переворот может удасться только тогда, когда сейчас за ним последует желанный результат и обнаружит вдруг перед глазами всех истину,—малейшее замедление грозит ему возвращением прежнего порядка вещей и вековой отсрочкой—такой переворот не прочен. Надо нам стараться произвести переворот убеждением, и только в такой мере произвести его, сколько нужно для приведения в исполнение нового проекта, тем более, что освобождение народа угнетенного требует большой осторожности; терпевший долго народ и перенесший тысячи обид будет мстить. Трудно говорить о том, какое правление в России скорее приведет к цели. С одной стороны: если от июльской революции во Франции прошло 18 лет до нынешней революции, и их конституционное правление разрушено не иначе, как трудами 18 лет, то какая вероятность предполагать, что у нас оно не тянулось также долго со всеми подлостями, интригами и вмешательством правительства в дела частных людей. С другой стороны: стоять непременно и дожидаться республиканского правления, значит—терять время, потому что конституционное лучше монархического неограниченного. Пока у нас нет человека, известного всем, у которого был бы авторитет и популярность, то надобно иметь царя, но предоставить ему самые ничтожные преимущества, сказав народу, что он на все имеет право, только с согласия его самого, так, например, оставить ему титул, голос его в народном собрании считать за несколько человек (за 3, даже за 10) и т. п..., но чтоб у него не было права ни распускать, ни созывать собрание,

ни назначать время продолжения его, чтоб войско не было в руках его. Дела все рассматриваются в одной палате, президент избираем на короткое время. Потом, когда собрание получит доверенность народа, то можно обойтись без царя.

Говорить с народом так: вот, ребята, вы—крепостные, вы платите оброк, ходите на барщину. Вы стеснены, у вас нет ничего своего, все помещичье, теперь он вас может переселить, продать, прогнать, полиция дерет с вас все, что хочет, ваши справедливые жалобы на дворян не слушают, а когда вы сами дотронетесь до дворянина рукой, вас секут за это до смерти и сзывают всех дворников смотреть для примера и страха,—а сколько дворян с царем? (Дворяне—придворные, дворецкие)—несколько тысяч, а вас сколько всех?—миллионы; так сделайте же вот что: пускай кто из вас потолковее расскажет все это и много другое, чего вам недостает и что вы лучше знаете сами, сначала вам, а потом пошлите его в город, туда же пришлют и другие деревни своих толковых людей, чтобы они поговорили, посоветовались все вместе с выборными также горожанами; они выберут из себя тех, которые лучше всех и умеют хорошо говорить: если, положим, будет в городе всех 300 человек, то они выберут только 3 (по 1 на 100) и пошлют их в губернский город, в котором от всех уездов соберутся человек 50, 60 или более; из них еще выберутся лучшие (на 100 один), так что некоторые губернии пошлют по 5, другие по 6, 10.., смотря по уездам и по числу жителей в них. Всего до 1.000 человек представителей явятся в Москву, в центр государства и там уничтожат все дурное. Мне кажется даже, что теперь с нашим народом можно говорить уже так, в нем есть уже люди, которые поймут свою пользу и готовы остановить других, если те что-нибудь затеют недоброе. Эти люди заметны в большом числе между горожанами, между работниками, приходящими в разные города, особенно в столицы, для постройки домов и для другого. Лодочники, извозчики, ремесленники, тоговцы разных губерний, вольные крестьяне—между этими людьми, которых я встречал в разных городах и с которыми иногда говорил, заметно очень много общественности, любезности, склонности к разговору и то, что называют французы: bonhomie и даже bienveillance. Но есть и другие люди—они дики, зверски ленивы, их нельзя исправить ничем и они никуда не годятся, и таких едва ли не больше в России. Они едва умеют говорить, если спросишь, неохотно отвечают или совсем не то, что

спрашиваешь, между ними куча пьяниц, воров и даже убийц,—это все жертвы нашего общества, от них можно всего ожидать при освобождении; смотря на них, даже невозможно себе представить поступка, на который бы не решился этот злодей, обезображенный тяжелою жизнью,—этих нельзя переделать. Впрочем, я ничего наверное не знаю. знаю только то, что все зависит от народа, без них мы не подвинемся, не уйдем вперед; нам надо короче узнать наш народ и сблизиться с ним. Для этого не только не упускать ни одного случая при встрече с этими людьми, но даже нарочно искать встречи, придумать, каким бы образом чаще видеться и говорить с ними.

О распространении между собою. Первое, с чего нам начать,—распространить мнение в своем кругу. Надо приобресть людей различных характеров, различных состояний, мужчин и женщин, кроме того—людей специальных познаний, ученых, людей практических: архитекторов, ремесленников, художников, артистов, военных людей, взять в свои руки университет, лицей, правоведение, училища артиллерийские и инженерные, кадетские корпуса и гимназии... Для этого все мы должны вести жизнь деятельную, сжаться, узнавать всякого знакомого, иметь при себе готовые книги; самыми лучшими, по легкости чтения и по здравому смыслу, считаю я «Almanach Falansterien» и «Democratie Pacifique», которые всем и всякому можно читать без приготовления; надо их выписать несколько экземпляров, именно с этой целью. Составлять кружки, библиотеки и, для осторожности, чтоб несколько только человек знали обо всех знакомых, чтобы можно было знать число и силу всех нас. Необходимо тоже выдумать источник капитала. Необходимо тоже иметь частые разговоры, сношения между собой о том, каким образом все это устроить во всех подробностях, и действовать надо не по случаю, а систематически, хотя безо всяких формальностей. Не может быть, чтоб мы так далеко вперед ушли от всех; отовсюду с разных сторон являются те же самые мысли, которые даже становятся модою между молодыми людьми,—ясно, что это есть влияние, следствие духа времени, который быстро распространяется и обнимает все наше поколение, и всякий из нас, кто особенным случаем, обстоятельствами какими-нибудь не удален от общества, и если у него в душе хоть несколько здравого смысла,—легко уже увлечен общим стремлением; поэтому мы должны встретить в нашем кругу много неожиданных радостных

явлений, если только разведать его. Все это—дело трудное, и больше, что делать, я один решить не знаю.

Свободен ли я? Свободный человек тот, который может выполнять все желания, даже все прихоти, которые не только являются не без причины, но глубоко соединены с основными силами, управляющими всею нашею жизнью. Оскорбление, нанесенное им неудовлетворением, пренебрежением их,—есть уже оскорбление одной из тех важных страстей, без которых нельзя жить человеку. Это определение было бы достаточно в ином от нашего обществе, более совершенном; но теперь надо прибавить: свобода есть право делать все, что не вредит другому (La liberté consiste à pouvoir faire tout ce que ne nuit pas à autrui). По этому определению, еслиб оно исполнилось в самом деле, то нам бы никому ничего нельзя было делать; я не знаю поступка, даже мысли, которые не вредили бы кому-нибудь, но дело в том, что закон (хоть он сам того не замечает) запрещает вредить другому только явным, видимым, непосредственным образом; но вред не прямой, а через несколько времени, медленный или запутанный в делах, сложный—позволен всегда. Таково наше общество: польза одного, способность, ум, уменье убивает другого,—поэтому все мы стеснены и никто не свободен, всеобщее томление, ежедневные заботы ясно обличают это невольническое жалкое состояние. Относительно меня—вот какие несчастия постигли меня в этом извернутом и тысячу раз перевернутом порядке вещей, в котором мы теперь живем, и вот как изуродована, обезображена моя жизнь. Оставив самолюбие и скромность, я говорю о себе следующее: природа одарила меня многими страстями, сильными и разнообразными, из которых, сколько я могу себе вообразить, еслиб хоть одну я удовлетворил вполне, то сделался бы в одну минуту бесконечно счастлив, а еслиб всем вместе, то и не могу себе представить, в какое ужасное наслаждение преобразилась вся моя жизнь (что меня и заставляет думать, что на земле может быть счастие). Можно бы было характер человека означить формулою напряжения страстей, обширности, объема их и взаимной их гармонии, но я не могу себе еще дать отчета во многом.

Я начал скучать с очень ранних лет. Будучи дома, я проводил жизнь, как обыкновенно все дети: играл в разные игры с братьями, учился чрезвычайно неохотно и с наслаждением ожидал часа, в который кончали нас учить, слушал с ужас-

ным удовольствием длинные занимательные сказки, которые были рассказываемы нам часто по вечерам. Разрезал, ломал игрушки для того, чтоб посмотреть, как они сделаны, и потом плакал о том, что они испорчены; любил бить в барабан, для чего мне покупались прекрасные барабаны, наклеивать разные цветные бумажки для украшения, и мн. др. Несмотря на то, что я был очень тихого нрава, случилось так, что меня секли чаще всех моих братьев. Причиной тому были неожиданные происшествия, приключавшиеся со мной без особенной моей вины, но за которые нельзя было не высечь по их важности и дороговизне. Так меня высекли за то, что я нечайно разбил большое трюмо. Другой раз—за то, что, колов на дворе зимой лед ломом, я проколол насквозь ногу слуге, который близко стоял, так что лом, пройдя через землю, воткнулся еще крепко в лед,—конечно, за это нельзя было не высечь, но вины моей здесь было мало. Кроме этих случаев были другие, за которые меня наказывали. Эти наказания так оскорбляли меня, и так долго я их не мог забыть что по целым месяцам меня преследовал стыд и досада: зачем меня высекли. Эти несчастия, в которых я не был виновен и за которые был наказан, произвели во мне мысль, что меня обижают в сравнении с другими, меньше любят,—это меня удалило немного от них и приучило себя держать несколько в отдельности и развило во мне скрытность. По четвергам у нас учили танцовать; для этого ходила к нам танцовщица-актриса. С нами вместе училось и другое семейство, так что в зале вечером собиралось маленькое общество таких же лет, как и мы. Мне было лет 13, между ними была одна девочка, с которой я больше всего любил танцовать, и она меня очень занимала. Через полгода она захворала, долго была больна и потом умерла, что меня заставило много плакать и причинило большое горе, которое, впрочем, я скрыл от других. Через несколько месяцев, разумеется, я все это забыл, но впечатление осталось во мне.

Обращение гувернантки, которая драла нас за уши и за волосы, портило мой характер, развивало во мне мысль о несправедливости, о дерзости, и о обиде. Вскоре мне показалось странным обращение в доме с крепостными людьми и посторонними. Я не объяснял себе, отчего это нехорошо, но я стал чувствовать себя равным с ними и—что такое обращение неприлично. Мне даже неприятно было, когда с них слишком строго взыскивали за неисполнения приказаний.

Мы ездили через воскресенье в Царское Село к брату, который был в лицее, и я всегда с неудовольствием слышал, что извозчику кричат из кареты: «пошел!»; я думал, зачем же ему не скажут просто: «нельзя ли поскорей?» или что-нибудь подобное, а кричат прямо «пошел!», ни слова не сказав прежде. Я, если нужно что было, всегда их просил сделать и с ними вообще был очень любезен, много разговаривал, до того, что один раз кучер выдрал меня за волосы, и только несправедливость его поступка заставила меня пожаловаться на него, за что он чуть не лишился места. Все эти неприятные впечатления сделали то, что я уже дома стал тяготиться жизнью и желал поскорее уйти только куда-нибудь прочь из дома. Скоро исполнилось мое желание, я очутился в гимназии, и это переселение не только не облегчило меня, но сделало мне жизнь тяжелее и гораздо несноснее и заставило постичь все счастие домашней нашей жизни. Тогда я помирился со всем, что было дома; я часто хворал, меня брали домой, однако опять отвозили в гимназию. Неделя с понедельника казалась мне вечностью до субботы, и я с нетерпением ожидал дней роспуска—это было единственное мое утешение. С V класса я охотно занимался математикой, физикой, фехтованием, слушал лекции русского языка и, особенно в последнем классе, истории, читал известные русские книги, сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, и учился сам с лексиконом читать французские и немецкие сочинения. Из французских—романы переведенные Вальтер-Скотта, Victor Gugo («Notre Dame de Paris») и др., из немецких—Schiller'a и Körner'a. Поступив уже в заведение с характером раздражительным и испытав там сам и видев кругом себя тысячу гадостей со стороны директоров, гувернеров, учителей и воспитанников, проведя в гимназии 6 лет, не играя ни в какие игры, вышел я, наконец, вон оттуда—всякий знает, чему учат в заведениях,—я вышел, зная не больше того, как поступил в гимназию, т.-е. ровно ничего не зная. Мой характер сделался от 6 лет чрезвычайно чувствительным. Всякая вещь, которую я видел, каждая безделица стала рождать во мне кучу мыслей, которые доводили меня до окончательных вопросов, на которых я всегда останавливался и далее не мог справиться с ними, — в голове моей была жестокая каша, я чувствовал только, что ужасно нехорошо, что гадко жить, и ничего не знал—отчего. Я читал с жадностью вообще всякую поэзию, Шиллер был мой друг и утешитель. В это же время я встретил девушку, которой был любим и которую

любил потом 6 лет. Мысли мои часто доходили до последней причины—до творца, провиденья, и наполняли мою душу истинною естественною религиею; отсюда начало моего освобождения от всех религиозных предрассудков. Тогда было лето, я жил на даче у моря. Проводя там дни и ночи в прогулке и в езде на лодке, я увидел, что природа, люди и небо совсем не то, что говорят бородатые попы с их грязными молитвенниками и пустыми обрядами.

В университете слушал я со вниманием немногих любимых профессоров и занимался естественными науками, как мог и как умел; читал французские романы, Шиллера, Гёте, Шекспира. Вскоре мне опротивела математика; будучи влюблен и имея различные виды по этому случаю и полагая, что жизнь моя оттого так несносна, что я живу в этом ненавистном Петербурге, и что мне непременно надобно уехать куда бы ни было, только как можно дальше и как можно скорее, я счел необходимым оставить этот факультет и перейти на факультет восточных языков и кончить курс в три года.

В первые два года, будучи в одном факультете с Ипполитом Дебу, сидев с ним на одной скамейке и отправляясь домой из университета каждый день вместе, мы так много говорили обо всех предметах и жаловались друг другу на все, что скоро я с ним сблизился более чем с кем-нибудь. С ним вместе, я могу сказать, разрушены окончательно мои предрассудки: религиозные, нравственные и политические. Мы говорили часто, особенно он, о Франции, о ученых тамошних, о речах Тьера против Гизо; читали запрещенные книги, романы, «Революцию» Тьера, «Histoire de dix ans» Блана. В последнее время от него же получил я социальные книги, которые дали мне новый взгляд на жизнь.

Таким образом прошла моя жизнь до этих дней, в которых я нахожусь теперь. Положение мое теперешнее есть следствие всего этого. Обстоятельства, которые теперь стесняют меня, мешают вполне отдаться моим убеждениям и действовать, суть следующие:

1. Я — чиновник; не имея состояния, принужден служить и не имею никакого выхода из этого состояния, кроме моих познаний, которые приобретаются временем. Летом всего вероятнее, что мне придется уехать отсюда в Турцию на годы, а может быть, и больше. Получив несколько денег на подъем, я надеюсь закупить с собою кучу книг и в это время заняться многим, чего не знаю. Потом я думаю вер-

нуться в Петербург и действовать здесь с теми людьми, которые будут делать дело.

2. У меня нет женщины. Я не стыжусь признаться, что ту женщину, которую я любил, я не мог иметь, а тех женщин, которых имел, я не мог любить. Такое выполнение страсти раздвоенным уродливым образом, вместо оживления, останавливало и испортило мою жизнь, заставило потерять кучу времени, ввело в болезни; теперь я здоров, но это лишение до сих пор пугает меня. Эти обстоятельства отбили мне охоту от всего, я стал слишком осторожен и ленив да и притом же я занят, что мне решительно некогда искать женщин и надо дожидаться случая. Имея всегда отвращение от публичных домов, принужден пока жить совершенно без женщины. От этого положения у меня всегда переполнена голова, занятия мои производятся с трудом, я устаю беспрестанно, и все отправления организма задерживаются, и я чувствую себя постоянно так дурно и в таком неестественном положении, что очень может быть, что если представится случай, сделаю ужаснейшую глупость—женюсь; но я уверен, все-таки, что жизнь эта меня не стеснит столько, сколько теперь это лишение, которое должен я терпеть.

3. Расстройство организма и нравственная болезнь—она у всякого есть в большей или меньшей степени. Освободившись от предрассудков, мы впадаем в другие болезни, которые мы получаем от извращенного порядка вещей в нашем обществе. Что касается до меня, то все гадости, все неприятности, которые принужден я переносить, так меня испортили, что я нахожусь теперь всегда в постоянном упадке духа и считаю себя почти никуда негодным. Я болен, постоянно нравственно убит жизнью, с трудом говорю, глубоко чувствую мое жалкое положение и думаю, что, по всем вероятностям, мне не жить никогда иначе, как теперь, и не увидеть нового общества и новой жизни... Такое мое положение мешает мне во всем, но я не совершенно погиб. Я чувствую, что, несмотря на это, осталось у меня в душе много хорошего; все благородное одушевляет меня, всякая несправедливость, обида, кому бы она ни была, тревожит меня глубоко: эти чувства возвышают меня и освобождают снова, пробуждают во мне силы, заставляют презирать все препятствия, всю эту дрянь, которою я обложен со всех сторон, делают меня снова независимым ни от кого и ни от чего,—при них я свободен, я готов на все (но об этом—особенный вопрос).

Готов ли я?—на что?—На что б ни было. Готов ли я действовать по моим убеждениям, готов ли подвергаться опасностям, даже и тогда, когда бы я не мог наслаждаться плодами наших трудов, более—готов ли я жертвовать жизнью за доброе дело?

1) Не действовать по убеждению—я считаю бесчестным, слабым поступком. Говорить одно, а делать другое—или низость, или слабость, или неуверенность в справедливости своих мыслей, сомненье. Но в этом случае я решительно объявляю, что у меня нет сомнения в тех мыслях, которые здесь написаны, и что я готов действовать по моим убеждениям.

2) Подвергаться опасности даже и тогда, когда бы я не мог насладиться плодами наших трудов,—если я встречу людей, вместе с которыми я могу моими трудами принести пользу человечеству или хоть одному нашему народу, и если с их стороны будет предпринято благоразумное полезное предприятие, то я готов итти вместе с ними везде.

3) Жертвовать наверно жизнью за доброе дело, — если буду знать наверное, что это—доброе, достойное дело, что жизнь мою отдам не даром, то готов 1000 раз отдать ее; об этом думал я часто и решительно могу сказать, что готов; даже и тогда, я думаю, еслиб многие из людей, к которым бы я был привязан, увлеклись неблагоразумно на смерть, то я готов последовать за ними. (Притом же я всегда думаю, что лучше умереть в молодости, со свежими силами, в полном уме, нежели медленно разлагаться до старости лет, терять силы и присутствие духа и, наконец, изнемочь в постели, в болезнях.)

А. П. БАЛАСОГЛО.

ИСПОВЕДЬ [1].

По приглашению следственной комиссии, которою я имел честь быть допрашиваем вечером 10 мая текущего 1849 года, изложить на бумаге свое оправдание во взводимых на меня неизвестными мне обвинителями государственных преступлениях, имею честь представить следующее объяснение.

Я обвиняюсь, в числе 36 человек других, отчасти мне названных лиц в соучастии в так называемом тайном обществе г. Буташевича-Петрашевского, которого главной целью будто бы было ниспровержение существующего порядка вещей в государстве, пагубные намерения относительно самой особы нашего всемилостивейшего государя императора и заменение общественного устройства другим, на основании так называемых социальных идей, к чему, как средство, будто уже и принято нами было к исполнению приготовление умов распространением этих идей в России.

Во всю свою жизнь никогда не воображая подойти, даже и случайно, под разряд столь тяжких обвинений, признаюсь, я был сильно потрясен и взволнован, так что едва сохранил присутствие духа, хотя до того, во все время своего 18-дневного заключения, был совершенно спокоен, не зная и не постигая, за что бы я мог быть схвачен и посажен, и приписывая все это какому-либо недоразумению. Одно, что меня тяготило, — это неизвестность об участи моего семейства, которое, как я знал, оставалось на исходе месяца без гроша, и которому я не мог оставить единственных бывших у меня 20 или 25 рублей серебром, потому что эти деньги я непременно должен был отдать разным лицам в число моих им долгов и не отдал гораздо ранее только потому, что в тече-

[1]) Дело № 55, ч. 17-я, л. 1—44. На показании надпись: «14 мая. Заслуживает особого внимания». Примечания принадлежат редакции,

ние почти целого месяца заболевал и не мог оправиться. Но теперь, будучи столь милостиво ободрен и заверен, как г. председателем, так и всеми прочими г. г. членами комиссии, что правительство вовсе не так против меня предубеждено, чтоб искало только моего осуждения, что, напротив, оно желает только искреннего и полного признания во всех моих действиях и намерениях в сообществе с г. Петрашевским и другими, даруя мне тем возможность самому облегчить меру могущего мне воспоследовать наказания, и в особенности будучи несказанно обрадован словами г. председателя, что государь император, узнав о крайнем и беспомощном положении моего семейства, соизволил пожаловать ему сумму на пропитание [1], и в полном благоговении и умилении к столь неожиданной и незаслуженной мною высочайшей милости, прихожу вновь в себя и начинаю свое оправдание.

Прежде, нежели я приступлю к изложению, я должен объявить комиссии, что я всепокорнейше прошу меня простить во всех длиннотах, отступлениях и даже резкостях суждений или выражений, если они случатся. Я позволяю себе все это единственно потому, что не хочу скрыть никаких движений своей души, никаких тайн ума. Еслиб я был принужден писать формальное оправдание, я бы решился это сделать никак не иначе, как только отвечая категорически на предложенные мне вопросы, по пунктам; скажу более, — я бы не счел за надобность не только входить в какие-либо подробности, но даже и вовсе не обременил бы внимания моих судей повестью главных черт моей жизни и изложением сущности моих понятий о предметах и лицах. Теперь я делаю это, повторяю, единственно потому, что пишу не судебный акт, а, если можно так выразиться, полную духовную исповедь всех своих дел и помышлений. Я делаю это не для того, чтобы выслужить себе облегчение в могущем мне быть наказании; нет, чувствуя себя совершенно невинным как в помышлениях, так и в действиях, а если и виновным, так в самых обыкновенных человеческих грехах и слабостях, я хочу этим изложением своей души доказать ту глубокую признательность и доверие, какие мне внушены обязательною для моего сердца кротостию обращения со мною моих судей, и принести в жертву все, что могу в настоящую минуту своей жизни, его величеству, все-

1 Жене Баласогло было выдаваемо пособие из 3-го отделения.

милостивейшему государю императору, нашему общему отцу и покровителю, за столь необыкновенную внимательность к судьбе семьи одного ничтожного лица из миллионов его подданных, может быть, даже—негодяя.

Я понимаю, что общество может судить человека только либо 1) за его действия, либо 2) за его мнения; последние только в таком случае, если они были выражаемы, следовательно, как бы уже превращались в действия, и в таком случае—в той мере, в какой могла в них явно обнаруживаться какая-либо общественная цель.

Поэтому я бы должен был, для логического порядка, сперва изложить и объяснить свои действия, а потом и мнения; но так как между одними и другими существует, по самой природе вещей, самая тесная, неуловимая органическая связь, одни бывают причинами других, одни как бы рождают другие,—а потому, для ясности дела и сколь возможной краткости изложения, я не нахожу ничего удобнее, как прибегнуть к системе, принятой современною наукою, именно,—к историческому изложению тех и других, держась в главных основаниях рассказа все-таки естественного разделения предметов и только для экономии объяснения прибегая к переходам или к забеганиям мысли вперед.

1) Нахожу необходимым начать историей своей жизни, чтоб показать, если возможно, самое, так сказать, зарождение и потом последовательное развитие своих стремлений и понятий; потом:

2) Перейду к изложению своих действий, по мере их подхода под обвинительные пункты; и, наконец—

3) Изложу, в их основных чертах, самые понятия и убеждения.

При всем этом я буду ссылаться на факты и лица, прибегая к этому, как к единственному средству соблюсти колорит жизни и действительности, а следовательно, передать самую строгую, самую полную истину.

1.

Я родился в Херсоне 23 октября 1813 года от лейтенанта флота, теперь генерал-майора, члена черноморского интендантства, Пантелеймона Ивановича Баласогло и его жены и моей матери—Ольги Григорьевны, урожденной Селяниновой. Мое происхождение с той и с другой стороны дворянское, и почти с обеих—русское. Я знаю, что отец

моей матери был надворный советник и умер, оставив двух малолетних сирот или даже одну мою мать, помню свою бабушку и даже прабабушку, вдову полковника, командира Бутырского или Ахтырского пехотного полка, Синицына, который умер в 1812 году в Севастополе. Со стороны отца я знаю, что он был вывезен из Константинополя 8 лет от роду и прямо отдан в С.-Петербургский морской корпус; потом, не помню где, ребенком, я видел и моего деда, приезжавшего в Россию, не в первый, но в последний раз, по своим делам, так как он, сколько я помню из рассказов родни, потерял все свое состояние в 1812 году, занимаясь, как все греческие дворяне, стенавшие целые века под игом турков, торговыми делами, для поддержания своего существования. Сверх того, с обеих сторон я отчасти видывал, отчасти знаю по слухам, весьма много лиц близкой и дальней родни все потомственных дворян русских или совершенно обруселых и имевших довольно почетные звания в русской службе и значительные имущества в России.

С детских лет я получил непреодолимое отвращение к духовным лицам. Да не покажется это моим судьям слишком странным: это были самые первые мои впечатления, которые играют весьма важную роль в моей умственной и нравственной жизни. Все наше семейство, исповедуя православие, всегда всеми своими членами отличалось глубокою религиозностью; я один был с первого, так сказать, открытия на свет глаз—то, что называют вольнодумом. Первое, что я помню и никогда не забуду, это то, как я, будучи, не знаю 3-х или 4-х лет, но не более, от роду, поднесенный на руках к причастию св. таин, испугался бороды священника и никакими силами, ни убеждениями, ни обещаниями, ни угрозами не мог быть доведен до того, чтобы принять причастие. Принесши домой, меня тотчас же высекли и оставили целый день без пищи, на коленях. Внимая дальнейшим внушениям и боясь неминуемого нового наказания, я в скорости опять был принесен к причастию и с содроганием, будучи держим за обе руки, принял; но едва-едва не выбросил изо рта, почувствовав внезапный порыв тошноты, смешанной с чувством испуга, все-таки от бороды и приемов священника и холода ложки. С тех пор этот обряд был для меня, пока я совершенно не вырос, всякий раз настоящею казнью... Я приготовлялся к нему по целым месяцам, сам собою, в уме и детской молитве. Другая причина—когда я был уже лет семи и обнаруживал вообще во всем

большую любознательность, стал было расспрашивать одного ходившего иногда к родителям священника, как помню— отца Герасима, которого я одного из всех лиц его звания не боялся, потому что он был чрезвычайно добр и ласков, о значении различных обрядов церкви и, между прочим, все-таки св. причастия; он на второй же мой вопрос так на меня вскрикнул и так долго вместе с моей бабушкой называл меня еретиком и окаянным мальчишкой, что я не знал, чем и как доказать всю невинность своего любопытства и скорбел об этом в стыде и в слезах почти целую неделю. «Молчи!—мне повторяли,—не смей рассуждать! Это тайна!» С той поры я стал бояться и этого священника, как всех других. Хотя мне и стыдно теперь признаваться, но, узнав от слуг, что при виде священника надо отплевываться, всякий раз лет до 30 своего возраста я сохранял эту привычку, кроме которой я никогда не знал и не держался никакого предрассудка. Одежда священника, завиденная издали, приводила меня невольно целую жизнь в род испуга и беспокойства, и я никогда не мог выдержать ни одного разговора с лицами этого звания, опасаясь, чтоб не попасться обмолвкой в вину, как пред отцом Герасимом. Здесь я прибавлю, что в последние годы своей жизни, когда я уже совершенно остыл от детских предубеждений, я был так несчастлив, что, при всем желании беседовать о духовных предметах с самими учителями религии, я не встречал ни разу ни одного лица, с которым бы смел пуститься в серьезный разговор: на первых же своих доказательствах они оказывались решительно самыми грубыми невеждами в истории церкви, в том, что для краткости называется философией религии и вообще во всем общечеловеческом образовании. По уму, обширности и прочности познаний, так же как и по достоинствам общежития, я доселе знаю только четыре лица, по предметам, ближайшим к моему изучению, да еще такое же число по общедоступным, это именно: в первом разряде—отцов Иакинфа[2], Павского[3], Сидонского[4] и Макария[5],

[2] Иакинф (Никита Як. Бачурин), 1777—1853, известный китаевед, бывший начальник духовной миссии в Пекине, лишенный архимандричьего сана.

[3] Павский, Герасим Петр., 1787—1863, выдающийся гебраист, профессор еврейского яз. в Петерб. духовной академии, протоиерей.

[4] Сидонский, Фед. Фед., 1805—1873, профессор богословия и философии в Духовной академии, протоиерей Казанского собора.

[5] Макарий (Мих. Петр. Булгаков), 1816—1882, митрополит московский, известный историк церкви, с 1842 г. профессор богословия в Духовной академии.

а во втором — Наумова[6], Малова[7], Кочетова[8] и Иннокентия[9]; но и всех этих лиц я знаю, кроме одного Иакинфа, только по науке и общей их доброй славе в городе. Я не сомневаюсь, чтоб в России не было и гораздо более подобных утешительных явлений в самой высшей области человеческого знания; но удаление, в каком они большею частью живут от общества, и невозможность приобретать частному человеку многие сочинения вдруг не дают вообще средств к сближению лиц, жаждущих истины, с лицами, могущими ее передать кротко и любовно, как твердил сам наш божественный учитель и как он завещал всем своим ученикам и апостолам.

Учился я весьма прилежно; с 4-летнего возраста, выучившись читать, уже бросил все игрушки, даже указку, и все время жизни доселе, при малейшем досуге и возможности, проводил в чтении. Но, не взирая и на это, мое необыкновенное в детях поведение, за которое я был прозван в доме, как водится, философом, я все-таки не избегал многократных наказаний и розгами, и всячески, за мое будто бы упрямство и экзамены учителям, тогда как я, будучи только растравляем их неясным изложением, сгорал желанием уразуметь не дающийся мне толк и смысл дела. Отца я боялся более всего в мире. Он пугал меня не столько своею строгостью, сколько запрещениями читать книги собственно литературного содержания и беспрерывными принуждениями «заниматься», т.-е. учить уроки из наук, а особенно из математики, которую я от души ненавидел, не умея ничего понять из преподавания учителей. Эти запрещения, которые я, разумеется, не находил никакой силы исполнять буквально, ставили меня почти ежедневно в отношении к отцу в положение виноватого, не могущего найти никаких средств к оправданию; а потому я все более и более предавался страху его гнева. Мать, напротив, не только не запрещала, но даже сама сообщала мне тайком романы и стихотворения, до которых я был жаден, и защищала меня всячески, если попадался отцу не с математикой в руках.

Я не забуду по гроб благодарить ее в душе за то, что

---

[6] Наумов, Иван Мих., 1793—1879, протоиерей, духовный писатель.

[7] Малов, Алексей Ив., 1784—1885, протоиерей Исаак. собора, проповедник и духовный писатель.

[8] Кочетов, Иоаким Семен., 1789—1854, протоиерей Петропавл. собора, профессор Духовной академии и лицея, церковный историк.

[9] Иннокентий (Ив. Алексеев Борисов), 1800—1857, доктор богословия, архимандрит, знаменитый проповедник.

она первая ввела меня в мир поэзии, заставляя меня декламировать стихи или читать книги и, не скучая, по целым дням и вечерам, вместе с бабушкой, останавливать меня на каждом слове, требовать, чтоб я объяснял все свои недоразумения, и толковать мне всякую мелочь со всеми подробностями, пока я не пойму. Еслиб также поступали и все мои наставники в науках, я никогда не испытал бы стольких мучений в жизни, происходящих преимущественно от неудовлетворенного любознания. Одна поэзия всегда была мне ясна и понятна; одна она составляла единственное утешение в моей горестной жизни, и за это я обязан своей матери.

Впрочем, ни отец, ни мать, и никто в доме меня не баловали. Я был старший, вечно с книгами, никогда не вертевшийся на глазах, с вопросами, на которые редко мне могли дать удовлетворительный ответ, и с боязнью проговориться, следственно, скрытный; другие дети резвились, ласкались и забавно проказили. Видя, что их предпочитают, они смело, напроказив весьма не забавно сами, бежали на меня жаловаться, доносить, что это сделал я, или они, но по моему наущению. Мне не верили и наказывали без всякого помилования. Я же, ожесточаясь все более и более, дошел до того в своих одиноких размышлениях, что стал презирать и детей, своих братьев и сестер, и больших, никогда не позволял себе даже жаловаться большим, когда меня обидят маленькие, потому что это, по моему мнению, не стоило труда: во-первых,—низко, во-вторых,—не поверят и кончится тем, что они отоврутся и меня же накажут...

Вот причины, которые с самых ранних лет, так сказать, выживали меня из родительского дома и делали мне его несносным. К этому присоединились и другие, еще важнее: именно, самою первою книгою, какая мне попалась в руки, была география, в которой довольно подробно описывались жизнь, занятия, нравы, наряды и обычаи различных народов, особенно Востока, Восточного океана и Америки. Эта книга решила направление всей моей жизни. Я до того был пленен природою этих стран и всеми чудесами образа жизни этих народов, что только и думал всю свою последующую жизнь, как бы мне побывать в этих волшебных местах и описать их еще полнее и ярче, чем как я читал. От этого я бросался на путешествия, кораблекрушения и описания народов; от этого я задумал изучить все восточные языки; от этого я загорел желанием вступить на службу во флот, добраться до Петербурга и оттуда на первом кругосветном корабле

отправиться в дальние вояжи. Два года я не переставал надоедать и отцу, и матери, и всем домашним и знакомым, чтоб меня скорее записывали в гардемарины. Наконец, отец сдался, и я на 13-м году от роду, в 1826 году, поступил на службу во флот гардемарином.

На флоте, я разумею Черноморский, я застал в тогдашнем гардемаринстве и молодом офицерстве нравы, если не буйные,—по крайней мере, еще полудикие. Родители, большею частью сами флотские офицеры, или окрестные помещики, не имея средств или не желая расставаться с детьми, не отправляли их никуда далее Николаева или Севастополя, где их учили большею частью штурмана математике и морским наукам; впрочем, решительно ничему более, ни языкам, ни истории и географии, ни словесности, ни даже закону божию, и уж нечего и говорить, что никаким правилам нравственности и общежития. Кто, что мог захватить дома или в людях, тем и должен был оставаться доволен на всю жизнь. Присмотра не было почти никакого. Корпуса не было—у приезжих часто ни родни, ни знакомых, словом, молодежь жила у учителей из низшего сословия или сама по себе, по квартирам... Нравы были довольно свирепые, и я, с первого же шага на флот, встретил с неописанным изумлением и горестью это непостижимое для меня буйство, невежество и праздношатание. Впрочем, на службе они были, что называется молодцы, и потому начальство вовсе не обращало на них внимание: лишь бы были исправны и послушны, а там—хоть что хочешь!..

Эта молодежь, будучи по большей части от 15 и до 25 лет от роду, не находя меня своим, приняла, что называется, в точку. Меня терзали самым неимоверным образом... Жаловаться было некому, да и опасно: мичман и почти все лейтенанты были совершенно одних понятий с гардемаринами. Я сделался дик и угрюм и решительно возненавидел людей...

К счастью, на следующий 1827 и потом на 1828 годы мне досталось служить на корабле «Парнусе», который оба эти года был флагманским, т.-е. тем, на котором сидел адмирал, сам покойный и незабвенный А. С. Грейг [10]. Тут мне было уже в тысячу раз легче, потому что и мальчиков было менее, и мальчики скромнее, да и самое присутствие этого

---

[10] Грейг, Алексей Самуилович, 1775—1845, с 1816 г. главнокомандующий Черноморского флота и портов. Принимал деятельное участие во взятии Анапы и Варны в 1828 г.

редкого, доселе обожаемого всеми черноморцами Грейга невольно налагало на всех отпечаток его кротости и строгости в исполнении обязанностей. Я имел честь через каждые два дня, по заведенной очереди, в числе всех офицеров корабля бывать у него за столом, наслышаться его суждений и насмотреться его обращения с подчиненными и деятельности в служебных и научных занятиях, и потому считаю долгом отдать справедливость его памяти тем сознанием, что если уцелел в нравственности и получил серьезное направление в службе—всем этим обязан единственно его примеру, пользуясь им совершенно извне, потому что не имел к покойному адмиралу решительно никаких ни рекомендаций, ни протекций, ни особых случаев, и ничем в особенности не был им отмечаем.

1828 год вечно мне памятен тем, что я имел счастие, столь необыкновенное в отдаленном краю России и особенно тогда, видеть особу государя императора и служить на том самом корабле, который он соизволил удостоить своим личным присутствием в течение всего времени осады крепости Варны. Это было, можно сказать, самое лучшее и самое восторженное время во всей моей жизни. Будучи отпускаем моим отцом на войну, я получил от него только обыкновенное родительское благословение и эти три слова: «Добудь себе такой же знак!». Он указал на висевший у него на груди солдатский орден св. Георгия, который он получил за храбрость вместе с чином мичмана, будучи ранен в звании гардемарина при острове Тенедосе, в незабвенную для всей России кампанию адмирала Сенявина в 1806—1808 годах в Средиземном море—в ту самую кампанию, где убит в сражении двоюродный мой дядя, генерал Попандопуло, командовавший отрядом сухопутных войск при Сенявине. «Да помни,—присовокупил мне отец,—что твой дядя не пощадил своей жизни для отечества!». Я давно все это знал и сам из бесчисленных семейных рассказов и только тем и горел, чтоб доказать всему свету, что я ничем не хуже ни отца, ни дяди, когда дело идет об отечестве. Я бросался во все опасности; не знал ни сна, ни отдыха... Государь император поселился у нас на корабле со всею свитою, и потому все офицеры уступили свои каюты лицам первых классов, бывших тогда при его величестве, и удалились «под сукно». Мы же, два гардемарина—нас только и было, что двое, я и мой бывший товарищ Игорь Васильев, родной брат Васильеву, бывшему в это время адъютантом у Грейга, а потом

у князя Меньшикова и теперь находящемуся начальником штаба при главном командире в Кронштадте—мы двое не имели целый месяц никакого пристанища: он, имея брата, в его отсутствие иногда пользовался его каютой; но я, не имея никогда никакого родства, ни покровительства на службе, спал решительно на голой палубе, завернувшись в шинель и фуражку под голову. Но и это было редко, потому что, по сходе почти всех офицеров на берег в траншеи, мы два 15-летние мальчика исправляли должность офицеров и почти не сходили с катеров и баркасов, где и высыпались, и обедали, и ужинали, грызли, в буквальном смысле, одни матросские сухари; а на берегу, что касается до меня, не имея никогда ни гроша в кармане ни от родителей, ни в виде жалованья, которого гардемаринам не полагается ни копейки, я, по невозможности воспользоваться услугами маркитантов, при случае прибегал к виноградным садам, опустошаемым тогда матросами, либо пользовался радушием первого попавшегося матроса, хотя бы и с чужого корабля, если только он шел с фуражировки не с пустыми руками, а с виноградом же или медовыми сотами. Ни время, ни обстоятельства не дозволяли начальству нас щадить: мы возили провизию для стола его величества и его свиты, по целым дням пеклись на солнце, наливаясь для корабля водой, возили иногда по нескольку раз в сутки бесчисленные конверты с самонужнейшими повелениями или донесениями по всем военным судам, бывшим на рейде, и весьма часто на дежурные корабли и бомбардирские суда, под градом прыгавших около шлюпки ядер, издававших подобно китам фонтаны, что меня весьма забавляло, и в особенности донесения с южной стороны Варнского залива от находившегося там с корпусом генерала Бистрома [11], к главнокомандующему, в его лагерь, на противоположном, собственно Варнском берегу залива, с надписями: «весьма нужное», «в собственные руки» такого-то. Так я имел честь и счастие неоднократно вручать подобные пакеты, шедшие и из других мест, к графу Воронцову [12], Дибичу [13], Бенкендорфу [14] и самому его величеству

[11] Бистром, Карл Ив., 1770—1838, командующий пехотою гвардейского корпуса, с августа 1828 г. осаждал Варну, которая была взята 29 сентября.

[12] Воронцов, Мих. Семенович, кн., 1782—1856, ген.-фельдмаршал, в 1828 г. взял Варну.

[13] Дибич, Ив. Ив., граф, ген.-фельдмаршал, в 1828 г. находился при главной армии, составил план кампании, за переход Балкан получил титул Забалканского.

[14] Бенкендорф, Александр Христофорович, 1783—1844, с 1826 г. шеф жандармов, сопровождал государя в турецком походе.

великому князю Михаилу Павловичу, отвозя их с корабля на шлюпке на берег, а оттуда на казацкой лошади верхом в то место, где бы ни находилось лицо, которому следовало доставить пакет; и тут почти всегда доставалось делать объезд по 3 и по 7 верст в один конец, ища один-одинешенек в пустой и незнакомой горной местности нужной особы между тремя пунктами: пристанью, лагерем великого князя и лагерем гр. Воронцова. Тут я не могу удержаться, чтоб не упомянуть хотя мимоходом, что я в один из таких разъездов имел счастие попасться навстречу самому государю императору, ехавшему из лагеря гр. Воронцова обратно на корабль. Его величество, изволив заметить на южной стороне большой дым—признак значительной перестрелки, послал вперед себя флигель-адъютанта Римского-Корсакова [15], который, летя во весь опор, открыл, что ожидание его величества действительно было справедливо: я уже вез донесение об этой перестрелке, на казацкой лошади, без седельной подушки, так как стремена были весьма длинны, и едва-едва мог с нею справиться, когда она, чувствуя на себе не того ездока, пошла меня носить по оглоданным тычкам виноградников... Корсаков заметил меня далеко в стороне с дороги, доскакал ко мне и поворотил навстречу к государю. Его величество весьма милостиво, думая, что я смешался и робею подъехать, поднялся сам ко мне на возвышение и ободрял словами, взял из моих рук донесение Бистрома к графу Воронцову и прочитал его. Я же робел вовсе не его присутствия, а того, чтоб лошадь не вздумала меня понести опять куда-нибудь в сторону... По прочтении его величеством донесения я имел счастие принять его обратно с приказанием государя императора к графу и доставил то и другое исправно.

Всех случаев исчислить невозможно, но я могу насчитать их множество. Я два раза тонул,—раз чуть было не был раздавлен баркасом у борта корабля, на сильном волнении, раз—единственно, как выражались тогда же все свои и чужие штаб- и обер-офицеры, «по фантазии» командира корабля Критского [16], я был послан им с баркасом и 18 бочками на южную сторону, сыскать фонтан, находившийся как раз на-

[15] Римский-Корсаков, Ник. Петр., 1793—1848, за атаку крепости Кюстенджи произведен в флигель-адъютанта, впоследствии вице-адмирал, директор морского кад. корпуса.

[16] Критский, Ник. Дм., состоял при вице-адмирале Грейге для особых поручений, командир «Парижа».

супротив крепости, под ее выстрелами, и, во что бы то ни стало, доставить из него воды для стола его величества, так как Критский полагал, что эта вода лучше обыкновенной, с угрозой, что если не привезу воду или вызову на себя хоть один выстрел из крепости, он заморит меня на салинге [17]. Я отправился под вечер и, достигнув крайних пределов занятой нашими командами местности, стал разведывать у начальников, как бы пробраться к фонтану. Все изумлялись и советовали не искать вчерашнего дня, не подвергаться, по их мнению, неминуемой опасности или попасться в плен, или быть разбитым вдребезги и остаться на мели до утра, или во всяком случае взбудоражить и крепость и всю турецкую силу, где бы она ни находилась, а с нею вместе и оба наши лагеря... но я знал очень хорошо характер Критского, с другой же стороны, ища случая отличиться, не послушал ничьих советов и, видя, что надо искать всего самому, спросил своих людей, которые, как я заметил, стали унывать от опасений и увещаний штаб-офицера и других: «Ну, что, ребята! хотите ли вы со мною пуститься на авось?!!»—«Да как вам угодно, сударь: известно, мы вас не оставим!»—«А мне так и очень угодно, и даже просто смертельно хочется попытать с вами счастия!»—«Ну, и мы рады стараться! Не оставим вас ни в жизнь!»—«Ну, так с богом, марш!» Я велел им обернуть весла их же онучами, или чем они хотят, чтоб не было слышно ни малейшего стука от гребли, и в самые глубокие сумерки подгреб, сколько было можно ближе, к берегу насупротив крепости, против самых ее стен. Баркас весьма далеко стал на мель. Я велел матросам раздеваться и катить бочки, крадучись к берегу, и начал было раздеваться и сам, но они не допустили меня это сделать и в один миг перетащили на плечах на берег. Но тут только что было ступить ногой на сушу, как из-за куста выскочил солдат: «Кто идет?!!». Мы остановились: пустились в объяснения... наконец, я урезонил солдата, что мы—русские с корабля, лозунга не знаем, потому что он нам не отдан, отправлены за водой к фонтану для государя императора: «Есть ли тут фонтан?»—«Есть, мы у него и поставлены в секретном пикете; там есть и офицер».—«Ну, так вызови сюда офицера, унтер-офицера, ефрейтора, кого хочешь!». Пока являлся унтер-офицер, потом сам офицер, пока длились все эти переговоры, я сидел на спине

[17] Салингом называется принадлежность судового такелажа для маневров с парусами.

матроса. Наконец, офицер, удостоверившись, что мы свои, а не турки, решился нас пропустить, и мы едва-едва успели за ночь налить все бочки, так как фонтан едва цедил воду, а катать было довольно далеко и все надо было делать с величайшей осторожностью, потому что, как удостоверял офицер и все рядовые, днем турки то-и-дело что посылают сюда ядра, и пикету под великим страхом запрещено не показать даже искры, не только какого-либо огня. Уже почти рассветало, когда мы выбрались из-под амбразур крепости на простор, и совсем утро, когда мы пристали к борту корабля. Критский был уже наверху и первый меня встретил: «Что, привез?»—«Привез-с!»—«Ну, то-то же! Все бочки налил?»—«Все-с!». Тут я было начал ему объяснять, как и что было; он не выслушал и трех слов и крикнул... «Ну, ну! не рассказывай! не хвастай! Еслиб хоть одну бочку не налил, просидел бы у меня целый день на салинге, а к вечеру отправился бы ее наливать!». Тем все и кончилось.

При другом случае, где я был совершенно прав, он-таки засадил меня на целые три часа на фор-салинг, приказав хорошенько спрятаться за стеньгу, чтоб как-нибудь не заметил государь император: «иначе просидишь целую ночь!». Я исполнил все это безропотно, распевая себе потихоньку песни, потому что другого решительно нечего было делать.

В то время, единственное во все стояние флота под Варной, когда дня полтора не было никакой возможности от сильного ветра и ужасного волнения пристать к берегу ни одной шлюпке с целого флота, случилась самая крайняя необходимость отправить пакет, дошедший с южной стороны, из-за тиши по ветру, на корабль к Дибичу, который находился вместе с государем императором и всей его свитой на берегу и долго бы не мог его получить без риска со стороны корабля. Вызвали, разумеется, меня, сделав на этот раз мне еще то удовольствие, что спросили: «Решишься ли ты теперь ехать и доставить во что бы то ни стало вот этот пакет к Дибичу?». Я взглянул на море—волны были ужасные... «Что ж! давайте! коли вы позволяете рисковать и найдется охотников на шлюпку—я сейчас же еду!». Меня снабдили на двое суток сухарями, дали дрек (маленький якорь) и отправили, дав ответ,—если не удастся выскочить на берег, то не думать попасть обратно на корабль, а спускаться по ветру до первого закрытого места, хотя бы верст на 20, на 30 от пристани. Мы долетели до пристани живо, бросили в воду дрек и попробовали спуститься на кабельтове (тон-

кий канат) к пристани. Только что было мы поддержались к пристани, как налетевший вал поднял нас по крайней мере вдвое выше пристани и потом, спадая, так хватил о земь и отчасти об угол пристани, что мы в один инстинкт закричали: «прочь! прочь! оттягивайся!» и весьма счастливо оттянулись до благородного расстояния от сокрушения вдребезги. Тут я разделся, вызвав двух матросов, которые умели плавать, последовать моему примеру; закутал, сколько мог прочнее, конверт в свое платье и, приказав им во что бы то ни стало доставить мне этот конверт ненадмоченным, швырнув его на берег, бросился в воду. В одну минуту я был уже на прибережном песке и уже радовался, что так легко исполняется моя мысль, как—увы!—тот же вал, который меня донес и хватил о земь, потащил меня вместе с целым слоем песку и каменьев назад с такою силою, что я, признаюсь, едва сохранил присутствие духа. Я пробился тут, таким образом, по крайней мере четверть, если не добрые полчаса, то налетая на берег, то уносясь от него в море. Наконец последним и отчаянным усилием я запустил руки как можно дальше в песок, который мне показался поплотнее и суше, и, не веря сам себе, очутился на берегу. Первое, что я сделал—пустился бежать, как можно подалее от морского песка; потом закричал матросам, которые все еще бились с своим тюком, перемочив его весь и ни на волос не подаваясь на берег, чтобы они швырнули мне его как можно сильнее и дальше, а сами садились поскорее на баркас и старались или попасть на корабль или, если нельзя, куда сказано. Платье долетело до меня и развалилось,—все было мокрешенько, но конверт цел и едва-едва тронут с одной стороны водою. Я оделся, выбежал, весь дрожа, на гору, изумил своим появлением штаб-офицера, у которого были в распоряжении казацкие лошади, и не успел показать ему надписи на конверте, как он, не слушая меня долее ни секунды, закричал: «Лошадь! лошадь!» Мне подали лошадь... «Ступай, ступай, ради бога! Вези скорее, после поговорим!».

Я пустился по указанию отыскивать Дибича в лагерь великого князя; добрался до лагеря уже к сумеркам и блуждал, с конем в поводу, между палаток, наткнулся на какого-то незнакомого мне адъютанта. Спрашиваю его: «Где мне найти Дибича? Я к нему с пакетом, с Парнуса!» «Как! да ведь ни одна шлюпка не может пристать! Государь император не может попасть на корабль и, вероятно, заночует на берегу; как вы попали сюда?»—«Я переплыл»...—«Вот, и видно, что

моряк! переплыл»... И он рассмеялся, оглядывая меня с ног до головы... «Да вы все мокрехоньки! Ветер ужасный, вас продуло насквозь, пока вы найдете Дибича,—он только что со всею свитою спустился с горы, вот по той дороге, и поехал в лагерь гр. Воронцова,—вы его догоните, а пока, чтоб вы не захворали, выпейте хоть рюмку вина, хоть сколько-нибудь согреетесь...». Сколько я ни отговаривался, что я вина не пью, что уж смеркается, что боюсь опоздать и не застать Дибича,—добрый офицер почти насильно влил мне целую большую рюмку, я думаю, мадеры—первая рюмка подобного, т.-е. крепкого, вина от роду!

Поблагодарив его, сколько мог лучше, я пустился, по его указаниям, под гору и благополучно доставил пакет, уже впотьмах, Дибичу. Он только спросил меня: «Как вы сюда попали?»—«Переплыл-с!»—«Очень хорошо-с, покорно вас благодарю». И более ничего. Возвратившись к пристани, я сдал лошадь, сыскал знакомых офицеров, которые уже ложились спать, не застал у них крошки хлеба,—все уже было съедено. Надо было ложиться спать, но все на мне было еще мокро, ветер продувал меня из-под пола палатки насквозь, я вскочил, как оглашенный, и пошел бродить, чтобы согреться. Так я грелся до утра и потом, видя, что нет никакой надежды попасть до вечера на корабль, проблуждал целый день в опустошенных виноградниках, будучи сыт целые двое суток кой-какими жалкими ягодами, собранными мною за день на пространстве по крайней мере верст 15-ти. К вечеру ветер стих, наехали шлюпки, я очутился на корабле. Тут не было меры похвалам моему подвигу от всех офицеров; но только от офицеров!..

Другой раз меня отправили в подобный же ветер ночью развезти к утру циркуляры на пол-флота. Моего товарища Васильева пустили, по ветру, на одну половину эскадры, а меня, как не имевшего братьев при адмирале, на другую, против ветра. Он преспокойно развез свои пакеты, собственно говоря, несомый ветром, и к утру, когда ветер стих, вернулся на корабль; а я все это время спустившись по шторм-трапу на катер, пробился до изнеможения всей команды и не сделал ни одного вершка вперед, не только за корабль, но даже и до того же шторм-трапа, от которого нас отнесло ветром. Когда он поутих, я добрался до корабля, с объяснением и просьбою новых гребцов. Гребцов мне не дали, послали пакеты с другим офицером, а меня посадили на салинг, ни мало не желая понять, что я столько же виноват в недоставлении

своих пакетов, как и мой товарищ в доставлении своих... Сила солому ломит!..

Но я боюсь употребить во зло терпение моих судей. Если будет угодно, я могу дополнить еще большими подробностями после.

Теперь надо сказать заключение.

Варна была взята, все ликовало, все было в восторге... Все офицеры получили награды, чины, ордена, подарки, только мы двое, я и мой товарищ, не получили ничего. Каждому офицеру досталось за весь поход этого года по крайней мере по две и по три награды, а нам—ни нуля. По окончании кампании Грейг с великими усилиями, но таки выхлопотал офицерам и жалованье по заграничному положению; хотя и тут князь Меньшиков [18], уже начавший тогда же действовать во мнении государя императора против адмирала, какого лучше не бывало для Черного моря, урезал это жалованье с четверного на двойное, в явную обиду всему флоту против сухопутных войск; а нам, несчастным детям, служившим три года, на собственном иждивении и не получавшим, кроме стола в походе, ни копейки от казны, не могло быть дано и тут никакого поощрения... По крайней мере я знаю, что это сделал не Грейг. Все командиры кораблей, кроме нашего, представили к солдатским «Георгиям» и к офицерским чинам всех своих гардемарин, и когда, не дождавшись результата, стали напоминать Грейгу, в хлопотах каждый о своих родных детях или племянниках, Грейг был так тверд, что сказал им наотрез: «Я единственно потому не исполнил вашего желания, что оба мои гардемарина, которых службу и усердие я видел весь поход лично, до сих пор не представлены от командира корабля ни к чему. Когда будут представлены и они, тогда я с ними представлю и всех остальных». Но ни Грейг, ни мы, два великих грешника, не дождались этого представления от злого и жестокого Критского.

Это смутило меня на целый месяц: я бродил, как шальной. Наконец, передумав и перечувствовав на целые годы вперед, очнулся от своей меланхолии человеком, совершенно и вполне освободившимся от всякого честолюбия и веры в справедливость раздаваемых отличий и наград.

На следующий год мы, уже проэкзаменованные и удостоенные в офицеры, вместо того, чтобы получить из Петер-

---

18 Меньшиков, Александр Сергеевич, кн., 1787—1869, в 1828 г. взял Анапу.

бурга ожидаемые чины, вдруг получаем известие, что государь император, будучи сам свидетелем, как плохо знают черноморские гардемарины фронтовую службу, высочайше повелеть соизволил отправить всех представленных в Петербург и не производить их в офицеры, пока не узнают фронтовой службы.—Это нас поразило, как громом. Кто мог ожидать, чтоб его величество так поступил с своими Варнскими героями... Нечего было делать, надо было ехать в Петербург... Все плакали, но мне, которому, как я уже сказал, было совершенно все равно, еслиб меня вместо производства даже разжаловали в рядовые, это известие было лучом живейшей радости. Я и не воображал думать о восторге носить эполеты, все мои мысли были направлены на Восточный океан, к Сандвичевым и Маркизским островам, к Перу и Мехико, к Китаю и Японии. В Петербург, значит, хоть матросом, хоть на палубе, завернувшись в шинель и фуражку под голову, да в дальний вояж, в кругосветное путешествие... И я торопился как сумасшедший, обманул родителей, что я выздоровел, когда был совершенно болен, в опасении, чтоб не быть оставленным в Черном море, не поспев к сроку на сборное место, таки приехал в Петербург, проболев всю дорогу в лихорадке и горячке до того, что меня два раза чуть-чуть было не сдали в Городскую больницу...

В морском корпусе мы учились семь месяцев фронтовой службе, потом месяц или два занимались приготовлением к экзамену—ко вторичному, что было и для нас, да, я думаю, и для Грейга весьма прискорбно, потом экзаменовались и, наконец, произведены в мичманы и отправлены в Кронштадт. Никто из нас ни на волос не был рад ни эполетам, ни Кронштадту, ни фронтовой службе...

Я прослужил почти семь лет в Балтийском флоте, был во всех тяжких на службе, лез из кожи—надо заметить, нисколько не из честолюбия, а единственно из того, чтобы выйти из рядов дюжины и отправиться в дальний вояж. Но дальние вояжи совершенно прекратились; наука была подавлена, убита, рассеяна... В офицерстве, во всю мою бытность на флоте, только и было слухов и толков, что государь император не терпит ни наук, ни ученых, называя последних, после 14 декабря, тунеядцами и мерзавцами, что князь Меньшиков не смеет и думать доложить государю о чем бы то ни было дельном и серьезном вообще, а тем более—научном... После всего этого я могу привести миллион фактов в доказательство и сослаться на сотни лиц, оставивших флот в эти 20 лет;

признаюсь, я был постепенно до того запуган фронтовыми строгостями, казарменным обращением почти всех моих начальников, кроме одного и единственного, тогда капитана I ранга, а теперь вице-адмирала, Ивана Петровича Епанчина [19], да уже перед концом на самое короткое время почтенного и доброго адмирала Петра Ивановича Рикорда [20], и особенно этими слухами и толками о постоянно разъяренном состоянии государя императора, что решился оставить море и поискать счастья на суше.

В Петербурге, еще будучи во флоте, в 1834 году, я было начал посещать университет с тем, чтобы пройти в нем курс восточных языков и других предметов—надо же было когда-нибудь да приняться за дело радикально. Но не успел я проходить и 5-ти месяцев, как меня, как нарочно, стали гонять на службу через день и, наконец, каждый день... учиться было невозможно; к тому же я не был в состоянии добыть себе ни лексикона, ни грамматики ни одного из восточных языков. Эти книги чрезвычайно дороги и даже до сих пор. Я вздумал было еще ранее, с 1831 года, обратиться к Гречу [21]. Он меня чрезвычайно обласкал и все его домашние меня полюбили, и я должен отдать им всем полную справедливость, кажется, принимали во мне самое неподдельное и внимательное участие, за что я навсегда останусь им благодарен; но сам Греч, от которого все зависело, в три года моей ходьбы в его дом и искренней дружбы с его сыновьями решительно ничего не умел или не хотел мне сделать. А я только и добивался 10 лет сряду, чтоб найти в Петербурге место хоть в 400 рублей ассигнациями, но с достаточным досугом для пройдения курса восточных языков, или службу на Востоке, или хоть поблизости, на Кавказе, в Сибири, но все-таки с досугом и книгами. Куда я ни бросался—все было, как заговоренное. «Нет вакансий», или «странные у вас желания»—вот все, что я слышал от немногих знакомых, каких имел. В министерство иностранных дел нельзя было и думать попасть: надо было или именное высочайшее повеление, или не письмо, но настояния какой-нибудь сильной особы, необходимой или опасной для

[19] Епанчин Ив. Петр., 1791—1875, адмирал, в 1827 г. участвовал в Наваринском сражении.

[20] Рикорд, Петр Иванович, 1776—1855, блокировал Дарданеллы в 1828 г. Был оставлен в Архипелаге для поддержки нового греческого правительства. Произведен в адмиралы в 1843 г.

[21] Греч, Ник. Ив., 1787—1867, известный издатель и педагог. В 1829—31 гг. редактировал «Журнал Мин. Внутр. Дел».

графа Нессельрода[22], или подкуп, начиная с его камердинера или швейцара—но помню—по 25 рублей сер. за каждый впуск только в переднюю дверь графа, а там выше и выше, как водится.—Куда мне было деваться? Я узнал, что есть вакансия в Ставрополе адъютанта при штаб-офицере корпуса жандармов, и опрометью бросился к одному чиновнику, служившему в 3-м отделении и отчасти мне знакомому, именно—к Лермонтову. Он был так добр, что сию же минуту стал хлопотать обо мне, как бы сам о себе, и весьма скоро исходатайствовал обещание Леонтия Васильевича Дубельта[23], что я буду принят тотчас же, как получу увольнение от настоящей службы, чего я уже и просил с месяц—или не помню как—назад, в чаянии, в течение 4-х месяцев, пока будут тянуться справки по флоту, нет ли на мне начетов, приискать себе место. Но пока я ожидал этого увольнения, вдруг открылась вакансия в Институте восточных языков. Я пришел в восторг: бросился сам к Аделунгу[24],—отказ, к Чиколини, который был с ним знаком,—обещание, что выхлопочет, к М. А. Балугьянскому[25], письмо к Аделунгу и обещание, что если не подействует, даст письмо к самому графу Нессельроду. Аделунг обещал... Я на радостях, чтоб не держать от других вакансии в Ставрополе, тотчас же бросился к Вердеревскому, заменившему место Лермонтова, и, принося благодарность и объясняя причины, извинился, что не могу уже воспользоваться милостью Леонтия Васильевича. Но, пока я ожидал отставки, Аделунг изменил—отдал вакансию другому; а я остался, как рак на мели, не смея уже и думать беспокоить начальство корпуса жандармов, чтоб оно не сочло меня за самого бестолкового человека в мире, который играет и службой и благосклонностью занятых ею лиц.

В таком положении я решился обратиться прямо к Сергею Семеновичу Уварову[26], как к министру народного просве-

---

[22] Нессельроде, Карл. Вас., граф, 1780—1862, с 1822 г. полномочный министр иностр. дел, проводивший австрийскую политику, с 1844 г. госуд. канцлер. Уволен при Александре II.

[23] Дубельт, Леонт. Вас., 1792—1862, с 1835 г. начальник штаба корпуса жандармов, с 1839 г. управляющий 3-м отделением.

[24] Аделунг, Фед. Павл., 1768—1843, историк, археолог, с 1834 г. по 1843 г. директор Института вост. языков при минист. иностр. дел.

[25] Балугьянский, Мих. Андр., 1769—1847, профессор политич. экономии и энциклопедии юридич. наук, первый ректор Пет. университета, член комиссии составления законов.

[26] Уваров, Серг. Сем., 1786—1855, министр нар. просвещения с 1833 г. по 1849 гг.

щения, обдумав объяснить ему, что я уже начал посещать лекции, ходил около 5-ти месяцев, чему свидетели все факультеты, кроме математического, не только восточный; но по невозможности соединить морскую службу с хождением в университет, тем более, что меня уже два раза гнали из Петербурга в Кронштадт, я решился прибегнуть к нему, как к министру и как к человеку, известному своими попечениями о восточных языках в России, в особенности, не будет ли он так милостив, не даст ли мне место, где ему угодно, в своем ведомстве, только с тем, чтобы я имел возможность уделять время от службы на посещение лекций. Я ходил три недели сряду, еще будучи в мундире, просиживал по три часа в его передней и только в последний раз дождался, что обо мне ему доложили, хотя я и преважно каждый раз расписывался в книге, заведенной для того, чтоб просители вступали по очереди. Уваров на меня не хотел даже и взглянуть и выслал того же директора канцелярии, Новосильковского, который и отобрал, после многих моих настояний видеть самого министра, мою изустную просьбу, был так добр, что доложил министру и, получив его ответ, дал мне письмо к князю Ширинскому-Шихматову [27], потому, что другой возможности не было, как дождаться вакансии в департаменте. Словом, я был определен на 750 рублей асс. в счетное отделение в хозяйственный стол и забыт. Сколько я ни напоминал о себе и князю и Новосильковскому, пользуясь всеми ласками и хлебом-солью последнего, и чрез знакомых, и лично, и письменно, и изустно,—все кончилось одними обещаниями и решительным отказом князя дать мне по крайней мере позволение посещать только два раза в неделю от департамента университет. Я ручался, что все дела, какие у меня ведутся, будут итти решительно тем же ходом, как и всегда. Нет. А между тем начальник отделения, некто Тетерин, отвратительный взяточник и тиран подчиненных, державший в ежовых рукавицах весь Щукин двор, ел и грыз меня каждый божий день, вообразив, что я посажен к нему князем для наблюдения над его поборами с купцов, чего я и во сне не видел и что я открыл уже после, когда сам князь признался мне, что Тетерин всякий раз, как только князь его спрашивал обо мне, отзывался обо мне, что я нерадив к службе. Нерадив! когда я, сверх обыкновенных своих занятий,

---

[27] Ширинский-Шихматов, Платон Ал., кн., 1790—1855, с 1833 г. директор департ. мин. нар. пр., с 1842 г. товарищ, с 1850 г. министр просвещения.

сдал все запущенные ими в 20 лет дела в архив, приведя их в самый стройный порядок один-одинешенек; а их было до 300 дел... Как бы то ни было, я нечаянным случаем, при открывшейся вакансии, перешел от Тетерина и его привязок в канцелярию департамента, на высший оклад. Тут было мне гораздо легче, что касается до обращения,—и я никогда не забуду благодеяний и дружеских попечений о моей судьбе моего тогдашнего начальника, правителя канцелярии, Романова: он выхлопотал мне годовой оклад, который я сейчас же и убил на издание своих стихотворений, известных под именем Веронова [28], и на покупку лексиконов, грамматик и других книг. Но в сущности дело не подвигалось ни на волос: служба меня убивала, годы проходили—досуга не было.

В это время в течение лет пяти всего-навсего я уже был влюблен в сироту, дочь титулярного советника Яновского, воспитанную с сестрами в довольстве, даже в избытке при жизни отца, но после его смерти, по болезненному состоянию матери, ни во что не могшей в доме вмешиваться, зависевшую в полном смысле, как крепостная девчонка, от прихоти и капризов своих старших сестер и тех братьев, вдобавок еще не родных, но сводных, которые помогали семейству. Одну зиму я провел в этом доме, как в раю, пока не обнаружилась наша взаимная склонность друг к другу; но потом меня градом клевет и самых грубых уничижений заставили оставить дом. Я не казал туда глаз ровно три года, и в течение их, живучи в одном городе, ни единого раза не видел предмета своей страсти, который между тем уже раз пять насильно спихивали замуж за разных пьяниц, картежников и взяточников, лишь бы сбыть с рук за богача. Она не поддавалась, решившись не выходить ни за кого, кроме меня. Я все это знал—и не мог даже ее видеть.

В эти три года я только и в состоянии был, что ходить в департамент и машинально там вести весьма нехитрые дела, которые кто-то весьма верно и знатоцки изобразил в этих словах, что все чиновники всех возможных департаментов в России только и делают, что расписывают потолки по трафарету. Общество мне опротивело, да и жить было решительно не на что: стол, при расплате с долгами за платье, и то плохое, хуже лакейского, держать было невозможно; прислуги, чаю—тоже. Я года полтора, живя на казенной квартире—одна темная комната, окнами на коридор—в Чер-

[28] Стихотворения Веронова, Спб. 1838. В типогр. Сахарова.

нышовом переулке и будучи не в состоянии пожирать, как другие подобные мне мученики, вонючих трех блюд пятиалтынного обеда, питался только пирожками и сайками Гостиного двора, которые до того мне омерзели, что, когда я мог их бросить, получив лучшее место, я уже не в состоянии был лет шесть на них глядеть.—Целый день, с 3 часов после департамента, я лежал дома, один-одинешенек и глядел в потолок или в перегородку. Даже, когда дали мне и высший оклад, так и тут присвоенной этому месту квартиры мне не дали, отдав ее без всякой застенчивости другому; следовательно, принять у себя я никого не мог. А таскаться по чужим обедам—не умел во всю мою жизнь. Итак, надо было считать себя в своем отечестве, в столице, там, где живет и действует правосуднейший монарх в мире, как бы пленником в Хиве, в черной работе у какого-нибудь зверя—хивинского мудреца и умудрителя из татар Средней Азии... В эти три года я не прочитал ни одной книги; а если и прочитал, так решительно ничего не понял или скоро все забыл... Бывая редко в людях, я не понимал их разговоров и не видел, из чего они бьются: все мне казалось одним домом лишенных ума, может быть, именно потому, что я сам почти уж был помешан.

Но в эти-то три года я и передумал весь общественный порядок: тут начало моих утопических понятий и стремлений. Тут родилась и выработалась во мне самом, без моей воли, капля по капле, целая система общественного устройства, которую впоследствии я жадно сравнивал со всеми известными в науке, но мне до сих пор еще совершенно неизвестными, и приходил в восторг, когда находил, что мои выводы сходятся во многом с выводами, например, Платона и Фурье...

При открывавшейся вакансии и ходатайстве Романова я получил место секретаря в комитете иностранной цензуры. Тут предполагалось, что я достигаю берега: служба не трафаретная, а умственная и чисто литературная; книг бездна, в том числе все запрещенные; квартира, по крайней мере, сносная, и свободного времени, повидимому, довольно. Я не знал, как благодарить Романова. Но не успел я определиться, как председатель комитета, д. с. с., теперь тайный советник Красовский [29], человек непостижимого малоумия и самой

[29] Красовский, Александр Ив., 1780—1857, с 1821 г. цензор в цензурном комитете, в 1826 — 1828 гг. член главного ценз. комитета. В 1832 г. председатель комитета иностр. цензуры.

педантской, самой женской злости, начал меня есть, как буравчик твердое дерево. Не проходило дня, чтоб он не мучил меня своими полуторачасовыми рацеями по случаю самых пустейших, неподозреваемо никакому смыслу ничтожных мелочей. Я терпел и работал вдвое против департаментского и сверх того пересмотрел, перечитал, перешил и совершенно привел в порядок все дела, накопившиеся до меня с основания Комитета, числом до 500, думая, что хоть этим ему угожу и избавлюсь от его привязок. Не тут-то было... Он меня грыз и заваливал работой до того, что я, наконец, едва не избил его, как только можно злее; я удержался, только пожалев его старость, и, едва не расхохотавшись от его трусости,—вышел в отставку.

Между тем, я уже женился в том воображении, что это место окончательно избавило и избавит меня впредь от всех треволнений, что я буду со временем или цензором или, еще лучше, доучившись восточным языкам, скорее попаду в министерство иностранных дел на Восток; я между тем буду переводить, писать и что-нибудь заработаю и этим. Кажется, я поступил не совсем опрометчиво... Но, во всяком случае, не жениться я не мог, как честный человек, видящий гибель существа, которое терпит от своей к нему преданности, и существа совершенно беззащитного. Страсть довершила остальное.

Тут я должен с благодарностью упомянуть о своих родителях, которые, сами только что перетерпев крушение, сбились и помогли мне, прислав к свадьбе 500 руб. асс.—единственные деньги, какие я у них попросил сам, не пользуясь уже несколько лет до того и никогда после ничем, кроме небольших подарков моей жене. Их крушение состояло в том, что отец, распоряжаясь всеми суммами, какие были перетрачены во время Турецкой войны на транспортную Дунайскую флотилию, которой он был начальником и которой дело было доставлять провиант к действующей армии, не мог в течение семи лет освободиться от притязаний казны на 40 тыс. рублей асс., которые на него начитывали, не принимая никаких резонов, за то, что он не хотел дать «на очистку книг», как водится, 9.000 рублей. Его, который был так прост, что даже не заметил, как один из подчиненных ему офицеров сумел накрасть себе целую сотню тысченок и сейчас же вышел в отставку и обзавелся чудесным именьем, его, который всех расспрашивал, откуда тот мог столько набрать,—его отдали под суд и держали на половинном жалованьи года два, при чем он остался бы еще, бог знает сколько лет, еслиб не сопер-

ничество тогда князя Меншикова с Лазаревым и не ходатайство, по моему с ним знакомству, служившего в контроле, покойного добродетельного человека д. с. с. Астафьева, от которого я при этом случае узнал, что, к счастию моего отца, в контроле только-только что оставили бывшее дотоле правило—всякого судимого по начету обвинять, чтобы казна была в выигрыше хоть от тех, которые попались под суд: значит, кто попадется под суд, тот уже, известное дело, набил себе порядком карман!

Во все пять лет моей службы по ведомству министерства народного просвещения я не оставлял при малейшей возможности или случая обращаться ко всем лицам, имевшим хотя какое-либо прочное сношение с Уваровым; но ни знакомство с Новосильковским, ни дружба с братом Комовского [30], Гавриилом Комовским, ни короткость со многими молодыми людьми из немцев и их отношения к профессорам и академикам, ни самые знакомства с профессорами и прибеги к академикам—не послужили мне ровно ни к чему. Немцы как-то не любят, когда русские берутся не за свое дело; а, по понятию петербургских немцев, филология—дело совершенно не русское. Дорн [31], например, вызвавшись давать мне книги и уроки, по рекомендации одного его бывшего слушателя, кончил или, лучше сказать, приступил к делу тем, что урока не дал ни разу, книги ни одной, а объявил мне напрямик, что мне бы надо было сперва что-нибудь перевести с арабского, персидского или турецкого, и тогда бы, де, он мог показать другим что-нибудь удостоверительное, что я способен к восточной филологии.—Как будто, если бы я знал уже язык так, что мог бы уже что-нибудь перевесть, я бы искал рекомендации или уроков Дорна!... а Френ [32], не взирая на рекомендацию своего адъютанта Волкова [33], у которого я было начал слушать арабский язык в университете, а там познакомился и ближе, спросил меня только: «с какой целью вы хотите изучать эти языки,—с научною или с дипломатическою?». И когда я ответил, что чисто с научною, возразил:

---

[30] Комовский, Вас. Дм., 1803—1851, с 1822 г. секретарь ценз. комитета, с 1838 по 1850 г. директор канцелярии мин. нар. просвещ.

[31] Торн, Бор. Андр., 1805—1881, ориенталист, прив.-доц. Лейпцигского ун., профессор истории и географии Востока в Инст. вост. яз.

[32] Френ, Христиан Данил., 1782—1851, русский востоковед, нумизматик, основатель Азиатского музея при Академии наук.

[33] Волков, Мих. Гавр., † 1846, ориенталист, профессор арабского яз. на Вост. факультете унив., хранитель Азиатского музея.

«ну, так мы имеем здесь институт и кафедры в университете, вам стоит только посещать лекции»... Когда же я и Волков стали разжевывать ему, что не в том дело, что эти благоугодные заведения здесь есть, а в том, как в них попасть,— он сказал: «просите министров; а я ничего не могу для вас сделать»,—и тем вся аудиенция и кончилась. Эти и тому подобные столкновения с петербургскими немцами довели было меня до того, что я в ярости не находил выражений, как описать мою к ним ненависть. Время и добрые люди из немцев изгладили эту резкую черту из моего сердца.

Так я расстался с министерством народного просвещения.

Но надобно же было чем-нибудь жить и уже с женой. До самого замужества она давала было уроки музыки в патриотическом институте, где имела большую силу родная ее сестра, музыкальная же дама, бывшая у покойной директрисы этого института, г-жи Вистенгаузен, домашним секретарем и державшая через это весь институт в страхе к себе и своей злости. Как только ее сестра вышла за меня замуж, так и потеряла свои уроки, несмотря на то, что покойница по своей необыкновенной доброте, известной всему городу, в течение трех месяцев три раза сама напоминала любезной сестрице,— что ж ее сестра гордится, вышед замуж, и нейдет к своему занятию. Злое существо отвечало старушке тем, что ее сестра сделала карьеру, вышла за хорошего, понимается в денежном отношении, человека и что ей уже не нужны уроки, есть, де, гораздо более ее нуждающиеся в этом средстве пропитания (она сама и никто больше); а моей жене целым кагалом было толковано и приказываемо отнюдь не сметь докучать maman своим попрошайством, потому что замужней женщине, даме, уже неприлично заниматься таким нищенством, как давание уроков.—После этого пропуска со стороны моей жены, которую я, как молодой и страстно, до восторга в нее влюбленный человек, не мог же гнать насильно на работу, она и я, в течение девяти лет, никакими силами и средствами не могли уже усилить в поправке дела: чужие люди, считая десятками, хлопотали у директрисы, но та всегда портила дело тем, что сейчас же спрашивала мнение родной сестры, а сама моя жена, по скромности, никогда не решалась итти и рассказать все эти штуки своей родной сестры ее начальнице и благодетельнице, которая почтила ее своим полным доверием, сохраняя его в течение лет двадцати до самой смерти прекрасной старушки.

Все хлопоты об определении моей жены в то же звание

в какое-либо другое женское учебное заведение остались доселе также бесплодными: все начинали и кончали тем,—да ей бы всего лучше обратиться в тот же институт, где она уже известна!.. Можно было обратиться!

Пока я искал себе и жене места, я существовал целые семь месяцев единственно на 100 рублей асс. жалованья, которое мне положил в месяц некто Фишер, начавший было тогда, по своей и других известных художников затее, издание, под названием «Памятник Искусств». Основатели этого издания, по мысли и по плану, собственно говоря, были мы двое: молодой архитектор Норев [34], которому принадлежит первая и лучшая половина «Стихотворений Веронова», и я, его тогдашний и единственный друг. Мы хотели воспользоваться этим редким случаем, где нашелся и редактор, и типография, и, словом, все видимости на успех, чтобы учредить род текущей энциклопедии искусств, в применении их, со включением и ремесл, ко всей жизни, ко всем народам, ко всем климатам и векам, и в особенности к России, на пользу русских художников и всего образующегося молодого русского общества. Политической цели тут не было ни с которой стороны решительно никакой: это, можно сказать, была затея утопически-чисто художественная; мы доказали это тем, что в два почти года существования этого издания на наших плечах цензура не имела радости вычеркнуть ни единого слова. Мы утопали в работе, трудясь сначала оба по целому году совершенно даром, для заготовления материалов, а потом получая только по 100 рублей в месяц—и я, и Норев, так как и его Тетерин же и братия выжили-таки в отставку за то, что он, не принимая их подарков, не хотел подписывать на свою голову смет, составляемых этой благородной кампанией для разрабатывания Чернышова переулка и Щукина двора.—Но что ж?— И тут, как везде и всю мою жизнь, я недолго был в очаровании: Фишер был круглый невежда в науках и теории искусств; но в практике удивительный, тонкий и мелочный знаток. В последнем точка соприкосновения была прочная, ненарушимая; но в первом—никакой; и мы должны были его оставить, убив—я почти два, а Норев около трех лет, лучших в нашей жизни,—совершенно бесплодно.

После семимесячного состояния на жалованьи у Фишера я до того привык к занятиям одной наукою, до того вошел в пер-

---

[34] Норев или Норов, Петр Петр., 1815—1858, академик архитектуры, писатель по вопросам истории и искусств.

вый раз от роду в свою настоящую сферу—кабинетную жизнь, что не мог без ужаса подумать, неужто мне итти убивать последние драгоценные остатки моей молодости опять в каком-нибудь департаменте, и решился, во что бы то ни стало, хоть умру с женой на улице, не брать никакого места иначе, как на условиях, что мне будет хоть пол-недели очищаться для себя. Тут я сделал горькую ошибку; но я был доведен до фанатизма беспрерывными обманами судьбы и тупоумием ближних. Сколько мне ни предлагали добрые люди мест от 2 до 4 тысяч рублей в год, а иные даже и хлебных, я, бедствуя невообразимо, упорно и наотрез отказывался, рассчитывая, что, по своим правилам и характеру, я не могу быть тунеядцем ни на каком месте, следовательно, тем более на большом; а потому и не буду иметь ни капли досуга для своих наук, тогда как мне он нужен был в колоссальных размерах. Свидетели—вся моя родня, все мои знакомые, все те, кто желал мне добра. Я решительно вообразил себе, что меня провидение избрало в мученики за науку, истребляемую с земли новым наплывом варварства, равным переселенью народов, и с изуверским наслаждением приготовлялся духом к голодной, холодной и какой угодно смерти. «А ребенок»?—возражали мне друзья или родные.—«Ну что ж, я его разобью об печь и не допущу страдать более себя!».

В таком состоянии духа, я таскался кой-к кому из здешних литераторов или их знакомых, ища себе литературных занятий. Но все эти таскания и поиски оставались совершенно бесплодны. Мои статьи или возвращали или затеривали, только всегда с одной и той же песней, что не соответствуют плану, цели, тону журнала; переводов не давали, отзываясь тем, что переводчиков, как собак, да и плата тогда была каких-нибудь 25 р. асс. за печатный и премелко-печатный листище; одно, что иногда, и то уже гораздо позже, мне предлагалось — это писать разборки книгам; но на это у меня не поднимались руки: тут надо было, отрекшись всех своих задушевных убеждений, в угоду редакции, по большей части не имеющей на дне своей души ни малейшего смысла,—что такое за куропатка, что за лимбургский сыр—убеждение,—резать и бить напропалую всякого встречного и поперечного, благо подвернулся под руку с своей книжонкой; а эта книжонка есть, может быть, и след десяти, пятнадцати-летней науки и борьбы с жизнью!..

Мои же мнения никогда не сходились ни в чем с мнениями и тогда, и ныне, и присно торжествующей или, лучше сказать,

свирепствующей литературной партии, и потому разобрать книгу на основании своих собственных понятий значило убить себя сразу и навеки в шуме и гаме всей этой почтенной компании, которая торгует человеческим смыслом не хуже того, как другие компании торгуют салом, пенькой и устрицами.—Но сверх всего этого — иные даже заказывали мне статьи сами, упрашивая и улелеивая меня всячески, и когда я приносил, например, переводы, стоившие мне целых месяцев усидчивой работы, у меня брали их с пожиманием рук, чуть-чуть не с лобызаниями, расхваливая при свидетелях до небес и обещая при тех же свидетелях деньги,—когда? Завтра!— А это завтра не наступило еще и поныне... Так у меня, сверх урезок от уговорной цены, пропадает доселе за разными предпринимателями литературной промышленности до 500 р. асс.

В это-то время мне свалилось, как с неба, настоящее мое место служения в архиве министерства иностранных дел. Мой добрый товарищ, еще с Черного моря, некто Завойко, помогавший мне всегда и прежде всем, даже и деньгами, сжалился надо мной и тут и употребил все средства, какие имел, чтоб достать мне место в этом министерстве, как в единственном, в какое я еще решался вступить, все в тех видах, что оно выкинет же, наконец, меня на Восток. Завойко женился тогда на дочери барона Врангеля, покойного добрейшего и благороднейшего инспектора училища правоведения; а в этом училище был тогда—это было в конце 1840 года—воспитанником сын директора д-та внутренних сношений—Поленова. Директор училища, покойный Пошман [35], по просьбе всего семейства Врангелей и моего товарища Завойко, да и по действительной своей доброте, взялся просить Поленова, чтоб тот исходатайствовал мне место в Азиатском д-те, куда я преимущественно желал, как в преддверие на Восток. Директор Азиат. д-та Сенявин [36], пришед, по словам Поленова, в восторг от моей о себе записки, пожелал меня видеть с уверениями, что сделает все, что может. Я, в неистовой радости, что нашелся же, наконец, государственный человек, который меня понял, бросился к нему, как к спасителю. Но он, поговорив со мною с час, выразил самым прискорбным для меня образом, в каких-то язвительных блистаниях глаз и своих белых зубов

---

[35] Пошман, Сем. Андр., 1788—1847, директор училища правоведения с 1835 г. до своей смерти.

[36] Сенявин, Лев Григорьевич, 1805 — 1861, с 1822 по 1848 г. был директором Азиатского департ. мин. ин. дел, с 1850 г.— товарищем министра.

и злорадных шуточках, достойных души О. И. Сенковского, что, де, вам у нас нечего будет делать: «для вашего ума нет у нас поприща, а ступайте-ка вы в министерство народного просвещения, вот, например, хоть в Казанский университет, да кончите там курс, да тогда оно вас и пошлет путешествовать; или—если не то—я попрошу Василия Алексеевича Перовского [37], может быть, он возьмет вас к себе в Оренбургскую пограничную комиссию».—Ясно было, что он не хочет понять, что я, беспокоя его, просил его или дать мне место в Аз. д-те с тем, чтобы я мог доучиться восточным языкам, пользуясь только досугом и книгами института восточн. языков, потому что в профессорах этого похвального странноприимного дома мне не было решительно никакой надобности, или прямо, если будет возможность и его великодушие, отправить меня в любую миссию на самый Восток, а не в глушь, в Оренбург, где меня, как чиновника, могут затереть в порошонку, не Василий Алексеевич Перовский, человек образованный и благонамеренный, но его же чиновники, о которых я, к моему несчастию и вечному сокрушению, имел тогда понятие единственно по известному всей России, а нам черноморцам, в особенности, наезднику-шарлатану в литературе, в науке, в медицине и в службе казаку луганскому Далю [38], которого неопровержимые, но зато и единственные достоинства заключаются в его неограниченном практическом знании России вдоль и поперек. Я отказался и от Казани, и от Оренбурга, а великодушный херувим-директор наотрез отказал мне и от своего департамента, и от своих дверей, и от всего Востока, которым он распоряжался, как своим задним двором.

Кончилось тем, что я, впрочем, как бог свят, не сделав ему ни самомалейшей невежливости, ни даже миной или тоном голоса, должен был принять, как последнюю нить спасения от

---

[37] Перовский, Василий Алексеевич, граф, 1795—1857, с 1833 по 1840 г. оренбургский военный губернатор, организатор неудачной хивинской экспедиции против киргизов. С 1851 г. снова ген.-губернатор Оренб. и Самарской губернии; совершил поход против кокандцев, взял крепость Ак-Мечеть и на ее месте заложил форт Перовский (1853).

[38] Даль, Влад. Иван., 1801—1872, литератор и ученый, составитель «Толкового словаря». Начал службу мичманом, хирург-окулист, автор многочисл. народных рассказов под псевд. Казака Луганского; с 1833 г. был чиновником особых поручений у начальника Оренб. края В. А. Перовского, участв. в хивинском походе. С 1843 г. ближайший сотрудник мин. вн. дел Л. А. Перовского.

Поленова [39], мизерное местишко в архиве, в 1.200 р. асс. в год, с торжественным, впрочем, обещанием немедленно дать мне, в дополнение, еще место у себя переводчика с английского языка, и с рекомендацией управляющему архивом Лашкареву, во всеуслышание, на весь архив, с частыми биениями себя в грудь, что он, Поленов, просит его, Лашкарева, за меня, «как за своего собственного родного сына».—Покуда его действительный собственный родной сын был в руках у Пошмана, он не оставлял раз десять и изустно, и письменно уверять, что вот-вот, только что откроется вакансия, так он меня на нее и посадит. Но как только его сын, занимающий ныне уже генеральское место, вышел из-под попечения Пошмана, так я и канул в вечность, потому что архив и везде в России, а в министерстве иностранных дел и весьма в особенности, есть та область духа, в которую нисходят только души, обреченные еще до своего рождения прейти навеки через реку забвения, в жилище уже ненужных миру теней...

Как бы то ни было, я не испугался и этого нисхождения. Скрепив сердце, я рассудил, что если примусь за эту почву, совершенно девственную, непочатую, за архивные дела м-ва иностранных дел, не как чиновник, которого вся утопия состоит в том, чтобы только скорее ударило 3 часа, а вся деятельность в чтении «Пчелы» или «С.-Петербургских Ведомостей» и поглядываний через час по ложке то на директора, то на часы; но—человек любознательный и логический,—авось, может быть, что-нибудь и удастся сделать такого, за что уже нельзя будет не послать на Восток!.. А рассудив, и принялся за работу. Видя мое усердие и усидчивость, смело могу сказать, небывалые в этом архиве, начальство мало-помалу сделалось ко мне хотя и не слишком жарко, однакож не в пример прочим благосклонно и доверчиво. Так как я во всю свою жизнь не играл ничьим доверием, я и тут старался быть добросовестным и скромен, не для виду, а на деле, и, читая и перечитывая дела, был в обществе, что касается до них, безгласен, как могила, имея предосторожность не уносить домой ни клочка писанной бумаги, имеющей хотя какую-либо политическую важность. Мало-помалу я вошел

[39] Поленов, Вас. Алексеевич, 1776—1856. При преобразовании мин. ин. дел и учреждении при нем 3 архивов в 1832 г. (Государств. и Главн. в Петербурге и Москве) — ему поручен разбор и размещение по рядам всех дел этих архивов и управление Главным арх. в Петерб.; с 1833 г. он управляет и Государств. архивом, в 1849 г. сделан членом совета министерства и заведующим всеми 3 архивами.

в толк и до того вник в содержание и взаимное отношение дел, что к концу года мог представить своему начальнику отделения, покойному ст. сов. Дубовику план, как, по моему мнению, основанному на годовом изучении сущности дела, должно бы было разбирать архив, представляя вместе с тем и опись и несколько дел, разобранных мною на опыте. Этот план был основан отчасти на старом или, лучше сказать, собственно и был старый, только выясненный во всех пределах до возможной строгости и экономии главных черт. Дубовик, человек старого румянцевского времени министерства, до того нашел этот план основательным, что, не изменив в нем ни одной черты, поднес его Лашкареву, Лашкарев брал его к себе на дом, читал, как он был, в листке и в нескольких тетрадках описей и, подозвав меня к себе, при Дубовике, спрашивал: я ли это сделал. —«Я!»—«И идеи ваши?»—«Мои-с!»—«Ну, я чрезвычайно рад, благословляю вас и даже покорнейше вас прошу, продолжайте разбирать таким же порядком и все дела: вам сдадутся все азиатские дела. Хотя мы разбираем свои и по другому плану, однакож, так как это как бы совершенно отдельная от прочих часть и уже начата прежде вас в таком же виде, как и у вас,—мы можем, не испрашивая особого разрешения, продолжать дело попрежнему. Это как бы особый архив; вы его разберете, составите ему особый алфавит и свои особые описи; а я, только что вы успеете окончить хотя бы какую-нибудь часть, не премину представить ее на усмотрение Канцлера, как образчик ваших похвальных трудов, и уверен, что Канцлер[40] удивится, что у нас в архиве есть такие чиновники, и наградит вас примерно». — Эти и тысячи других комплиментов и обнадеживаний до того меня воспламенили, что я и спал и бредил разбором азиатских дел—оставался почти каждый день, правда, только летом, по часу и по два после присутствия, приходил почти каждое воскресенье на целое утро, особенно пользуясь годовыми праздниками, и на просторе, один-одинешенек рылся и зачитывался; а потом, часто целые ночи напролет, дома соображал, в бессонницах, куда следует то, куда—другое, как согласить это с тем, другое—с другим; словом, я не разбирал, а воссоздавал дела, как художник какую-нибудь древнюю статую или здание, разбросанное в мельчайших обломках. И сказать правду, как художник,—я высоко награжден за свой неруко-

[40] Канцлер—министр иностранных дел граф Нессельроде.

творный труд; я восстановлял целые ряды событий, сводил их лицом к лицу, они узнавали друг друга и, как будто, были мною довольны, что я воссоединил их так удачно и угодливо, как только им самим хотелось быть, потому что они так были, так происходили в минуту своего совершения. Я странствовал по всему Востоку со всеми посольствами и агентами, со всеми кораблями и караванами, со всеми армиями, отрядами и учеными экспедициями. Я проверил тут на государственных актах, мнениях и отчетах всех бывших деятелей государства всю свою начитанность о Востоке и сношениях с ним России, почерпнутую из тысячи других источников. Что всего важнее и неоценимее, я, сверх всякого чаяния, нашел смысл, толк, движение вперед, словом—разум и жизнь там, где никто из молодых русских писателей, и я до того менее, чем кто-либо другой, не предполагал ничего, кроме застоя или хаоса! С неописанным восхищением, с замиранием сердца я читал и угадывал мысль и чувства графов Воронцовых, Чарторыйских, Цициановых, Глазенапов, Румянцевых, Шелеховых, Резановых, Барановых, Добеллов, Ермоловых, Сенявиных, Скасси, Каподистриев, Остерманов, Потемкиных и, наконец, самых великих и ничем не выразимых для русского сердца Петра, Екатерины и Александра. Я в несколько лет прозрел и увидел Россию совершенно в ином колорите и свете, чем покуда многие и весьма многие доселе ее воображают, не умея сделать пока ничего лучше, как только ее хаять, ее же пожирая и растлевая, подобно слепым и мелко-незримым животным...

Так, в шесть лет неусыпной и восторженной работы я успел разобрать и восстановить самую разбитую, пренебреженную и нетроганную часть дел, а именно дел о Кавказе, татарах, калмыках, всей Средней Азии, Персии, Китае, Индии, Сибири, Русской Америке, Японии и, вообще, Восточного океана, а с другой стороны—почти всех дел о славянах с 1801 по 1820 год; первые же, т.-е. о Средней Азии и пр., мне удалось поныне довести почти до 1840 годов, некоторые совершенно исчерпать; так что, например,—трудно бы было найти в тех делах, которые только были в моем распоряжении, хоть один листок не на своем месте из дел Хивы, Бухары, Китая, Японии и других в эту сторону.

И что ж?—Правда, со мной обходились, пока я так дешево корпел сдуру над старою гнилью, весьма благородно, нисколько не смешивая меня ни в чем с другими; правда, что мне давали ежегодно, хотя и не одному, но в самой

неприятной параллели с некоторыми господами еще, из остаточных сумм, более прочных; правда, что мне дали, как только открылись вакансии, и 1.750, и, наконец, 2.500 р. жалованья,—но этим все и оканчивается. Надо было быть мною, чтоб высидеть о-сю-пору 8 лет на подобных окладах с целым семейством. И когда я, не дождавшись обещанного представления к Канцлеру целые шесть-семь лет, потерял всякую надежду, да почти и охоту быть на Востоке, а потому в заботах о своем пропитании перестал себя мучить и начал служить, как другие, т.-е. приходить попозже, уходить пораньше и т. д.—на меня набросились, как на ленивую и упорную лошадь, и началась история.

Надо знать, что во время óно, когда еще не было ни архива, ни дорогих его шкафов и полов, как они есть, по преданию, принятому мною от Дубовика, дела в министерстве велись собственно в канцелярии министра или коллегии, и по мере схождения с министерского стола докладов со всеми к ним приложениями, по миновании, так сказать, их настольности, сваливались всею кашей в один железный сундук, который запирался и запечатывался. Как только наполнится этот сундук до-нельзя, его стаскивали в чулан, называвшийся тогда архивом, вываливали все бумаги из него на пол и уносили на прежнее место в канцелярию или коллегию. Архивное существо, или существа, которых было весьма немного, поднимали эти свалы глыбами, как кто сколько в раз захватит, и ставили по полкам разбитых шкафов, которые я видел сам своими глазами на чердаке, делая только над всем свалом такую краткую и ясную надпись: «сдача такого-то 18... и пр. года, месяца и дня». По мере накопления в архиве дел, они смешивались до такой степени, что уже не ставило никакой возможности их отыскивать по ежечасным справкам. Тогда-то поручили разобрать это дело Дивову[41]: он призвал казенных переплетчиков, дал им форму переплетов в лист и велел—переплесть все дела к такому-то числу, что ли, или к празднику. Переплетчики наляпали бесчисленное количество форменно-толстых и огромных фолиантов, с золотыми задками, насовали туда сряду, как дела стояли в шкафах, по указанной мере, этой амальгамы, и сказали: «Все готово-с! Извольте посмотреть-с!»

---

[41] Дивов, Павел Гаврилович, 1763—1841, с 1805 г. завед. секретным архивом мин. ин. дел, с 1820 г., во время отъездов министра за границу, управлял министерством.

Пришла смотреть вся коллегия: что ни отворят шкаф—золото, да и только! Все были чрезвычайно довольны, а Дивов более всех, потому что ему дали за эту операцию переплетных существ не более не менее как 60 т. асс. единовременно! Но время все идет да идет: требуется знать, что, и как, и где, и когда случилось, произошло, было сделано или предположено к сделанию по такому-то, по другому, по десятому случаю; хвать за фолиант: кажись бы, надо было быть китайским делам, но тут, кроме надписи, нет ничего китайского, тут, вот, киргизы,—тут вверх ногами сербы,—тут чеченцы,—тут о каком-то Абуль-хассан-хане, а здесь и не узнаешь, потому, что целая десть писанной бумаги вплетена обрезом внутрь, в корешек, а ребром наружу!.. Только тут иные хватились, что можно бы было подождать на счет 60 т. рублей асс.; но нечего делать, надо приняться за дело снова, радикально. И вот, тогда-то составился и штат, и новые шкафы, и штучные полы, и словом все, что есть теперь; тогда-то назначен главнокомандующим на одоление всей этой несметной силы непокорных дел государственный муж, Сергей Сергеевич Лашкарев: оно было и кстати; он уж до того переслужил в м-ве всевозможные инстанции, что, кроме архива, его некуда было девать. Но главнокомандующего не отправляют никогда без инструкций. Кто ж составит эти инструкции?—Комиссия!—Ну, а в комиссии-то кто ж?— Господа, кто ж другой, как не Василий Алексеевич Поленов!.. Василий Алексеевич Поленов, душа самая работящая и любящая рыться в тайнах истории, не задумался нимало и родил, как Юпитер Минерву, всю целиком и без приготовления, свою знаменитую инструкцию. Эта инструкция есть не что иное, как список 160 или 260—никак не вспомню—родов дел, разделенный на четыре разряда дел. Еслиб кто спросил, откуда взялось это таинственное число 160?—Аристотель в глубокой древности нашел в исслед всей своей многолетней жизни, проведенной в думах и наблюдениях, только 10 категорий; никто доселе не дерзал, в течение 2.000 лет, пускаться на это поприще после его открытия, непостижимо великого и важного, кроме Канта, да и тот лучше бы не путал дела, наделав их для симметрии 12, тоже в четырех разрядах; а В. А. Поленов, не попробовав разобрать ни малой частицы архива, нашел, что он должен быть разобран на 160 родов. Канцлер подписал—чиновники набраны, и пошла работа!..

Да так, что люди, большею частию—теперь уже мень-

ше—не знающие ни единого от иностранных языков, хотя, бог знает, по какому поводу или стечению непредвидимых обстоятельств завалившиеся в архив на всю свою жизнь, ленивые и часто несмысленные, как младенцы, не понимающие ни дипломации, ни военных, ни торговых, ни промышленных, ни судебных, ни научных и никаких отношений, часто не умеющие скопировать со старых отношений «честь умею уведомить, что получил то-то и тогда-то», начали обдирать золотые переплеты и распихивать бумаги, по листу, по два, по десять, по целым тетрадям, куда им вздумается, в любой из 160 родов; потому, что еслиб кто-нибудь из них задумался серьезно раз в жизни, да в *какой* же, в самом деле, именно род, *следует* положить это дело или бумагу, так он мог бы продумать и до второго пришествия, а уж ровно бы ничего не придумал. Сравнение тут проще всего покажет дело: еслиб кому-нибудь в мире пришло в голову наделать 160 шкафиков и потом пойти по ним и написать по порядку: 1—*носы*, 2—*волоса*, 3—*зубы*, 4—*ногти*, 5—*усы*, 6—*бороды*, 7—*уши*, и т. д. до 160; сделал свое дело, написал и ушел; потом пришла бы куча сторожей и завалила весь амбар мелко-на-мелко изрезанными истолченными и опять скатавшимися в комки кусочками и кусками от несметной массы живых людей, всех полов и возрастов, и всех животных; вывалила—и ушла; наконец, пришла бы благородная компания, кто в белых перчатках, кто в разодранном виц-мундире, кто с волосами à la moujik, расселась по стульям и ну подбирать с полу из кучи, что кому попадется, пошучивая друг с другом: куда положить, например, *бороды*? в *волосы* или в *бороды*? а волос, похожий и на *усной*, и на *бородной*, и на *головной*, куда девать? в *волосы* или в *усы*? и т. д. А обрывки *носов* с кусками *губ*, не то *щек*, куда девать? в *губы* или в *щеки*, или в *носы*? и т. д.,—еслиб, я говорю, это могло случиться где-нибудь, когда-нибудь, в какой-нибудь стране земного шара, что бы должен был подумать случившийся тут мимоездом странник и об этой стране, и об этих людях, и обо всей этой горе истолченного органического мира, и о вкусе или надобности этого странного препровождения времени для стольких человек, впрочем, кажется, не сумасшедших?..

А этот странник был тут не мимоездом, а закабален навеки, и еще должен был заняться преважно тем же самым гран-пасьянсом, что и все свои, да еще и верить, что этим он приносит пользу человечеству!..

И вот, когда Лашкарев разобрал все свои дела,—те, впрочем, так называемые, собственно, политические, бог знает, почему, таки поусомнились раскладывать в гран-пасьянс, и они разложены, не в пример прочим, просто по годам и числам, нумер к нумеру,—ему не оставалось ничего более делать, как отрапортовать, что архив разобран, и получить или еще аренду, или 20 тыс. серебром за 50-летнюю беспорочную службу, что он добивался еще недавно. Хвать за 2-е не-политическое отделение,—ан там—дым коромыслом!.. Нечего было ему делать,—поругав, поругав всех и каждого, и меня в особенности, недели две, он поуходился и затянулся сам в работу—пересмотреть и переразобрать один все 2-е отделение. Я думал, что он хочет доказать, что намерен прожить Мафусаиловы веки: не тут-то было!—В год, в полтора он отрапортовал сам себе и канцлеру, что все поверено и разобрано, как следует. А если бы кто заглянул в перемаранный алфавит или в любой картон с делами, тот бы сам, без всяких комментаторов и чичеронов, догадался, что тут вся переверка дел состояла в том, что, например, где лежали носы, туда положили волоса, а где были волоса с губами, там очутились ноздри; губы же с волосами втиснули в одни губы, потому что тут губ оказалось более, чем волос, следовательно, в усы положить было нельзя, и так далее.

Когда он и это кончил, ему решительно не оставалось более ничего делать, и он принялся за меня. Увидев, что у меня не в порядке, стал меня есть и грызть всякий день, как я смел не следовать общему плану; сколько я ему ни доказывал—памяти у него нет и на два часа—он отрекся, как всегда, и ото всего в мире, с криком и изгониванием вон из службы, уверяя, что никогда не говорил мне этого, а велел сделать так же, как в остальном архиве, т.-е. политические дела положить по годам и как я хочу, а не-политические, коллежские—по плану Поленова, как во 2-м отделении. Я бы должен был его спросить, как бы, например, разделить политические дела от не-политических там, где все одна и та же дипломатическая переписка с ее немногими естественными отделами и видами,—но это бы значило то же, что взорвать на себя весь архив и все министерство, т.-е. целую половину здания Главного штаба!..

Может быть, мне скажут, что я бы должен был, по долгу присяги, донести о подобных безобразиях прежде, нежели

восставать, как я будто бы делал, и вопиять против всех начальственных лиц?

На это я, с глубочайшею скорбию и против моей воли, должен вместо всякого ответа рассказать вот какое происшествие.

Моя жена, не помню—в 1844 или в 1845 году или еще позже, терпя со мной и детьми такую нужду, что мы часто питались с ней по целым неделям или одними макаронами, сваренными ею уже дня на два, или одним куском окорока, или яйцами в смятку и более ничего, и проживали сплошь и рядом по целому месяцу и более безо всякой прислуги— об остальном нечего и говорить,—решилась меня не слушать и перезаложила все и свои и мои вещи, без моего ведома, так как я ей решительно этого не дозволял, зная, что что заложено, то уже и просрочено, а следовательно, и пропало. Оставались одни заветные гранаты, рублей в 100,—подарок моей матери, перстень с бриллиантом, рублей в 350 асс., да еще какая-то мелочь, которой я решительно не помню; по ее же словам, всего—рублей на 500—700 асс. Мы жили тогда в Знаменской улице, в доме помещицы Сумяковой. Жена, надоедая ей беспрерывными просьбами найти ей уроки, встретилась у ней с какой-то молодой дамой, полковницей, которая вызвалась ей доставить уроки и приглашала к себе. В разговорах полковница полюбовалась ее гранатами и попросила их себе надеть куда-то на вечер, только до завтрего. Жена, с простоты и боясь ее раздражить отказом, отдала ей гранаты; полковница не возвратила их ни завтра, ни послезавтра, жена отправилась к ней, и, уж тут я забыл, каким образом, только и перстень попал—вместе с гранатами— в залог какому-то ростовщику, пребывающему в великой тайне от всего мира.

Прошло время надобности: жена приносит деньги на выкуп, вещей не отдают... Словом, какая-то подобная запутанная и скучная история, которая скрывалась от меня до последней возможности. Не зная, что ей делать, и боясь мне открыться, она обратилась к моему сослуживцу, тогда тит. сов. Войцеховскому, который, будучи ко мне расположен, часто ей и мне говаривал, что везде имеет связи и всегда готов на услуги друзьям, что он весьма часто и оправдывал на деле. Войцеховский, уверяя, что это—дело простое, стоит только обратиться к его приятелю полковнику корпуса жандармов Станкевичу, и тот так благороден и так ревностен к истреблению всяких подобных мерзостей, что сию же ми-

нуту сделает суд и расправу,—увлек ее к полковнику Станкевичу [42], к нему на квартиру. Полковник рассыпался в любезностях и обещаниях, но ничего не сделал.

Войцеховский отговорился недосугами и снарядил жену одну к полковнику Станкевичу, по известной ей уже дороге. Тот попрежнему рассыпался в любезностях и извинениях и, наконец, в шутках, начал рассказывать, что эти вещи— вздор, стоит об них хлопотать! Вы, сударыня, так милы, так прекрасны, вам ли заниматься такими прозаическими вещами, вы можете иметь независимое содержание на всю жизнь и т. д., и т. д., до того, что уже совершенно ясно и ясно стал доказывать и словами и движениями, чтоб жена согласилась на его скотские предложения; та, пока дело шло мягко, было оторопела, но видя уже явную наглость соблазнителя, вскочила и хотела было бежать. Он, как ни в чем не бывало, стал отыгрываться, удвоил почтительность и, наконец, уверил всеми клятвами, что он постарается, чтобы она только удостоила, через день что ли, к нему наведаться, и вещи будут налицо. Во второй и в третий раз—та же самая проделка повторилась паки и паки, но возрастая все более и более в дерзостях, так что жена, наконец, прибежала ко мне вся в слезах и, винясь во всем, рассказала мне всю историю.

Я требовал от Войцеховского, чтобы он доказал мне, что он мне приятель, сослуживец, честный человек и пр., и спросил Станкевича, чего он от меня хочет: чтоб я дал ему публично пощечину или чтоб проколол ему брюхо ножом? Но Войцеховский сказал мне на всю мою белую горячку: «Что ж делать, mon frère, я сам уже заметил, что он подлец! Полно горячиться! Ведь мы не в Италии, не в Испании, и не на Востоке!..».

Вещи, разумеется, пропали, Станкевич, к счастью, нигде мне не попадался, хотя я и хотел учинить над ним славный шкандал посреди самого дворянского собрания; но так как таскаться по собраниям довольно накладно, а в церкви было бы уже слишком неистово, я мало-помалу остыл и потом совершенно пренебрег и человеком, и его поступком...

Кому же тут жаловаться?.. Неужто еще пуститься в дальний вояж по судам?..

Надо было все терпеть, все сносить безмолвно и ждать разве что страшного суда!..

---

[42] Станкевич — жанд. полковник, употреблявшийся для ответственных поручений, между прочим и для арестов петрашевцев.

Остывая мало-по-малу и к архиву, и даже к его делам, я стал кидаться во все стороны, чтобы сыскать себе место, хоть сколько-нибудь способное для занятия науками, и нигде не мог успеть доселе. Определившись в члены Географического Общества, я думал, что тут-то кончатся, наконец, мои страдания, и я встречусь с людьми, которые дадут мне исход. Куда! Всех людей тут оказалось всего-на-всего один Литке [43], да Струве [44], которые хотят одни описать всю Россию; им бы действительно все это и удалось сполна, и их имена гремели бы в истории мира, как достославные имена Нимродов и Навуходоносоров, еслиб не случился тут же им навстречу некто Надеждин [45], который, с своей стороны, добивается весь век того же. Они встретились, как два духа в стихотворении Шиллера, спросили друг у друга: что, есть конец там, откуда ты? — Нет! А там, откуда вы? — Тоже нет!..—Ну, так мир необъятен, Россия есть целый, особенный, самобытный и, следовательно, необъятный же мир; а потому свернемте-ка крылья, да и успокоимся от наших суетных желаний—обозреть необозримое!..

Узнав, что открылась вакансия библиотекаря в Академии Художеств, я бегал, как угорелый, четыре месяца сряду, отбив себе все ноги, перестревожил до 50 человек, нашел необыкновенную готовность мне помочь в целом ряде до того вовсе незнакомых мне людей; за меня ходатайствовали и флигель-адъютант барон Фредерикс, и граф Алопеус, и князь Багратион [46], и Мюссар, и Рикорд, и Крутов, и генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев, и Остроградский [47], и Панаев [48], и Маслов, и Языков [49], и Тютчев [50],

[43] Литке, Фед. Петр., 1797—1882, кругосветный мореплаватель, председатель ученого комитета морск. мин., основатель Географич. о-ва в 1845 г. и вице-президент и руководитель его по 1873 г. С 1864 г. до своей смерти— президент Академии наук.

[44] Струве, Вас. Як., 1793—1864, знаменитый астроном, устроитель Пулковской обсерватории (в 1839 г.).

[45] Надеждин, Ник. Ив., ученый и критик, б. издатель «Телескопа», писал статьи по географии, этнографии, статистике, изучению России. В 1843 г. редакт. «Журн. Мин. Вн. Дел», с 1848 г. председатель отдела этнографии Географич. о-ва.

[46] Багратион, Петр Романов., кн., 1818—1871, с 1845 г. адъютант М. Лейхтенбергского.

[47] Остроградский, Мих. Вас., 1801—1861, ученый, академик, профессор математики.

[48] Панаев, д. б. Ив. Ив., литератор, до 1845 г. раб. в «Журн. Мин. Вн. Дел».

[49] Языков, д. б. Мих. Александр., директор имп. стекл. зав., близкий к литературным кругам 40—50-х годов и покровитель талантов.

[50] Тютчев, д. б. Фед. Ив., поэт.

и я не знаю сколько других и других; его высочество герцог Лейхтенбергский [51] удостоил меня своей аудиенции, читал мои статьи в «Памятнике Искусств», принял из собственных моих рук мою книжонку о букве Ѣ [52], выслушал мои моления спасти меня для науки, обещал сделать все, что может,—и... место получил не я, а непременно какой-то немец, который, дай бог, чтоб что-нибудь сделал для какой-нибудь науки!.. В утешение мне было сказано от имени его высочества, что он будет иметь меня в виду. Не знаю, изволит ли он помнить, кто у него был когда-то, в числе миллиона тех просителей и попрошаек, которые ежедневно осаждают дворец его высочества!..

Муравьев [53], который, было, привел меня в восторг, пока я был ему нужен, как переслушал от меня все, что я ни знал о Сибири, Китае, Японии, Восточном океане, Америке и пр., и пр., и взял две статьи, над одной из которых я бился, как в опьянении, целые две недели, с утра до глубокой ночи, не вставая с места, чтоб успеть ее кончить,—так и уехал, не удостоив меня даже впуском к себе в числе 10-кратных моих попыток, когда я хотел только поблагодарить его за то, что он просил за меня и его величество герцога Лейхтенбергского и то гнусное животное, которое истребило и гноит доселе всю Академию художеств, пользуясь деликатностью герцога, именно — Григоровича [54]! По крайней мере, мне приятно вспоминать в своей душе то, что Муравьев от первой статьи пришел в такую радость, что даже хотел прочесть ее самому государю императору, еслиб его величество удостоил пожелать выслушать, но не нашел удобной минуты; а после всего остального, что я ему наговорил и написал, отозвался моим знакомым так, что ему теперь уже не нужны никакие сведения: того, что он узнал от Баласогло, никакие разбывалые там люди ему не доставят!.. Впрочем, Муравьев—

[51] Герцог Лейхтенбергский, Максимилиан, 1817 — 1852; с 1843 г. до своей смерти президент Академии художеств.

[52] «Буква Ѣ. Руководство к употреблению этой буквы в письме», составленное А. Баласогло. Изд. 2-е, Спб, 1860.

[53] Муравьев-Амурский, Ник. Ник., 1809 — 1881; с 1847 по 1861 г. ген.-губ. Восточной Сибири. Под его руководством Г. И. Невельским, приятелем Баласогло, исследовано устье Амура и занято Россией. В 1858 М. заключил с Китаем Аргунский трактат, по которому Амур был признан границей России с Китаем. Копии или извлечения из статей Баласогло сохранились в бумагах Спешнева, который был одно время доверенным человеком Муравьева.

[54] Григорович, Вас., конференц-секретарь Акад. художеств.

человек единственный для того края, и я благословляю судьбу, что она мне доставила случай и видеть в России такого человека в сане генерал-губернатора, и передать ему всю мою душу относительно этого драгоценного для России края!..

Так я достиг до настоящей поры своей жизни и тут, чтоб быть верным плану, должен уже начать второй отдел своего повествования, изобразив свои действия в отношении к обвинительным пунктам.

2.

Изо всех фактов, приведенных мною выше и еще миллиона подобных, и изо всех тех, какие удавалось мне слышать от всех и каждого без исключения, словом—изо всего меня окружающего, я уже года четыре тому назад сознал ясно, что в России пошло все вверх дном, что в ней готовится какая-то катастрофа, и что это уже ни для кого не тайна. Как птица чует приближенье бури, так и человек имеет свои приметы: отсутствие всякого понятия о своих обязанностях, пренебрежение разума, религии и законов, с одним насмешливым или тупым сохранением обрядов и пустых приличий, всеобщее недоверие друг к другу, исчезновение капиталов, которые как бы ушли в землю, вера в одни деньги, наконец,—выражусь сильно,—бессилие власти к одолению бесчисленных беспорядков и злоупотреблений,—все это, поставляя каждого в безнадежное положение насчет будущего, стало приводить в совершенное уныние и меня. Я постигал, что подходит время переворота; но какого?—Этого я никак не мог ни разгадать, ни выспросить, ни разведать. Собственное самосохранение, любовь к ближнему и всегдашняя моя преданность к России внушили мне идею, за которую я и ухватился, как за единственное средство, какое мне оставалось. Не зная, что и как будет, но видя ясно, что быть худу, я задал себе вопрос: что должен делать во всеобщей безурядице писатель?—Воины будут сражаться, ораторы—возбуждать народ к резне, чернь—разбивать кабаки, насиловать женщин, терзать дворян и чиновников; немцы будут изрезаны в клочки; Польша изобьет всех солдат до единого или сама погибнет до последнего человека под их штыками; Малороссия, вероятно, отложится; казаки загуляют по-своему, по-прежнему, по-старинному; Кавказ забушует, как котел, и, может быть, растечется в зверских набегах в Крым—до Москвы, до Оренбурга, подымет всех татар, калмыков, чу-

ваш, черемис, мордву, башкир; киргизы и монголы, только того и ожидая, станут врываться из степей Средней Азии до Волги и далее внутрь России; Сибирь встанет и заварит кашу с Китаем; а тут-то, когда по всей России будут бродить шайки новых Разиных и Пугачевых, которые сами себя будут производить в генералы,—англичане отхватят под шумок и наши американские колонии, и Камчатку, завладеют Амуром, чего доброго, опрокинут на Россию весь сброд целой Восточной Азии... Все это может быть и будет непременно, если только будут лица, злоупотребляющие десятки лет во всей безнаказанности и власть, даруемую им законами, и доверие государя, и пот и кровь народа; и все священные преимущества заслуг, седин, имен, выражающих народную славу, и, что всего ужаснее,—преимущество образования и познаний! Но если оно будет, что тут будет делать писатель?—Тут не возьмет ни крест, ни штык, ни кнут, ни миллион, ни ум, ни слеза, ни красота, ни возраст, ни самое высшее самоотвержение!..

Тут будут свирепствовать одни демагоги, которых в свою очередь каждый день будут стаскивать с бочек и расшибать о камень; а о писателях тут уже не будет и помину, потому что все они гуртом будут перерезаны заблаговременно в виде бар и чиновников...

Это меня пронимало ужасом до мозга костей.

Чем же помочь этой страшной беде, которая у всех висит на носу, о которой все чуют и от которой никто не думает брать мер? Кричать о ней,—посадят в крепость; писать,—цензура, гауптвахта и, опять-таки, крепость; доносить,—в том-то и беда, что некому: зашлют туда, куда Макар телят не гонял!.. Остается только плакать и посыпать главу пеплом, и то—не на улице!..

Нет!..—я думал,—мужчина не должен плакать, а должен действовать, пока не ушло время. Дело идет о спасении всего святого, высокого, прекрасного; тут-то и действовать тому, кто видит, а не сидеть в яме, пока ее совсем не завалило; видит, может все это видеть только писатель; он—гражданин, как и все; он на своем поприще должен быть тот же воин и итти напролом, на приступ, в рукопашную схватку! Умирать—все равно, что сегодня, что завтра; но сегодня еще можно попробовать, авось удастся спасти и себя и других, завтра будет уже поздно!..

Так я решил, что мне надо выступать на поприще во что бы то ни стало; забыть и о Востоке, и о филологии,

и о стихах; презреть всеми опасностями; откинуть все предрассудки; подвергнуться всем нареканиям; решиться быть даже, повидимому, тунеядцем и искателем приключений, лизоблюдом, льстецом, всем, чем кому угодно будет меня видеть,—только итти и итти вперед...

Но что же делать? что творить, идучи вперед?

Смягчать нравы, образумливать, упрашивать, чтоб полюбили истину; найти себе точку опоры и действовать с ней на все стороны, имея в виду уже не классы или звания, не лица или титулы, а одного человека—ум, душу, инстинкт самосохранения...

Итак, я стал бродить из дому в дом, ища себе путей и средств к основанию издания, в котором бы никакая цензура не могла ни к чему привязаться, а между тем всякая живая душа нашла себе отрадную мысль, приятную черту, пример доблести, отечественное воспоминание, бриллиант из науки, картину, смягчающую ожесточенное сердце... Потом, если бы мне это удалось, читатели втянулись в направление, явились писатели, художники, ученые,—можно начать издание и посолиднее, можно мало-по-малу пустить в общество целый всемирный круг идей, дать ему в руки целый свод учебников по всем предметам, составленных не на живую нитку, но созданных органически, по одной общечеловеческой логике...

Но ведь это все утопия!

Где же эти люди? где капиталы? где такие ученые?— Надо искать! Все есть где-нибудь; стоит только найти!..

В этой мысли я странствовал даже до сегодня, никому и никогда ее не высказывая вполне и прямо, как, первый раз в жизни, сделал теперь; в этих-то странствиях я переглядел и пересортировал в своем уме всех насущных литераторов и удостоверился, что все это либералы, т.-е. люди, для которых все равно, что бог, что сапог; что мир, что жареный рябчик; что чувство, что шалевый жилет; что всемирная идея, что статейка Булгарина! Надо было, с великим, разумеется, сокрушением сердца, бросить этих «порядочных людей» с их белыми перчатками и спокойными сюртуками, с их обедами и попойками, с их криками и карточными остротами, и поискать других людей, помоложе, попроще, посвежее и покрепче душой...

И я, к неописанному своему восторгу, нашел целую кучу таких людей, где одного, где пару, где еще одного; людей совершенно простых и благородных, не только тол-

кующих, но и верующих в идеи и занимающихся каждый своим предметом не из поденщины, как все литературное мещанство, а по органической необходимости для всего своего существа. Всего приятнее была для меня встреча с одним из таких людей, с тем, который довольно долго на моих глазах, пока я с ним постепенно не сблизился, слыл человеком беспокойным, пустым, безграмотным, таким, для которого нет ничего святого,—и это был Петрашевский. Зная, сколько клеветали всю жизнь и на меня, я не поддавался внушениям и достиг того, что убедился в его уме, благородстве правил и высокости души, которая, только по избытку чувства предаваясь порывам негодования на все окружающее, иногда переступала границы обыкновенных светских, не скажу—приличий, потому что Петрашевский слишком хорошо воспитан, а одних церемоний. Но и над этими невольными своими порывами он, на моих же глазах, постепенно восторжествовал вполне, за что я и стал его ценить в душе. А то обстоятельство, что, когда, по случаю западных происшествий, цензура всею своей массой обрушилась на русскую литературу, и, так сказать, весь литературно-либеральный город прекратил по домам положенные дни, один Петрашевский нимало не поколебался принимать у себя своих друзей и коротких знакомых,—это обстоятельство, признаюсь, привязало меня к человеку навеки. Он, как и все его гости, очень хорошо знал, что правительство, внимая чьим бы то ни было ябедам, может быть, для одного своего удостоверения лично в сущности дела, во всякую минуту могло схватить, так сказать, весь его вечер и начать розыски,—и не смутился духом; следовательно, его совесть была спокойна; следовательно, он готов был дать отчет во всех своих действиях во всякую минуту; следовательно, он веровал в то, что исповедовал. Я, который до того, признаюсь, хотя и в весьма незначительной степени, но все-таки, не доверяя одним своим наблюдениям, иногда беспокоился насчет его основных, задушевных понятий, был восхищен этим решительным признаком души благородной, неспособной к злодеяниям.

Я дошел до вечеров Петрашевского, главной причины нашего несчастия,—потому, что, не сходись мы у Петрашевского, а где-нибудь у либеральных мещан в писательстве да между болтовней поигрывай в картишки, и мы могли бы преспокойно распространять во всеуслышание все лжи, все клеветы, все бессмыслицы и о боге и о государе, и о прави-

тельстве, и о России, и о человечестве, и о людях, и о науке, и об искустве! Но мы не хотели этого делать, потому что любим истину нагую, не прикрытую никакими грязными лоскутками опасения. Правительства нам нечего было бояться, потому что мы под ним и в нем живем и без того; пристрастия лиц—тоже, потому что хуже того, что каждый из нас испытал от разных лиц, злоупотребляющих над нами свою власть, нельзя было ничего более придумать, кроме телесной пытки и казни; но и этих, какими нас пугал всеобщий говор во всей публике и во всем народе, мы также боялись бы напрасно, потому что, если уж допускать роковое торжество произвола лиц, так правительство могло бы точно так же схватить нас всех и переистязать до единого, еслиб мы были даже так гнилы и безвредны, как либералы!..

Мы сходились—действительно; но с какою целью? Без всякой политической, тем менее—непосредственной. Что касается до меня лично—я уже сказал свою личную, задушевную цель, о которой я никому никогда ничего не говорил и не старался выразить, скрывая ее всячески ото всех и каждого, сколько можно скрыть, домогаясь целые годы, везде, на каждом шагу, одного и того же. Целей, подобных моей, в других лицах я не замечал, по крайней мере, в полном сознательном виде, как у меня; в инстинкте же—охотно допускаю, потому что все лица, с которыми я тут имел дело, были решительно души молодые, благородные, серьезные и поэтому, как мне кажется, не могут не иметь подобного инстинкта. Единственная, явная и неопровержимая, общая нам всем цель—была: во-первых, убежище от карт и либеральной болтовни, наводящей на душу грусть до изнеможения ума и воли; во-вторых, обмен понятий и кровных убеждений посредством разговора, чтения статей и прения, которое иногда вызывало целые связные речи одного лица к многим; в-третьих, сообщение, как и везде, друг другу городских и других новостей и своих частных сведений.

Кто были именно самые сходившиеся лица? Все они правительству уже известны: из названных мне Толля, Дурова, Пальма, Ястржембского, Бернардского, Берестова и Барша я отвергаю одного последнего, как человека, о котором я в первый раз в жизни слышу, что он существует, хоть я не берусь присягать, чтоб даже где-нибудь его и не встречал, но, не зная фамилии, не упомню. Постоянно, по крайней мере, так постоянно, как я, посещало Петрашевского весьма немного: каждую пятницу сходилось обыкновенно человек

от 7 до 10, часто бывало до 15, а раз в год, когда он праздновал день своих именин или рождения,—до 20 и до 30.

О чем были суждения, речи, прения?—Решительно обо всем: каждый сообщал свои личные сведения и взгляды на ту науку, которою он непосредственно занимался; перевес брали, без всякого сомнения, науки общественные, идеи были в самом огромном большинстве случаев, идеи, например, не одних фурьеристов, коммунистов, утопистов или конституционалистов (sic), а вообще всех социалистов, рассматриваемые каждым лицом сравнительно и со своей личной точки зрения; кто во что веровал, тот то и доказывал. Большого согласия никогда не было; общая точка соприкосновения—одна короткость или дружба, или удовольствие нового приятного знакомства.

Какие наше общество имело уставы, внешние формы и т. п.?—Никаких, так как оно никогда не бывало и никогда не думало быть обществом, а было только простое собрание знакомых, тесно связанных взаимными чувствами и отношениями; у него и не могло быть никаких уставов и внешних форм, кроме обыкновенных светских, общих всему образованному миру. Скорее всего, чтоб определить дело одним словом, это было одно семейство, только семейство не кровное, а чисто духовное и светское, семейство по узам науки и общежития.

У нас был, говорят, колокольчик и председатель? Об этом колокольчике прозвенели уши целому городу те невинные, но жалкие существа либеральной породы, которых я называю: мальчики - перебежчики, ребятишки - переносчики. Может быть, так как колокольчик, действительно, почти всегда лежал на столе, кто-нибудь прежде моего знакомства с Петрашевским и потрясал этим перуном, как председатель грома и молнии своих дум; может быть, даже и при мне кто-нибудь звонил в него, чтоб позвать слугу, или просто так, из шалости; может быть, допускаю и это, кто-нибудь в шуме, какой часто возникал в прениях, не докричавшись, чтоб его выслушали, и прибегал к звону, сам ли собою, благо колокольчик лежал у него под рукою, или прося соседа и называя его при этом, в шутку, председателем,—все это может быть; только я, во-первых, не всякую же пятницу без исключения бывал у Петрашевского, во-вторых, не всякий раз являлся в начале вечера, а часто и в половине, и в конце, и, в-третьих, в жару разговора, часто бывая притом в другой комнате, многое мог и проглядеть, а потому я, повторяю,

ничего не слышал; а если и слышалось мне, так я, не обратив во-время внимание, не берусь утверждать. Одно справедливо, что я не раз просил Петрашевского удалить со стола, во избежание вперед всяких толков в городе, колокольчик в другую комнату; но он мне отвечал: «Собака лает—ветер носит! Если уж толкуют, значит, будут толковать и о том, что у Петрашевского уж нет на столе колокольчика, а поэтому и не видно, кто председатель». И он был совершенно прав.

Какие речи говорились о правительстве, о государе императоре и о прочих членах августейшей фамилии?—Всегда благопристойные. Выражения, приписываемые Толлю,—совершенная клевета; по крайней мере, я ни сам, ни от других не слыхал никогда подобных. Все, что было действительно резкого, и это уж в высочайшей степени, так это перечет и аттестация всех лиц, злоупотребляющих торжественно, на всю Россию, свою власть и неограниченное к ним доверие государя императора. В этом более и яростнее всех отличался, конечно, я первый. За это, признаюсь с глубоким сокрушением, не раз, не только у Петрашевского, но и всюду, где только считал, что говорю как бы сам с собою, в своем собственном уме, я дерзал и осуждал и беспредельное добродушие самого государя императора, изумляясь, как он не видит, что под ним и вокруг него делается, и почему он никогда не удостоил спросить лично управляемых, каково им жить и существовать под своими управляющими, и не в публике, а наедине, каждое любое человеческое существо порознь, на что его величество имеет тысячи возможностей. В этом я грешен—и каюсь; но в этом грешна против его величества решительно вся обожающая его, как монарха и отца, но не менее того невообразимо страдающая Россия...

Но тут, истощив все, что знаю похожего на действия, я уж должен перейти к третьему и последнему отделу своего показания, именно—к своим мнениям.

3.

Мнений своих я не стыжусь, никогда от них не отрекался, считаю их в глубине своей души, всем своим смыслом, человечески возможно близкими к истине и потому безопасными и дозволительными во всяком благоустроенном обществе, а и тем более в России, где основным камнем государства положена христианская веротерпимость, столь пышно

и беспримерно в истории развернувшаяся в блистательные эпохи русской славы—в царствование Петра, Екатерины и Александра.

Прежде всего, я—действительно христианин, в обширнейшем значении этого слова, не формалист, не гордец, не ханжа и не изувер. Я верую, как могу только понимать, всем своим разумом, во все члены символа православной веры и считаю себя беспредельно счастливее всех тех, которые глумятся над тем, чего они не могут слышать, потому что не имели столько жизни в своей плотоядной душе, чтоб изучить то, чего никакая человеческая душа, более или менее, не может не изучать.

Во-вторых, на точном смысле и полном разуме того же православия, выражаемом вполне божественным изречением спасителя: «люби ближнего, как самого себя», я—самый радикальный утопист, т.-е. я верю в то, что все человечество некогда будет одним семейством на всем объеме земного шара, что тогда все будут только братья и сестры, имеющие отцом одного бога, а общим и нераздельным имуществом—всю природу, так что все, чем только может пользоваться человеческая душа, будет общедоступно всем, как воздух атмосферы, как вода рек и морей, как земля столбовой дороги.

В-третьих, нисходя по мере ближайшей возможности, постигаемой моим смыслом, я—коммунист, т.-е. думаю, что некогда, может быть, через сотни и более лет, всякое образованное государство, не исключая и России, будет жить не случайными и несчастными аггрегациями, столплениями людей, грызущихся друг с другом за кусочки золота и зернышки хлеба, а полными и круглыми общинами, где все будет общее, как обща всем и каждому разумная цель их соединения, как общ им всем всесвязующий их разум.

В-четвертых, допуская возможность, еще ближе, как образчик даже и ныне, а вообще также на сотню или сотни лет вперед, я—~~фурьерист, т.-е.~~ думаю, что система общежития, придуманная Фурье, в которой допускается и собственность, и деньги, и брак на каких угодно основаниях, и все религии, каждая со своими обрядами, и сначала—всевозможные образы правления,—всего скорее, всего естественнее, всего, так сказать, роковее может и должна рано или поздно примениться к делу, не потрясая ни на волос ни чьих бы то ни было интересов, привычек или привилегий, а тем всего менее—основных законов государства, с опасностью для жизни государей или каких бы то ни было лиц.

В-пятых, не считая ни во что конституций, в их чисто юридической, скелетной и бездушной форме, я, однакож, признаю необходимость для всякого мало-мальски развившегося народонаселения в известных, для меня совершенно все равно, каких бы то ни было, ручательствах и обеспечениях между правительством и обществом! Эти ручательства, по моему крайнему разумению, должны бы были состоять в праве каждому в государстве лицу возвышать свой голос—разумеется, под верховным надзором и непреложным деятельным распорядком власти,—в открытом на весь мир судопроизводстве и в участии в делах правления выборных людей от народа, как свидетелей и соисполнителей с законною и природною верховною властью всех мер и действий правительства.

В-шестых, положив руку на сердце, я полагаю, что для России давным-давно настало время для перехода, по неизбежному и всемирно-верному природе вещей закону истории, в последний из первых четырех образов существования. Доказать это здесь мне негде, но я не отступлюсь написать об этом хоть целую книгу. Притом это есть всеобщее мнение, не скажу целого народа, потому что простой народ да и многие темные люди, которые, по своей бедности, только по платью не считаются безграмотными, в России ничего не значит: это бедная, жалкая, но все-таки, в сущности, добрая и готовая на все лучшее о с н о в а общества, материал, тесто, из которого все делается, что ни делается, и для которого, впрочем, все существует. Это—мнение всего того, что только можно назвать в России смыслом, р а з у м о м общества, мнение всего в ней образованного и потребность всего образующегося. А так как ни разум вне основы, ни основа вне разума существовать не могут—их связывает нерасторжимо одна и та же, общая им д у ш а,—поэтому, если что образованная часть, разум, смыслит, так то же самое и всенепременно вся остальная часть, масса, основа,—чует и хочет, только не умея выразить, чего именно. О мнении на этот счет самого правительства я никогда не дерзал делать опрометчиво каких-либо заключений, так как никогда не имел чести и счастия бывать в какой-либо доверенности у какого бы то ни было государственного лица, а потому и не включаю в свое определение только лиц, в строгом смысле представляющих верховную душу правительства.

В-седьмых, я коренным и опытным образом, во всю полноту своей совести, убежден, что Россия без монарха не

может просуществовать и ныне и весьма-весьма надолго вперед ни единого часа. Это ключ свода; вырвать его— значит обрушить все здание, которое тогда, распадаясь, и не замедлит представить ту безобразную и неисходимую громаду разрушения, какой слабый очерк я изобразил выше.

Наконец, в-осьмых, я искренне убежден—не скажу со всеми образованными, потому что между ними есть и либералы, а со всею массою народа и небольшим числом лиц из круга образованных, имевших редкое счастье видеть и слышать государя императора вблизи и долго, если позволят так выразиться, так сказать, следить за его душою, во всех ее проявлениях,—что душа его величества есть душа света, блага и разума, которая только омрачается временем от тех бесчисленных злоупотреблений и противоречий, какие и меня, если я только могу поставить себя в этом случае в пример живой, человеческой души вообще, приводили всю мою жизнь в исступление. Я помню и никогда не забуду, как радостно и неподдельно, с каким увлечением, с какой восторгающей простотой обращения, его величество изволил обнимать всякое лицо, отличившееся в делах против турков, в 1828 году под Варной, когда это лицо представлялось его величеству: это потому приводило меня всегда в умиление, что тут государь император обнимал не лесть, не свою привычку, не выслугу, а действительную заслугу перед ним, подвиг на пользу отечества. Потом, не имея более всю жизнь никакой возможности быть так близко к государю императору, как тогда, я, однакож, не взирая на всю мою ярость и раздражение против моей горькой участи, невольно прослезился, прочитав в «С.-Петербургских Ведомостях» выражение тех чувств, каким дышит всякая строка в собственноручном рескрипте его величества к народу по случаю провожания им тела в бозе почившей великой княгини Александры Николаевны. Эти два факта могут служить, по крайней мере—для меня, за миллион других, подобных...

Таким образом я исчерпал всю свою душу, а может быть, истощил длиннотой изложения терпение моих судей; но иначе я не умел сделать. Мне не остается ничего более, как только вторично, преклоняя повинную голову, просить их великодушия и ходатайства перед отцом отечества за все то, впрочем неумышленное, что они найдут в моих действиях или мнениях хотя сколько-нибудь преступным.

Надворный советник *А. Баласогло.*

14 мая 1849 года.

